

МАСТЕРА. СОБ

SEATTLE PUBLIC LIBRARY



0 01 00 4386859 4

Сол Беллоу



А ПАМЯТЬ ОБО МНЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

МАСТЕРА. СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА

Сол Беллоу

НА ПАМЯТЬ ОБО МНЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ас
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва
2000

Серия основана в 2000 году

Saul Bellow

COUSINS (1984)

THE BELLAROSA CONNECTION (1989)

A SILVER DISH (1978)

SOMETHING TO REMEMBER ME BY (1990)

Составители серии А.В. Красовицкий и Н.А. Науменко

Перевод с английского Л.Г. Беспаловой

Серийное оформление А.А. Кудрявцева

Печатается с разрешения автора и литературных агентств

The Wylie Agency Ltd. и «Синописис».

Исключительные права на публикацию книги
на русском языке принадлежат издательству АСТ.

Любое использование материала данной книги,
полностью или частично, без разрешения
правообладателя запрещается.

Беллоу С.

Б43 На память обо мне: Повести и рассказы / Пер. с англ.
Л.Г. Беспаловой. — М.: ООО «Издательство АСТ», 2000. —
352 с. — (Мастера. Современная проза).

ISBN 5-17-002613-7.

«...В один прекрасный день обнаруживается: то, что ты принимал за проторенную дорогу, ровную, гладкую, без ям и рытвин, на самом деле трясина, топь».

Вот таковы и рассказы Сола Беллоу. Их сила — не в изысканности постмодернизма, но в подлинности восприятия. Отступает время, наступает память — и стиль рассказов Сола Беллоу доходит до «точки кипения», до точки АБСОЛЮТНОГО раскрытия его редкого писательского дарования...

© Saul Bellow, 1978, 1984, 1989, 1990

© Перевод Л.Г. Беспалова, 2000

© ООО «Издательство АСТ», 2000

ISBN 5-17-002613-7

Серебряное блюдо*

Как себя вести, если у вас кто-то умер, и не кто-нибудь, а старик отец? И вы, скажем, человек современный, лет шестидесяти, бывалый, вроде Вуди Зельбста; как вам себя вести? Как, к примеру, скорбеть по отцу, и притом, не забудьте, скорбеть в наше время? Как в наше время скорбеть по отцу на девятом десятке, подслеповатому, с расширенным сердцем, с мокротой в легких, который ковыляет, шаркает, дурно пахнет: ведь и замшел, и газы одолели — ничего не попишешь, старость не радость. Что да, то да. Вуди и сам говорил: надо смотреть на вещи здраво. Подумайте, в какие времена мы живем. О чем каждый день пишут газеты — заложники рассказывают, что в Адене пилот «Люфтганзы» на коленях умолял палестинских террористов сохранить ему жизнь, но они убили его выстрелом в голову. Потом их самих тоже убили. И все равно люди как убивали, так и убивают — то друг друга, а то и себя. Вот о чем мы читаем, о чем

* The Silver Dish. ©1978 by Saul Bellow.

говорим за обедом, что видим в метро. Теперь нам ясно, что человечество везде и повсюду бьется во все-ленского масштаба предсмертных корчах.

Вуди — предприниматель из Южного Чикаго* — отнюдь не был невеждой. Для среднего подрядчика (облицовка контор, коридоров, туалетов) он был довольно нахватав. Но знания его были не того рода, какие дают ученые степени. При том что Вуди проучился два года в семинарии, готовился стать священником. Два года в колледже в ту пору, во время кризиса, далеко не всякий выпускник средней школы мог себе позволить. Потом, с отличавшей его энергией, колоритностью, своеобычием (Моррис, отец Вуди, пока не сдал, тоже был энергичный и колоритный), он пополнял свое образование в разных областях, подписывался на «Сайенс» и другие серьезные журналы, прослушал вечерний курс лекций в Де-Поле** и в Северо-Западном*** по экологии, криминалистике и экзистенциализму. объездил чуть не всю Японию, Мексику, Африку, и вот в Африке-то он и оказался очевидцем происшествия, которое имело самое прямое отношение к скорби. Происшествие было такое: когда Вуди катался на моторке по Белому Нилу неподалеку от Мёрчисон-Фолс**** в Уганде, на его глазах крокодил

* Один из трех районов Чикаго (Северный, Западный, Южный), отходящих от «Петли», чикагской надземной дороги. — *Здесь и далее примеч. пер.*

** Университет в Чикаго, основан в 1898 г.

*** Университет в Эванстоне, неподалеку от Чикаго, основан в 1851 г.

**** Национальный парк.

уволок буйволена с берега в воду. В то знойное утро по берегу этой тропической реки разгуливали жирафы, бегемоты, бабуины, по ясному небу носились фламинго и прочие не менее яркие птицы, и тут буйволена, который ступил в реку напиться, схватили за ногу и утащили под воду. Родители буйволена не могли взять в толк, куда он подевался. Буйволенак и под водой продолжал барахтаться, биться, вспенивать грязь. Вуди, поднаторевшего путешественника, проплывавшего в ту пору мимо, это зрелище поразило: ему почудилось, будто буйвол и буйволица безмолвно вопрошают друг друга, что же случилось. В их поведении он прочитал горе, узрел звериную тоску. От Белого Нила у Вуди осталось впечатление, будто он вернулся в доадамову пору, и мысли, вызванные к жизни этим впечатлением, он увез с собой в Южный Чикаго. А заодно с ними и пачечку гашиша из Кампалы. Вуди мог нарваться на неприятности на таможне, но шел на риск, делая ставку скорее всего на свою плотную фигуру, румяное открытое лицо. Он не походил на злоумышленника, впечатление производил не дурное, а хорошее. Просто он любил риск. Ничто не взбадривало его так, как риск. В таможне он швырнул плащ на прилавок. Если инспекторам вздумается обыскать его карманы, он отречется от плаща, и все дела. Но он вышел сухим из воды, и в День благодарения они ели индейку, нашпигованную гашишем. Удивительно было вкусно. Собственно говоря, тогда папка — а он тоже обожал рисковать, играть с огнем — последний раз присутствовал на семейном торжестве. Вуди попытал-

ся разводить гашиш у себя на заднем дворе, но вывезенные из Африки семена не взошли. Зато он завел грядку марихуаны позади склада — там, где держал свой роскошный «линкольн-континентал». Вуди не был злоумышленником, но не желал ограничивать себя рамками закона. Просто из самоуважения.

После того Дня благодарения папа тихо пошел ко дну, словно в нем открылась течь. Тянулось это не один год. Он не вылезал из больницы, чах, мысли его разбегались, пожаловаться и то толком не мог, разве что Вуди в минуты просветления по воскресеньям — воскресенья Вуди неизменно проводил с отцом. Моррис — любитель, но такой сильный, что в былые времена с ним считался сам Вилли Хоппе*, не знавший себе равных среди профессионалов, — не мог забить легкую подставку. Теперь он лишь изобретал удары и пространно рассуждал, как можно положить от трех бортов. Полька Галина — Моррис прожил с ней лет сорок как муж с женой — к этому времени сама состарилась и не могла его навещать. Так что папу навещал Вуди — кто ж еще? Была у Вуди и мать, которая перешла в христианство, и она также нуждалась в уходе: ей шел девятый десяток, и ее то и дело укладывали в больницу. Чего только у них у всех не было — и диабеты, и плевриты, и артриты, и катаракты, и электрокардиостимуляторы. И все пеклись лишь о теле, а тело сдавало.

Еще у Вуди было две сестры, старые девы, обеим перевалило за пятьдесят, ревностные христианки, доб-

* Знаменитый американский бильярдист.

ропорядочные до мозга костей, они до сих пор жили с мамой в насквозь христианском коттедже. И Вуди, который целиком и полностью взвалил на себя заботу о всех них, время от времени приходилось помещать одну из девочек (девочки то и дело болели) в психиатрическую больницу. Не строгого режима, упаси Боже. Славные женщины, в молодости были чудо что за красавицы, да вот беда: и у той, и у другой не все дома. Объединить враждующие кланы: маму-выкрестку, сестер-фундаменталисток, папу, читавшего газету, пока не отказали глаза, исключительно на идиш, Галину, истовую католичку, — не было никакой возможности. Вуди — он вот уже сорок лет как расстался с семинарией — относил себя к агностикам. Папка, черпавший всю — а много ли ее там — религиозность из газеты на идиш, все-таки взял с Вуди обещание похоронить его на еврейском кладбище, и там он сейчас и покоился в гавайке, купленной для него Вуди на съезде облицовщиков в Гонолулу. Вуди не доверил обрывать папу служителям, а пришел в морг, сам натянул на мертвое тело рубашку, и старик ушел под землю таким Бен-Гурионом в простом деревянном гробу, который сгниет в два счета. На что, собственно, и рассчитывал Вуди. Подойдя к краю могилы, Вуди снял пиджак, сложил его, закатал рукава, оголив мощные, усыпанные веснушками бицепсы, взмахом руки отогнал стоящий подле трактор и взялся за лопату. Его крупное лицо, широкое книзу, кверху сужалось наподобие крыши голландского домика. Закусив от натуги мелкими ровными зубами верхнюю губу, он испол-

нил последний сыновний долг. Он был в хорошей форме и раскраснелся, наверное, не столько от физической работы, сколько от наплыва чувств. После похорон Вуди отправился домой с Галиной и ее сыном, очень порядочным, как и его мать, поляком и к тому же талантливым — Митош был органистом, играл во время хоккейных и баскетбольных матчей на стадионе: дело хитрое — чуть сыграешь не так, и поколотить могут, — и там они с Митошем опрокинули стаканчик-другой и утешали старушку. Редкого благородства женщина Галина, всегда стояла за Морриса горой.

Весь остаток недели Вуди был занят сверх головы: на нем висела уйма дел, обязанностей по работе, семейных обязанностей. Он жил один, и жена его и любовница тоже жили одни, все по своим квартирам. Так как его жена, хотя они и разошлись пятнадцать лет назад, до сих пор не научилась заботиться о себе, Вуди по пятницам покупал продукты, набивал ее морозильник. На этой неделе ему предстояло повести ее купить туфли. Ну а вечер пятницы он всегда проводил с Хелен, своей фактической женой. По субботам делал закупки на неделю. А субботний вечер проводил с мамой и сестрами. Так что ему некогда было копаться в своих чувствах, лишь от случая к случаю он отмечал про себя: «Первый четверг, с тех пор как он в могиле», «Первая пятница, а денек-то какой погожий», «Первая суббота, ему, наверное, пора бы начать привыкать». И про себя нет-нет да шептал: «Папка, папка!»

Ну а проняло его в воскресенье, когда колокольни всех церквей: украинской униатской, римской католической, православной (как греческой, так и русской), африканской методистской — зазвонили одна за другой.

Контора Вуди располагалась в помещении его склада, там же на верхнем этаже он построил себе квартиру, поместительную и удобную. Так как по воскресеньям он в семь утра неизменно уходил навещать папку, Вуди успел забыть, что «Облицовочные изделия Зельбста» окружены плотным кольцом церквей. Он еще лежал в постели, когда до него донесся звон колоколов, и тут-то он и понял, как велико его горе. Такой острый приступ горя для мужчины шестидесяти лет, делового, думающего не столько о духе, сколько о теле, здравомыслящего, тертого, был до крайности неприятен. А когда Вуди испытывал неприятные ощущения, он полагал, что их надо перебить. Вот он и подумал: что бы такое принять? В целительных средствах не ощущалось недостатка. Погреб Вуди был забит ящиками шотландского виски, польской водки, арманьяка, мозельского, бургундского. Морозильники — бифштексами, дичью, камчатскими крабами. Вуди не мелочился — покупал ящиками, дюжинами бутылок. И тем не менее, когда он наконец встал с постели, он выпил всего-навсего чашку кофе. В ожидании, пока закипит чайник, Вуди облачился в вывезенный из Японии костюм борца дзюдо и решил разобраться в себе.

Умиляло Вуди все честное, неподдельное. Неподдельность была в несущих балках, в ничем не зака-

муфлированных бетонных опорах высотных зданий. Выдавать одно за другое нехорошо. Вуди не выносил показухи. Неподдельность была в камне. В металле. Безусловная честность была и в воскресных колоколах. Вырвавшись на волю, они взлетали, раскачивались, и их гулкие удары благотворно действовали на Вуди — отмывали изнутри, очищали кровь. Колокол зывал к тебе, не ожидая ответа, говорил лишь об одном, и говорил напрямик. И Вуди слушал.

Колокола и церкви играли в свое время немалую роль в жизни Вуди. Как-никак он вполне мог считаться христианином. Он был еврей по рождению и по обличью, с кое-какими черточками не то ирокеза, не то чероки, однако мать его полвека с лишком назад обратил в христианскую веру ее зять, его преподобие Ковнер. Ковнер изучал Талмуд в Объединенном еврейском колледже в Цинциннати, но бросил колледж, чтобы стать священником и основать миссию; он-то и дал Вуди если не целиком, то отчасти христианское воспитание. Ну а папка не ладил с фундаменталистами. Он говорил, что евреи ходят в миссию, потому что там им дают кофе, ветчину, ананасные консервы, вчерашний хлеб, молоко и так далее. И если за это их заставляют слушать проповеди, он не против: в конце концов, теперь кризис, и особенно разборчивым быть не приходится, но ему достоверно известно, что ветчину они продают.

В Евангелии же ясно сказано: «...ибо спасение от иудеев»*.

* Евангелие от Иоанна, 4:22.

Миссия его преподобия Ковнера существовала на пожертвования состоятельных фундаменталистов, по преимуществу шведов, которым не терпелось приблизить второе пришествие, обратив евреев скопом в христианство. Самой щедрой из жертвовательниц была миссис Скуглунд, которая унаследовала от покойного мужа огромное молочное хозяйство. Вуди пользовался ее особым расположением.

Вуди исполнилось четырнадцать лет, когда папка сошелся с Галиной — она работала у него в лавке — и бросил нравную христианку жену, выкреста сына и крошек дочерей. Как-то весенним деньком папка подошел к Вуди и сказал: «Теперь главой семьи станешь ты». Вуди тогда тренировался на заднем дворе — шибал клюшкой для гольфа головки одуванчиков. Папка вошел во двор в выходном, жарком не по погоде костюме, обнажил голову, обнаружив красный след от шляпы и крупные капли пота, усеявшие череп, причем капель оказалось куда больше, чем волос. Папка сказал: «Я от вас съезжаю. — Папка нервничал, но видно было, что он решил уехать от них, и решил бесповоротно. — Что толку? Такая жизнь мне не по нутру. — (Когда Вуди попытался представить жизнь, какая была бы папке по нутру, его привольную жизнь, Вуди папка рисовался в бильярдной, режущимся в кости под эстакадой надземной железной дороги, сражающимся в покер наверху в заведении «Брауна и Коппеля».) — Главой семьи теперь станешь ты, — сказал папка. — Не робей. Я всем вам выправил пособие. Я только что с Вабансиа-авеню, из конторы по пособи-

ям. — (Теперь понятно, почему он так вырядился.) — К вам придет их работник. — Потом сказал: — Тебе придется одолжить мне на бензин твои сбережения».

Понимая, что без его помощи папке не уехать, Вуди отдал ему все деньги, которые заработал, поднося мячи и клюшки игрокам в загородном клубе «Сансет-Ридж» в Уиннетке*. Папка считал, что учит сына жить, а такой урок стоит куда дороже этих жалких долларов, и всякий раз, надувая сына, краснолицый, крючконосый папка смотрел первосвященником. Дети, черпавшие вдохновение из фильмов, окрестили его Ричардом Диксом**. Позже, когда появились первые серии комикса, они переименовали его в Дика Трейси***.

Теперь, под лавиной колокольного перезвона, Вуди открылось, что он сам оплатил свою безотцовщину. Ха-ха! Прелесть что такое, а особенно эта папкина: «Я научу тебя, как верить собственному отцу!» — манера. Ведь ему наглядно доказали преимущества реальной жизни и свободных инстинктов перед религией и ханжеством. Но прежде всего доказали, что нельзя, просто стыдно быть дураком. Папка невзлюбил доктора Ковнера не погому, что тот был отступник (это трогало папку меньше всего), и не потому, что его миссия была надуваловкой (папка признавал, что сам лично доктор — человек честный), а потому, что доктор Ков-

* Городок к северу от Чикаго.

** Американский актер, в фильме «Симаррон», рассказывающем о жизни первых переселенцев в Америке, исполнял роль Йенси Кравата — воплощение захватнического духа и предприимчивости.

*** Герой комиксов, полицейский сыщик.

нер вел себя как дурак, говорил как дурак, а держался как виртуоз, плут-виртуоз. Встряхивал гривой, что твой Паганини (это уж Вуди от себя добавил: папка слыхом не слышал о Паганини). Хорош духовный вождь, который обращает еврейских женщин в христианство, влюбляя их в себя. «Он распяет этих бабищ, — говорил папка. — А сам об этом не подозревает, он и правда не подозревает, чем он их берет».

Но и Ковнер со своей стороны часто предостерегал Вуди: «Твой отец — человек опасный. Люби его, иначе и нельзя, ты обязан любить и прощать его, Вудро, но ты уже не ребенок и должен понимать, что твой отец следует греховной стезей».

Ерунда, говорить не о чем: папины грешки были по сути своей мальчишеские, но именно потому они и производили такое сокрушительное впечатление на мальчика. И на маму. Неужели жены те же дети, а если нет, то кто они? Мама часто говорила: «Надеюсь, ты не забываешь молиться за этого негодяя? Посмотри, как он с нами обошелся. Так вот, молиться за него молись, но и не думай встречаться с ним». Однако Вуди постоянно встречался с папкой. Вудро вел двойную жизнь, святость и кощунство в ней соседствовали. В Иисусе Христе он видел искупителя лично его, Вудиных, грехов. Тетка Ребекка воспользовалась этим. Она заставила его работать. И работать ему пришлось под ее началом. Он заменял дворника в миссии и в благотворительном заведении при ней. А зимой он должен был еще топить котел углем, порой и на ночь не уходить, а спать около котельной, на бильярде. Тогда

он открывал отмычкой замок кладовки. Таскал ана-насные консервы и отрезал ломти бекона, кромсая окорок перочинным ножом. И набивал живот сырым беконом. Здоровенный был парень и всегда подгола-дывал.

И сейчас, прихлебывая кофе, он впервые задался вопросом: а так ли уж он был тогда голоден? Нет, просто его манила опасность. И когда он вынимал ножик и лез на ящик за беконом, он бунтовал против тетки Ребекки Ковнер. Она не знала, не могла доказать, что Вуди, такой искренний, здоровый, положительный мальчик, с таким прямым взглядом, такой открытый, был при всем при том еще и вор. Но он при всем при том был вором. И когда тетка глядела на него, он знал, что ей видится в нем его отец. В горбинке носа, во взгляде, в плотном телосложении, в цветущем лице ей виделся опасный варвар Моррис.

Дело в том, что Моррис получил воспитание на ливерпульских улицах: мать Вуди и ее сестра родились в Англии. Семья Морриса по дороге из Польши в Америку кинула Морриса в Ливерпуле, потому что у него воспалились глаза, — иначе всю семью в полном составе завернули бы с Эллис-Айленда домой. Они задержались в Англии, но глаза у Морриса продолжали гноиться, и они бросили его на произвол судьбы. Смылись, и он в двенадцать лет оказался предоставлен в Ливерпуле сам себе. Мама происходила из семьи почище. Папа — он ночевал в погребе маминого дома — влюбился в нее. В шестнадцать лет благодаря забастовке моряков ему удалось наняться кочегаром, шуруя в

топке, заработать себе проезд через океан и удрать с корабля в Бруклине. Он стал американцем, но Америка о том так никогда и не узнала. Он голосовал без документов, водил машину без прав, не платил налогов — словом, чего только не нарушал. Лошади, карты, бильярд, женщины — по нисходящей — были самыми прочными его увлечениями. Любил ли он кого-нибудь (при его-то занятости)? Да, любил Галину. Любил сына. Мама и по сей день пребывала в уверенности, что больше всех папка любил ее и всю жизнь мечтал к ней вернуться. Благодаря этому она держалась королевой, чему весьма способствовали пухлые ручки и отцветшее, как у королевы Виктории, лицо. «Девочкам велено не пускать его на порог», — говорила она. Фу-ты ну-ты, прямо властительница Индии.

Измолоченная колоколами душа Вуди этим воскресным утром металась по дому и за его стенами, уносилась в прошлое и вновь возвращалась на верхо-туру склада, где он так находчиво поместил свою квартиру; колокольный звон налетал, улетал, медь била о гулкую медь; ширясь и ширясь, колокольный звон дошел до пределов сталелитейного, нефтеперерабатывающего, машиностроительного Южного Чикаго в разгаре осени со всеми его хорватами, украинцами, греками, поляками и неграми постепеннее, которые тянулись в свои церкви — кто слушать мессу, кто петь псалмы.

Вуди и сам отлично пел псалмы. Он и сейчас не забыл их слова. Ну, и еще он служил живым свидетельством. Тетка Ребекка нередко посылала его рас-

сказывать набившимся в церковь шведам и прочим жителям фьордов, как он, еврейский паренек, пришел ко Христу. За каждое выступление она платила ему пятьдесят центов. Она специально отчисляла на это деньги. В ее лице совмещались разом счетовод, главный финансист и руководитель миссии. Его предпочтение знать не знал об этой сделке. Чем полезен был миссии доктор, так это своей страстной верой. Доктор не притворялся, и проповедник он был из ряда вон выходящий. А как обстояло дело с Вуди? В Вуди тоже жила страстная вера. Он тянулся к доктору. Доктор помог Вуди подняться над земными интересами, приобщил его к духовной жизни. А всю остальную жизнь Вуди, помимо духовной, поглощал Чикаго, чикагские шахер-махеры — они считались здесь настолько в порядке вещей, что их воспринимали как должное. Так, в тридцать третьем году (Боже, как давно, давным-давно это было!) на Всемирной выставке «Век прогресса»*, когда Вуди в конусообразной соломенной шляпе, изображая рикшу, вез повозку, вскидывая сильные, крепкие ноги, а дюжие краснорожие фермеры, его захмелевшие пассажиры, ржали и требовали свести их с бабами, он, хоть и поступил только что в семинарию, не считал для себя зазорным сводничать и получать чаевые — девушки ведь тоже просили его поставлять им клиентов — от обеих сторон. Он обнимался в Грант-парке с крупной девахой, которая вечно спешила домой кормить своего грудного ребенка. Они с Вуди ехали на трамвае в Вест-Сайд, и всю до-

* Выставка в честь столетия основания Чикаго.

рогу, распространяя запах молока и поливая им блузку, она тискала его мощную ляжку рикши. Трамвай шел по Рузвельт-роуд. Потом Вуди заходил в ее квартиру, где она жила вместе с матерью, никаких мужей ему там не припоминалось. Припоминалось лишь одно — сильный запах молока. На следующее утро, не видя в том противоречия, Вуди учил греческий по Новому Завету: «И свет во тьме светит — to fos en te skotia fainei, — и тьма не объяла его»*.

И пока он бегал в упряжке по выставке, его неотступно преследовала мысль, никоим образом не связанная с застоявшимися молодцами, пустившимися в городе в загул, и заключалась она вот в чем: по идее, по промыслению (он не смог бы объяснить, почему он так думал: ведь все говорило об обратном), по Божьему замыслу мир должен был стать миром любви, в конце концов исправиться и зажить лишь любовью. Вуди не открылся бы никому: он отлично понимал, до чего глупо это звучит, глупо для чужих ушей. И тем не менее вот какие чувства его обуревали. В то же время в словах тетки Ребекки, когда она говорила ему, всегда наедине и чаще всего на ухо: «Ну ты и плут, вылитый отец», была правда.

И подтверждение находилось; во всяком случае, у такой скоропалительной особы, как Ребекка, это могло сойти за подтверждение. Вуди быстро выросл: ничего другого ему не оставалось; но можно ли ожидать от семнадцатилетнего парня, задавался вопросом Вуди, чтобы он уяснил себе образ мыслей, чувства

* Евангелие от Иоанна, 1:5.

пожилой женщины, у которой в придачу еще отняли грудь? Моррис объяснил ему, что такое бывает лишь с женщинами, истосковавшимися по мужской ласке, это, мол, первый признак. Моррис сказал, что, когда груди не ласкают и не целуют, их от огорчения разъедает рак. Плоть вопиет. Вуди его слова показались убедительными. И когда он в воображении примерил эту теорию к его преподобию, она пришлась впору: Вуди представить не мог, чтобы его преподобие позволил себе вольничать с грудями тетки Ребекки! Из-за Моррисовой теории Вуди то и дело перебегал глазами с груди жены на мужа, с мужа на груди жены, и привычка эта сохранилась у него и по сию пору. Лишь людям на редкость сообразительным удается высвободиться из-под власти эротических теорий, перенятых от отца, а Вуди никак нельзя было назвать на редкость сообразительным. Он и сам это за собой знал. Вот почему Вуди в лепешку расшибался, чтобы женщины не чувствовали себя в этом смысле обездоленными. Раз уж природа того требует. Они с папкой люди простые, недалекие, но даже самые неотесанные люди бывают не лишены известной чуткости.

Его преподобие поучал, Ребекка поучала, богатая миссис Скуглунд поучала аж из Эванстона, поучала и мама. Папка тоже рвался читать проповеди. Все без исключения рвались поучать. Вдоль Дивижен-стрит, чуть не под каждым фонарем, надрывались ораторы: анархисты, социалисты, сталинисты, поборники единого земельного обложения, сионисты, толстовцы, вегетарианцы, священники-фундаменталисты — кого

тут только не было. И у каждого свои жалобы, упования, пути к новой жизни или к спасению, протесты. Кто мог подумать, что собранные вместе претензии всех времен, пересаженные на американскую почву, расцветут тут таким пышным цветом?

Эта славная иммигрантка из Швеции Осе (как называли ее домашние), которая, служа у Скуглундов в кухарках, выскочила за их старшего сына, с тем чтобы, овдовев, стать набожной благотворительницей, финансировала его преподобие. В молодости миссис Скуглунд, очевидно, отличалась такими формами — в самый раз для оперетки. Голову ее венчало хитроумнейшее сооружение из кос, секрет которого женщины, похоже, давно утеряли. Осе взяла Вуди под свое особое покровительство и оплачивала его учение в семинарии. А папка говорил... Но в это воскресенье, такое мирное, едва стихли колокола, в этот бархатный осенний денек, когда трава стояла высокая, густая, шелковисто-зеленая, пока ее не прихватило первым морозцем, а в легких текла кровь такая красная, какой она не бывает даже летом, и ее щипало от кислорода, будто железо в организме изголодалось по нему и каждый глоток холодного воздуха насыщал его кислородом, папка покоился на два метра вглубь под землей, и ему больше не суждено было ощутить это блаженное покалывание. Прозрачный воздух все еще колыхали последние колокольные удары.

По выходным дням скопившаяся за десятилетия пустота возвращалась на склад, заползала под двери квартиры Вуди. Склад по воскресеньям был безлю-

ден, как церковь в будни. Перед началом работы каждый без исключения день, перед тем как грузовикам с рабочими тронуться с места, Вуди в адидасовском костюме пробегал трусцой километров восемь. Но в этот день, по-прежнему отданный папке, он не стал бегать. Как ни тянуло его выбраться на воздух, избыть тоску бегом. Одиночество тяжело давалось Вуди этим утром. Я и мир, мир и я — вот вокруг чего вертелись его мысли. А подразумевал он под этим вот что: обязательно съестся что-то, чем можно оградиться, — поручение ли, гости, картина (Вуди был художник-самоучка), визит к массажисту, обед, — наподобие щита от тягостного одиночества, неисчерпаемые запасы которого таил в себе мир. Если бы не папка! В прошлый вторник Вуди пришлось лечь к папке в койку, потому что он то и дело выдерживал иглы из вен. Сестры втыкали их снова, и тогда Вуди, ко всеобщему удивлению, залез в койку и обнял отбивающегося старика. «Тише, Моррис, тише». Но папка из последних сил тянулся к шлангам капельницы.

Колокольный звон смолк, но Вуди даже не заметил, как тишина озерной гладью разлилась над его владениями — складом облицовочных изделий Зельбста. Не заметил потому, что перед ним, дребезжа, возник один из тех допотопных кирпично-красных трамваев, окрасом в быка с чикагских боен. Трамваи эти, неповоротливые, толстобрюхие, с жесткими плетеными сиденьями и медными поручнями для оставшихся без мест пассажиров, перевелись еще до

Пёрл-Харбора. Они переваливались на ходу и каждые полкилометра останавливались. Когда искрило, запах карболки перебивался запахом озона, а когда нажимали воздушный тормоз, их трясло. Кондуктор то и дело дергал уластый шнур, а водитель яростно бил каблуком по чашке электровонка.

Вуди узнал себя — он ехал в метель с отцом в трамвае по Вестерн-авеню, оба были в тулупах, их лица, руки посинели, когда двери открывали, с задней площадки дуло, и на полу в желобках между параллелей планок застревал снег. Он не таял — такая холодина стояла в вагоне. Длиннее этой линии нет в мире, говорили местные патриоты, нашли чем хвастаться. По бокам Вестерн-авеню на протяжении всех ее сорока километров, проложенных чертежником строго по рейшине, тянулись заводы, склады, механические мастерские, стоянки подержанных автомобилей, троллейбусные парки, бензоколонки, бюро похоронных принадлежностей, узкие, о два окна, шестиэтажки, телефонные компании, электрокомпании, свалки, они тянулись далеко-далеко, от прерий на юге до Эванстона на севере. Вудро с отцом ехали на север, в Эванстон, до Говард-стрит, откуда до миссис Скуглунд тоже был путь не близкий. От конечной остановки им предстояло еще кварталов пять как-то добираться до нее. Зачем они ехали? Раздобыть денег для папки. Папка уломал Вуди поехать. Если мама и тетка Ребекка прознают об этом, они будут рвать и метать. Вуди их опасался, но устоять перед отцом не мог.

Моррис пришел к нему и сказал:

— Сын, у меня беда. Таки плохо.

— Что плохо-то, пап?

— Галина взяла для меня деньги у своего мужа, их надо вернуть прежде, чем Буйяк хватится. Иначе он ее убьет.

— Зачем она это сделала?

— А ты знаешь или ты не знаешь, как букмекеры обходятся с должниками? Подсылают к ним громилу. Мне же проломают голову.

— Пап! Ты понимаешь, я не могу повести тебя к миссис Скуглунд.

— Почему нет? Сын ты мне или что? Старушенция хочет тебя усыновить. А мне что за это будет? Я тебе отец или не отец? И как насчет Галины? Она рискует жизнью из-за меня, а что я слышу от моего родного сына, что?

— Да Буйяк ее не тронет.

— Вуди, он ее забьет до смерти.

Буйяк? Грязно-серая, под цвет комбинезона, кожа, коротконогий, вся его — много ли, мало ли ее — сила в мощных бицепсах и почерневших пальцах инструментальщика; пришибленный — вот какой он был Буйяк. Но послушать папку, так в Буйяке пылала ярость, клокотала в его чахлой груди, что твой бессемеровский конвертер. Вуди ничего подобного за Буйяком не замечал. Буйяк избегал ссор. Коли уж на пошло, он, скорее, опасался, что Моррис с Галиной объединятся против него и с дикими криками забьют насмерть. Но папка не годился в головорезы. Да и Галина была женщина тихая, положительная. Буйяк

хранил свои сбережения в погребке (банки лопались один за другим). Но что уж такого они могли на самый худой конец сделать — разве что позаимствовать толику сбережений Буйяка в надежде вернуть их. По наблюдениям Вуди, Буйяк вел себя разумно. Он смирился со своим горем. От Галины же требовал самой малости: стряпать, прибираться и вести себя с ним уважительно. Но воровства Буйяк бы не стерпел: деньги — это особая статья, деньги играли самую что ни на есть первостатейную роль. И если они и впрямь похитили его кубышку, такой поступок мог толкнуть Буйяка на какие-то действия — из уважения к роли денег и к себе, из самоуважения. Но Вуди сильно подозревал, что и букмекер, и громила, и похищенная кубышка лишь папкин вымысел. Выдумка вполне в папкином духе, и лишь дурак принял бы его рассказ на веру. Моррис знал, что мама и тетка Ребекка просветили миссис Скуглунд, какой нечистый человек папка. Расписали его яркими (хоть рекламный щит малюй) красками: грехи багряной, душу черной, уготованный ему адский пламень огненной — игрок, курильщик, пьяница, дурной семьянин, распутник, безбожник. Словом, папка забрал себе в голову подкатиться к миссис Скуглунд. А это грозило неприятностями всем. Эксплуатационные расходы доктора Ковнера покрывались скуглундским молочным хозяйством. Вдова оплачивала обучение Вуди в семинарии, покупала платья его сестренкам.

И теперь Вуди, шестидесятилетнего, кряжистого, крупного — ни дать ни взять памятник в честь победы

американского материализма, — когда он утонул в мягком кресле, чьи кожаные подлокотники ласкали нежнее женских пальцев, озадачили, а если брать глубже, встревожили некие воспоминания, неясно всплывавшие в его памяти, и от этих воспоминаний его сердце (они-то как туда проникли?) то сжималось болью, то умилялось. Напряженная мысль, от которой один шаг до головной боли, морщила его лоб. Почему он не помешал папке? Почему согласился встретиться с ним тогда в темном закоулке бильярдной?

— Что же ты скажешь миссис Скуглунд?

— Старушечки-то? Не бойся, я имею, что ей сказать, и это будет чистая правда. Разве я не хочу спасти свою химчистку? И разве на следующей неделе судебный исполнитель не явится описывать оборудование?

Папка прорепетировал свою защитительную речь, пока трамвай тащился по Вестерн-авеню. Здоровый, цветущий вид Вуди — вот на чем строился его расчет. Такой положительный на вид паренек — находка для мошенника.

Интересно, случаются ли сейчас в Чикаго такие метели, как в былые времена? Нынче они вроде бы поутихли. Вьюги былых времен, двинув с Онтарио, из Арктики, наметали за день сугробы метра в полтора высотой. И тогда из депо выезжали изъеденные ржавчиной зеленые платформы с вращающимися щетками с обоих концов — чистить рельсы. Квартал за кварталом десять — двенадцать трамваев медленно тянулись гуськом или простаивали.

У ворот Ривервью-парка они застряли надолго — все аттракционы на зиму закрыли, заколотили: «русские горки», «чертовое колесо», качели, карусели — всю технику, плод трудов механиков и электриков, людей, подобно инструментальщику Буйяку, знающих толк в машинах. За воротами парка вьюга разгулялась вовсю, заслоняя парк от посторонних глаз, так что за забором различались лишь редкие лампочки, горевшие поодаль друг от друга. Вуди протер запотевшее стекло, но оказалось, что взгляду не проникнуть за забранное проволочной сеткой окно: в ячейки ее набился снег. Если же поглядеть повыше, не было видно ничего, кроме порывистого северного ветра, мчащего низко над землей. Впереди него двое черных разносчиков угля, оба в кожаных линденберговских шлемах, сидели, зажав меж колен лопаты, — возвращались с работы. От них разило потом, мешковиной и углем. Из тусклой черной пыли, запорошившей их с головы до ног, сверкали белки глаз, зубы.

Пассажиров в вагоне почти не было. Никого не тянуло на улицу. В такой день только и оставалось, что посиживать дома, вытянув ноги к огню и скукожившись под напором внешних и внутренних сил. Только если у тебя, как у папки, была своя корысть, ты мог презреть непогоду и выйти из дому. В такую ни на что не похожую метель лишь тот решался помужествовать с ней, кого влекла перспектива раздобыть полсотни. Пятьдесят монет! В тридцать третьем году это были деньги.

— Она имеет на тебя виды, — сказал папка.

— Ничего подобного, просто она хорошая и делает всем нам много добра.

— Кто знает, что у нее на уме. Ты мальчик рослый. Да и не такой уж мальчик.

— Она очень верующая. Истинно верующая.

— Ты имеешь отца, не одну мать. Я не дам матери, Ребекке и Ковнерам задурить тебе голову. Я знаю, твоя мать хочет вычеркнуть меня из твоей жизни. Если я не вмешаюсь, ты таки ничего не будешь знать про жизнь. Что эти недоумки христиане в ней смыслят, что?

— Ты прав, папа.

— Девочкам я помочь не могу. Малы еще. Жаль их, но что я могу тут поделать, что? Ты — другое дело.

Он хотел сделать из него американца, такого, как он сам.

Вокруг бушевала метель, трамвай бычьей масти остановился, ждал, когда наденут бугель, сорванный завывающим, ревушим, грохочущим ветром. На Говард-стрит им предстояло выйти и дальше идти сквозь метель на север.

— Начнешь разговор ты, — сказал папа.

У Вуди были задатки торговца, ярмарочного зазывалы. Они пробуждались в нем, едва он вставал, чтобы рассказать о своем обращении в церкви — там обычно собиралось человек пятьдесят — шестьдесят. И хотя тетка Ребекка неизменно его вознаграждала, он сам себя брал за душу, когда говорил о вере. Но случалось и так, что он говорил о вере, а душа его к этому не только не лежала, а ее, душу, от этого просто-таки мутило. И вот тогда Вуди выручала искрен-

няя повадка. Всучить свой товар он мог лишь благодаря выражению лица, голосу — словом, повадке. И тут-то глаза его начинали сходиться к переносице. Уже по одному этому он чувствовал, до чего нелегко дается ему лицемерие. Лицо кривилось, грозя выдать его. Все его силы отнимали старания выглядеть правдиво. Цинизм ему претил — вот что толкнуло его к плутовству. А где плутовство, там и папка. Папка штурмовал все эти полосы препятствий, ров за рвом, и — крючкомосый, широколицый — вставал бок о бок с Вуди. Искренний, неискренний — к папке эти мерки не подходили. Папка был как тот человек из песни: «Он, когда хотел чего, добивался своего». Папка был телесный, в нем ощущалась работа органов пищеварения, кровообращения, размножения. Когда на папку находил серьезный стих, он говорил, что надо мыть подмышки, подмываться, насухо вытирать ноги, готовить горячий ужин, говорил о жареных бобах с луком, покере или лошади, победившей в пятом заезде в Арлингтоне*. Папка был как стихия. Вот почему Вуди с ним отдыхал от религии, парадоксов и прочего тому подобного. А вот мама, она мнила себя очень духовной, но Вуди знал, что она обманывает себя. Что да, то да, со своим английским акцентом, о котором ни на минуту не забывала, она вечно говорила то с Богом, то о Боге: ради Бога, слава Богу, Боже сохрани. Но она была просто-напросто дебелая, трезвая, практичная, земная женщина, на которой лежали самые

* Пригород Чикаго — Арлингтон-Хайтс, где проводятся скачки.

обычные, земные обязанности: вскармливать дочерей, ограждать, учить тонкостям обхождения, воспитывать в невинности. И эти две огражденные голубицы, войдя в возраст, до того раздались в бедрах, что головенки их казались узкими, жалкими. И сумасшедшими. Славные девочки, только полные психи: Паула — псих жизнерадостный, а Джоанна — подавленный и с закидонами.

— Пап, я все для тебя сделаю, но пообещай, что не оградишь меня перед миссис Скуглунд.

— Я плохо говорю по-английски, да? Ты стесняешься, стыдишься папы? У меня что, еврейский акцент?

— При чем тут акцент? У Ковнера еще какой акцент, а ей хоть бы что.

— Да кто они такие, эти обормоты, чтобы задирать передо мной нос, кто? Ты без пяти минут взрослый, и папа имеет право на твою помощь. Папа попал в переплет. И ты привел его к ней, потому что у нее доброе сердце и тебе не на кого рассчитывать, кроме нее.

— И тебя, пап.

На Девон-авеню оба угольщика встали. Один из них кутался в женское пальто. В ту пору мужчинам случалось носить женское платье, женщинам мужское — выбирать не приходилось. Запорошенный сажой меховой воротник пальто от сырости взъерошился. Тяжело волоча за собой лопаты, они сошли с передней площадки. А трамвай, и всегда-то медленный, еще медленнее потащился дальше. До конечной остановки они добрались в пятом часу — сумерки мало-пома-

лу сменялись тьмой, под фонарями вился, вихрился снег. Вдоль и поперек Говард-стрит стояли брошенные машины. Они запрудили даже тротуары: Вуди с папой шли в Эванстон, Вуди шел первый, папа следом за ним посреди улицы по оставленным грузовиками колеям. Четыре квартала они мужествовали с ветром, а потом Вуди пробрался через сугробы к занесенному снегом особняку, там обоим пришлось налечь на кованые чугунные ворота — такой позади них намело сугроб. В этом величественном особняке было двадцать, если не больше, комнат, а жили в них всего-навсего миссис Скуглунд со своей служанкой Юрдис, тоже очень набожной.

Ожидая, когда им откроют, Вуди и папа, то потея, то коченея, смахивали мокрый снег с тулупов, папа вытирал кустистые брови концом шарфа, и вскоре загремели цепочки, и Юрдис, повернув деревянный засов, открыла окошечко в стеклянной двери. Вуди прозвал Юрдис «постной рожей». Теперь такие женщины, которые не пытаются никак прихорошиться, вовсе перевелись. Юрдис вышла без прикрас — какая есть, такая есть. И сказала:

- Кто там и что вам нужно?
- Я Вудро Зельбст. Юрдис? Это я, Вуди.
- Вас не ждали.
- Верно, но мы пришли.
- Что вам нужно?
- Мы пришли повидаться с миссис Скуглунд.
- Зачем вы хотите с ней повидаться?
- Чтобы она знала, что мы здесь.

— Я должна сказать ей, почему вы пришли без звонка.

— Почему бы вам не сказать, что это пришел Вуди с отцом: разве мы пришли бы в такую метель, если бы не важное дело?

Вполне понятная осмотрительность одиноко живущих женщин. И к тому же женщин степенных, несколько отставших от времени. Теперь в эванстонских домах с их просторными верандами, уходящими вглубь дворами и служанками вроде Юрдис, у которых на поясе бренчат ключи и от буфетных, и от всех чуланов и ящиков вплоть до последнего ларя в погребе, нет и следа былой степенности. К тому же в Эванстоне, этом оплоте епископальной церкви, христианской науки и Женского общества трезвости, торговцы не смели звонить в парадную дверь. Только приглашенные. А тут на тебе: прорвавшись сквозь метель, пройдя пешком пятнадцать километров, являются двое бродяг из Вест-Сайда. Вваливаются в почтенный дом, где шведская иммигрантка, в прошлом кухарка, а ныне вдова-благотворительница, закованная снегами, гремит, пока окоченевшие стебли лилий колотятся в ее забранные двойными рамами окна — о новом Иерусалиме, втором пришествии, воскресении и Страшном суде. Дабы приблизить второе пришествие и все прочее, необходимо было привлечь сердца этих продуктивных бродяг, явившихся в метель.

Их пустили — как не пустить.

Лишь теперь, когда тепло стало доходить до их замотанных шарфами подбородков, папа и Вуди почувствовали, что это была за метель: щеки у них онемели

от холода. Измочаленные, снедаемые корыстью, в потоках оттаявшего снега, они стояли посреди настоящего холла — не какой-нибудь прихожей — с резной винтовой лестницей, освещавшегося сверху огромным витражом. На нем изображалась встреча Иисуса с самаритянкой. Воздух был по-гойски спертый.

Когда Вуди бывал с папкой, он чаще, чем обычно, смотрел на вещи с еврейской точки зрения. Хотя в папке только и было от еврея, что он мог читать газету лишь на идиш. Папка жил с полькой Галиной, мама — с Иисусом Христом, а Вуди ел сырьем откромсанные от окорочка ломти бекона. И все же время от времени у него случались чисто еврейские заметы.

Миссис Скуглунд была женщина на редкость опрятная — что ногти, что белоснежная шея, что уши, и папины неприличные намеки били мимо цели — до того она была чистая; при виде ее, такой большой, величавой, Вуди вспоминались водопады. Грудь у нее была необъятная. Она занимала воображение Вуди. Он решил, что миссис Скуглунд ее туго стягивает. Но как-то она подняла разом обе руки, чтобы открыть окно, и тут ее грудь предстала перед стоявшим рядом Вуди в натуральную величину — нет, такую грудь не стянешь. Волосы, светлые-пресветлые, походили на волокна рафии, из которых, предварительно вымочив их, они плели корзины на уроках труда. Папка снял тулуп, и оказалось, что на нем надето одна на другую несколько фуфаяк, а пиджака и вовсе нет.

Бегающие глаза придавали папке плутоватый вид. Зельбстам с их крючковатыми носами и широкими,

такими вроде бы порядочными лицами труднее всего давалось выглядеть честными. Все в них говорило о нечестности. Вуди часто пытался докопаться до причин. В чем они — в игре лицевых мускулов, в складе рта? Или в складе их предприимчивых душ? Девочки прозвали папку Диком Трейси, но ведь Дик был славный парень. Да и кого папка мог бы провести? Впрочем, постойте, постойте, такая возможность не исключалась. Именно потому, что папка выглядел плутом, совестливый человек мог устыдиться: что, если он порицал папку незаслуженно или судил несправедливо? На каком основании — только из-за лица? Одному-другому наверняка захотелось бы загладить свою вину. И тут-то папка и подлавливал их: Их-то да, но Юрдис нет. Она бы — метель не метель — в два счета выставила папку на улицу. Юрдис была набожная, но простофилей она никак не была. Недаром она захватила бразды правления, не зря проработала сорок лет в Чикаго.

Миссис Скуглунд (Осе) провела посетителей в гостиную. Эту комнату, самую просторную в доме, приходилось отапливать дополнительно. Потолок тут был чуть не в пять метров высотой, окна огромные, и потому Юрдис беспрерывно топила печку. Нарядную буржуйку, которую венчало что-то вроде никелированной короны или митры. Митра, если ее чуть отодвинуть, поднимала навеску чугунной дверцы. Дверца эта, скрывавшаяся под митрой, была закопченная, проржавленная — словом, дверца как дверца. В открывшуюся топку совком засыпали уголь, антрацит-

ные шарики грохались на под. И над ними взвивался огненный не то торт, не то купол — его было видно сквозь слюдяные окошечки. Красивая комната, чуть не доверху в деревянных панелях. Мраморный камин, в дымоход которого выводилась печная труба, паркетные полы, машинные ковры, мебель со стеганой клюквенного цвета викторианской обивкой, горка, выложенная зеркальным стеклом, с вделанной в нее китайской этажеркой, где хранились серебряные кувшины — призы, полученные скуглундскими коровами, затейливые щипцы для сахара, а также хрустальные кувшины и кубки. Повсюду лежали Библии, висели картины, изображавшие Иисуса Христа и Святую землю, а в воздухе витал еле уловимый гоиский дух, словно все в ней промыли слабым раствором укуса.

— Миссис Скуглунд, я привел к вам моего папу. Вы, по-моему, с ним незнакомы, — сказал Вуди.

— Уважаемая, вот он я, Зельбст.

Папка, приземистый, но властный, встал перед ней в своих фуфайках животом вперед, и живот у него был не рыхлый — тугой. И вообще папка свое дело знал туго. Он никого не боялся. Никогда не кланчил. И ни перед кем не заискивал. Уже одним тоном, каким он произнес это свое «уважаемая», папка показал миссис Скуглунд, что он человек самостоятельный и знает, что к чему. Дал ей понять, что умеет обращаться с женщинами. Статной миссис Скуглунд, увенчанной плетеной из кос корзинкой, шел шестой десяток — она была лет на восемь — десять старше папы.

— Я знаю, вы делаете для моего мальчика много доброго, вот почему я просил его привести меня к вам. Маму его вы знаете, а папу не знаете — это непорядок.

— Миссис Скуглунд, у папы неприятности, и, кроме вас, мне не к кому больше обратиться.

Папке только того и было нужно. Он перехватил инициативу и рассказал вдове и о своей химчистке, и о просроченных платежах, не преминул объяснить и про арест, наложенный на оборудование, и про судебного пристава, и про то, чем ему все это грозит.

— Я маленький человек, стараюсь свести концы с концами, — сказал он.

— Вы не помогаете своим детям, — сказала миссис Скуглунд.

— Вот-вот, — поддакнула Юрдис.

— А я имею деньги? Будь они у меня, я что, не отдал бы их своим детям? По всему городу очереди — очереди за хлебом, очереди за супом. Я что, один такой или что? Что я имею, тем делюсь. Отдаю своим детям. Плохой отец? Разве сын приведет плохого отца? Он любит папу, верит папе, знает: его папа — хороший папа. Только-только я встану на ноги — меня разоряют. Вот и сейчас я завел свое дело, хорошее дело, пусть и маленькое, и я не хочу его потерять. Три человека работают у меня, троим я плачу жалованье, а закроется мое дело — три человека вылетят на улицу. Уважаемая, я даю вам расписку, и через два месяца вы будете иметь деньги. Я человек простой, но работаю я хорошо, и мне можно доверять.

При слове «доверять» Вуди аж подскочил. Если бы со всех сторон грянули трубы оркестра Сузы*, возвещая о грозящей опасности, и то впечатление не было бы более сильным. «Плут! Перед вами плут!» Но миссис Скуглунд, вся в мыслях о божественном, витала в облаках. И ничего не услышала. Хотя в этой части света буквально все, кроме разве что умалишенных, были людьми практическими и все ваши разговоры с ближними, да и их с вами, велись исключительно на практические темы, миссис Скуглунд, при всем своем богатстве, была не от мира сего — процентов на семьдесят, это уж точно.

— Помогите мне, и я покажу, что я за человек, — сказал папка. — Вы увидите, что я сделаю для моих детей.

Вот тут-то миссис Скуглунд заколебалась и сказала, что хочет подняться к себе, помолиться, попросить Господа наставить ее и не соблаговолят ли они присесть, подождать. По обе стороны печки помещались качалки. Юрдис метнула на папку суровый взгляд (опасный тип), а на Вуди — укоризненный (привел в дом опасного типа, смутьяна, потревожил двух добрых христианок). И удалилась вслед за миссис Скуглунд.

Не успели они выйти, как папка соскочил с качалки и зашипел:

— Это что еще за молитвы-шмолитвы? Скажите пожалуйста, ей надо посоветоваться с Богом, чтобы дать мне в долг пятьдесят долларов!

* Джон Филип Суза (1854–1932) — американский капельмейстер и композитор, прозванный королем маршей.

Вуди сказал:

— Пап, дело не в тебе, просто у верующих, у них такая привычка.

— Ай, брось, — сказал папка. — Она вернется и объявит, что Бог против.

Вуди рассердился на папку, счел, что ему недоста-ет тонкости, и сказал:

— Нет, она не притворяется. Пап, да пойми же ты: она женщина добрая, нерешительная, искренняя, ей хочется все сделать правильно.

На это папка сказал:

— Служанка ее отговорит. Жох-баба. Да у нее на лице написано, что она держит нас за прохвостов.

— Что толку спорить, — сказал Вуди. И придви-нул качалку поближе к печке. Ботинки его насквозь промокли — похоже, они никогда не высохнут. Голу-бые язычки пламени скользили над углями стайкой рыбешек.

А папка направился к горке (она же этажерка) в китайском стиле, дернул за ручку выгнутой стеклян-ной дверцы и, когда она не поддалась, вмиг отомкнул замок лезвием перочинного ножа. И достал серебря-ное блюдо.

— Пап, ты что делаешь? — сказал Вуди.

Папка и глазом не моргнул — он знал, что делает. Он запер торку, прошел по ковру к двери, прислушал-ся. Просунул блюдо под пояс и затолкал поглубже в брюки. Потом приложил коротенький толстый палец к губам.

Тут Вуди сбавил голос, но оправиться от потрясения не мог. Он подошел к папке, коснулся его руки. Он вглядывался в папкино лицо, и глаза его становились все меньше и меньше, словно бы кожа у него на голове отчего-то съеживалась. Ломило в висках, звенело в ушах, дыхание спирало, ноги подкашивались.

— Пап, положи эту штуку обратно, — задушенным голосом сказал Вуди.

— Она из настоящего серебра, стоит хороших денег, — сказал папка.

— Пап, ты же сказал, что не подведешь меня.

— Это я на тот случай, если она помолится-помолится — и откажет. Ну а согласится, я верну блюдо на место.

— Как?

— Поставлю обратно. А не я, так ты поставишь.

— Ты открыл замок отмычкой. Я не сумею. Сноровки нет.

— Подумаешь, большое дело.

— Мы сию же секунду поставим блюдо на место.

Дай его мне.

— Вуди, блюдо у меня под ширинкой, в подштанниках, и что ты так расшумелся, что?

— Папа, это просто уму непостижимо.

— Ой, ну и надоел же ты мне. Если б я тебе не доверял, разве я взял бы блюдо при тебе? Ты ничего не понимаешь! Какая муха тебя укусила?

— Пап, выгаци поскорее блюдо — они вот-вот вернуться.

Тут папа как напустится на него. Развоевался — страсть. Рывкнул:

— Выполняй, что тебе велено.

Не помня себя, Вуди наскочил на отца, и меж ними пошла рукопашная. Схватить отца за грудки, задней подножкой припереть к стене — это же черт знает что такое. От неожиданности папка повысил голос:

— Ты таки хочешь, чтобы Галину убили. Ну, убей! Но отвечать будешь ты.

Папка сердито отбивался, и они сделали несколько кругов по комнате, но тут Вуди приемом, который заимствовал из ковбойского фильма и даже как-то раз применил на спортивной площадке, удалось опрокинуть папку, и они рухнули на пол. Вуди — он был килограммов на десять потяжелее — очутился наверху. Они приземлились на полу около печки, которая стояла на расписном жестяном поддоне, оберегавшем ковер. И вот тут-то, когда Вуди навалился на папкин тугой живот, ему открылось, что он ничего не добился, опрокинув папку. Он не мог заставить себя засунуть руку папке под брюки, вытащить блюдо. А папка, как и подобает отцу, на которого сын поднял руку, и вовсе взъярился: он высвободился и врезал Вуди по лицу. Заехал ему раза три-четыре в нос. Вуди зарылся папке головой в плечо, обнял его крепко-крепко, чтобы уйти от ударов, и зашептал ему в ухо:

— Пап, да ты что, забыл, где ты? Они же вот-вот вернуться!

Но папка вскидывал коротенькую ножку, засаживал Вуди коленом в живот, бодал подбородком, да так,

что у того лязгали зубы. «Старик вот-вот начнет кусаться», — думал Вуди. И еще — семинарист как-никак — думал: «Нечистый дух, да и только». И покрепче обнимал старика. Мало-помалу папка перестал метаться, стих. Глаза у него выпучились, рот грозно ощерился. Ни дать ни взять злющая щука. Вуди отпустил папку, помог ему подняться. И тут же Вуди завладели дурные чувства, причем такого рода, каких старик — и это Вуди отлично знал — в жизни не испытывал. Никогда в жизни. Никогда папка не испытывал таких низменных чувств. Вот чем объяснялось его превосходство. Папке подобные чувства были неведомы. Все равно как азиатскому коннику, как китайскому разбойнику. Вот кто обладал тонкостью чувств, так это мама, которая вывезла из своего Ливерпуля английские манеры. Обладал ею и прирожденный проповедник его преподобие Ковнер, ходивший с головы до ног в черном. Вы обладаете тонкостью чувств, и что вам это дает — одни неудобства. Да ну ее, эту тонкость чувств...

Высокие двери распахнулись, и со словами:

— Мне померещилось или впрямь что-то упало? — вошла миссис Скуглунд.

— Я хотел подсыпать угля в печку, взял совок и выронил его. Вы уж извините мою неуклюжесть, — сказал Вуди.

Папка промолчал: разобиделся — страх. Воспаленные глаза вытарашены, жидкие волосенки прилипли ко лбу, живот втянут — хоть папка и не открывал рта,

уже по одному этому было видно, что он переводит дух, вне себя от злости.

— Я помолилась, — сказала миссис Скуглунд.

— Надеюсь, все кончилось хорошо.

— Видите ли, я ничего не делаю, не спросив Господа, но мне ответили утвердительно, и теперь я уверена, что поступлю правильно. Так что подождите, и я схожу в кабинет — выпишу чек. Я попросила Юрдис принести вам кофе. Прийти в такой мороз!..

Папка — несносный всегда и во всем, — не успела за ней закрыться дверь, сказал:

— Чек? Нужен мне ее чек. Ты мне наличные достань.

— Они не держат в доме денег. Завтра ты сможешь получить по чеку деньги в ее банке. Но если они хватятся блюда, они позвонят в банк, что тогда?

Папка сунул руку за пояс, но тут вошла Юрдис с подносом. Она с ходу налетела на папку:

— Другого места приводить себя в порядок не нашли? Это вам что — мужская уборная?

— Таки где тогда у вас уборная? — сказал папка.

Подав им кофе, который она налила в самые скверные из имевшихся в доме кружек, Юрдис брякнула поднос о стол, провела папку по коридору и встала на карауле у двери в ванную, чтобы он не вздумал бродить по дому.

Миссис Скуглунд позвала Вуди в свой кабинет и, отдав ему сложенный чек, сказала, что они должны вместе помолиться за Морриса. Тут Вуди пал на колени у конторки около стеклянной лампы под колпаком с плоскими, как у конфетницы, краями, а над ним

ряд за рядом высилась пыльная картонная под мор картотека. Миссис Скуглунд, задушевно бася, вознесла молитву Иисусу Христу, а ветер тем временем хлестал по деревьям, бился о стены, бросал снежные вихри в окна, — просила его просветить, сохранить и избавить папкину душу от всякого зла. Вуди просил у Господа только одного: пусть папка вернет блюдо на место. Он как можно дольше продержал миссис Скуглунд на коленях. Потом, лучась искренностью (что-то, а это он умел), поблагодарил ее за поистине христианское великодушие и сказал:

— Я знаю, что родственник Юрдис работает в Христианском союзе молодых людей. Не могла бы она позвонить ему, достать для нас комнату — уж очень не хочется тащиться в метель в такую даль. Что до общежития, что до остановки — расстояние одно. Но, как знать, может, трамваи и вовсе перестали ходить.

Подозрительная Юрдис явилась на зов миссис Скуглунд, кипя гневом. Сначала они ворвались к ним, расположились как у себя дома, выманили деньги, потом пои их кофе, и, чего доброго, после них еще гонорю со стульчака подцепишь. Тут Вуди вспомнил, что Юрдис имела обыкновение после ухода гостей протирать дверные ручки спиртом. Все же она позвонила в общежитие и добыла им двухместный номер за шесть долларов в сутки.

Вот и выходит, что папка вполне успел бы открыть горку, выложенную где зеркальным стеклом, где нейзильбером (весьма изощренно и причудливо), и, едва Зельбсты, рассыпавшись в благодарностях, откланя-

лись и по колено в снегу вышли на середину улицы, Вуди сказал:

— Я тебя прикрыл. Ты вернул эту штуку на место?

— Ну! — сказал папка.

Они с трудом пробились к приземистому общежитию, смахивавшему на полицейский участок: и проволочной сеткой забран, и размером схож. Ворота были заперты, но они долго барабанили по решетке, и негр-маломерок в конце концов впустил их и, шаркая, провел наверх по неоштукатуренному коридору. Вольер мелких зверей в Линкольн-парке — вот что больше всего напоминало общежитие. Негр сказал, что еды у них никакой нет, так что им ничего не оставалось, как стянуть промокшие брюки и, закутавшись поплотнее в армейские защитного цвета одеяла, вытянуться на койках и отойти ко сну.

Утром они первым делом отправились в эванстонский Национальный банк и получили пятьдесят долларов. Нельзя сказать, что операция прошла гладко. Кассир, бросив свое окошечко, пошел позвонить миссис Скуглунд и пропал надолго.

— Куда, к черту, он запропастился? — сказал папка.

Однако, вернувшись, кассир сказал:

— Какими купюрами желаете получить?

Папка сказал:

— По одному доллару.

Вуди он объяснил:

— Буйяк хранит деньги в бумажках по одному доллару.

Но Вуди уже не верил, что Галина украла сбережения старика.

Потом они вышли на улицу, где вовсю шла работа по уборке снега. Солнце, огромное-преогромное, сияло из утренней сини — высоченным сугробам недолго осталось украшать Чикаго.

— А ты, сыночка, зря на меня вчера наскочил.

— Твоя правда, но ты же обещал, что не подведешь меня.

— Да будет, будет тебе, все же в порядке — ты мне помог, так что давай замнем.

Но вся штука в том, что папка взял блюдо. Иначе и быть не могло, и спустя несколько дней миссис Скуглунд и Юрдис хватились его, и к концу недели вся компания поджидала Вуди в ковнеровском кабинете при благотворительном заведении. Был тут — как же без него — и ректор семинарии его преподобие Крабби, и Вуди, дотоле паривший вольно и без помех, был сбит на лету и рухнул в клубах пламени на землю. Вуди твердил, что ни в чем не повинен. Уже летя вниз, кричал, что на него взводят напраслину. Клялся, что ни он, ни папка ничего у миссис Скуглунд не брали. Пропавшую вещь, а он понятия не имеет, что там у них пропало, наверняка куда-нибудь засунули, она отыщется — и то-то им будет стыдно. Когда все присутствующие один за другим отчитали Вуди, его преподобие Крабби объявил, что Вуди, пока он не сознается в краже, отчислят из семинарии, где он, к слову сказать, и вообще-то не блистал прилежанием. Тетка Ребекка отвела его в сторону и сказала:

— Ну ты и плут, вылитый отец. Чтоб я тебя больше не видела.

На что папка сказал:

— Таки что я тебе говорил?

— Зря ты так, пап.

— Зря? Видал я их в гробу, если хочешь знать. На, бери блюдо — беги к этим ханжам, оправдывайся перед ними.

— Не по душе мне, что мы так обошлись с миссис Скуглунд: она нам сделала столько добра.

— Добра?

— Добра.

— Добро даром не делают.

Тут папку было не сбить. И все равно они вот уже сорок с лишним лет обсуждали этот случай и так и сяк — в разном расположении духа, на разном уровне, с разных точек зрения, по мере того как менялась, росла, крепла их привязанность друг к другу.

— Почему ты это сделал, пап? Ради денег? На что ты их потратил? — не один десяток лет спустя спросил его Вуди.

— Уладил дела с букмекером, остальное вложил в химчистку.

— Ты на бегах сыграл.

— Пусть так. Но это, Вуди, был дуплет. Я и себя не обидел, и тебе оказал услугу.

— Так ты это ради меня?

— Ну что за жизнь ты вел, что? Нет, Вуди, такая жизнь не для тебя. Кругом одни бабы. Ковнер ведь тоже не мужик, а я не знаю что. Ну а если бы они тебя сделали священником? Тоже мне священник! Во-первых, ты бы сам этого не вынес, а во-вторых, они бы тебя раньше или позже поперли.

— Очень даже может быть.

— Потом, ты не стал бы обращать евреев, а им только это от тебя и нужно было.

— Нашли время морочить евреев, — сказал Вуди. — Хорошо хоть я их не дурил.

Папка вернул Вуди на свою сторону — недаром он был плоть от плоти его: та же толстая, не пробьешь, шкура, та же неотесанность. Не рожден для духовной жизни. Тянись не тянись.

Папка был ничуть не хуже Вуди, а Вуди — ничуть не лучше папки. Папке претили теоретические обобщения, но он не упустил случая указать Вуди, как вести себя в жизни, и Вуди вел себя соответственно: весело, сердечно, естественно, добродушно и беспринципно. У Вуди начисто отсутствовал эгоизм, других слабостей в нем не замечалось. Папке это было на руку, и тем не менее он поругивал Вуди. «Слишком ты много на себя взваливаешь», — твердил папка. Но Вуди ведь именно потому и отдал сердце папке, что папка был эгоистом до мозга костей. А эгоистов, как известно, любят сильнее всего. Они поступают так, как ты никогда не позволишь себе, и за это их и любишь. Предаешься им безраздельно.

Вуди вспомнил про ломбардную квитанцию, и его вдруг разобрал смех, он даже поперхнулся от неожиданности. Когда его исключили из семинарии и выставили из миссии, папка сказал:

— Хочешь вернуться к ним? Вот тебе квитанция. Я заложил эту штуку. Дал промашку — не такая уж она ценная.

— Сколько ты за нее получил?

— Двенадцать с половиной всего-навсего. Но если блюдо тебе нужно, добывай деньги сам — те я потратил.

— Натерпелся небось страха, пока кассир ходил звонить миссис Скуглунд насчет чека?

— Немного понервничал, — сказал папка. — Но я знал, что пропажу так скоро не обнаружат.

Кража была очередной вылазкой в папкиной войне с мамой. С мамой, теткой Ребеккой и его преподобием Ковнером. Папка стоял за реализм. Мама выступала от сил религии и мрака. Вот уже четыре десятилетия они вели непрестанные бои. Время шло, и теперь мама и девочки влачили жалкую жизнь на пособие и ничего из себя не представляли. Иждивенки, психи — вот до чего они, бедняжки, докатились. И все это время грешник Вуди был им преданнейшим сыном и братом. Он делал у них все по дому — требовалось ли крыть крышу коттеджа, расшивать ли швы каменной кладки, чинить проводку, изоляцию, кондиционер, — платил за отопление, свет, еду, одевал их всех у «Сирса, Роубака, Виболдта»*, купил им телевизор, созерцанию которого они предавались так же благоговейно, как молитвам. Паула ходила на курсы, осваивала искусство макраме, вышивки по канве, порой подрабатывала, занимаясь трудотерапией с пациентами психиатрической больницы. Но подолгу там не удерживалась — слишком неуравновешенный был у нее характер. Папка с его запятнанной репутацией чуть не всю свою жизнь сводил пятна с чужой одежды. Последние годы они с Галиной держали химчистку самообслуживания в Вест-Роджерс-парке — заведение средней руки типа прачечной самообслуживания, работенка была непыльная, она оставляла папке уйму вре-

* Фирма, высылающая товары по почте.

мени на бильярд, бега, рамс и безик. Каждое утро он наведывался за перегородку — проверял, не застряло ли чего в решетках машин. Папка случалось находить там занятные вещицы, которые швыряли в барабан вместе с одеждой, а в удачные дни — когда медальон с цепочкой, а когда и брошь. Папка подновлял чистящий раствор, вливая в него розовую и голубую жидкость из пластмассовых кувшинов, после чего почитывал за второй чашкой кофе «Форвард» и уходил, оставляя дела на Галину. Если им не хватало денег на арендную плату, их выручал Вуди.

Когда диснеевская фирма открыла во Флориде второй увеселительный парк, Вуди захотел развлечь своих иждивенцев. Посылал он их туда, разумеется, порознь, партиями. Больше всех радовалась Галина. Она потом без конца рассказывала, какую речь произнес заводной Линкольн. «Нет, вы только подумайте, поднимается, руками, губами шевелит. Ну совсем как настоящий! А уж речь сказал — заслушаешься». Галина была самая из них здравомыслящая, добрая и честная. После смерти папки все ее потребности, которые не покрывало социальное обеспечение, оплачивали Вуди и Галинин сын Митош, органист на стадионе, расходы они делили поровну. Папка почитал страхование надуваловкой, Галине он оставил лишь допотопное оборудование, и ни шиша больше.

Вуди и себе не отказывал в развлечениях. Раз в год, а то и чаще, он пускал дела на самотек, поручал отделу доверительных операций своего банка присматривать за его присными и отправлялся путешествовать. Путешествовал он с размахом, с выдумкой, на широкую ногу. В Японии он не тратил время на Токио. Зато провел три

недели в Киото*, жил в гостинице «Таварая», построенной веке в семнадцатом, если не раньше. Спал там на полу, на японский манер, купался чуть ли не в кипятке. Посетил стриптиз, не имеющий себе равных по непристойности, посетил и святые места, и храмовые сады. Побывал он также и в Стамбуле, и в Иерусалиме, и в Дельфах, ездил на сафари в Бирму, в Уганду, в Кению в туристических группах вместе с шоферами, бедуинами, базарными торговцами. Открытый, тороватый, обходительный, все более и более грузный, но тем не менее (он бегал трусцой, поднимал тяжести) по-прежнему крепкий — нагишом он смахивал на разодетого в пух и прах придворного эпохи Ренессанса, — он год от году казался все здоровее: типичный любитель свежего воздуха — спина в веснушках, кирпично-красный лоб и простоватый нос в пятнах загара. В Аддис-Абебе он увел красавицу эфиопку прямо с улицы к себе в гостиницу и отмыл ее, самолично встав с ней под душ и намазывая ее своими широкими ласковыми лапками. В Кении обучил одну негритянку кое-каким американским ругательствам — отличное подспорье в ее профессии. Побывал на Ниле, пониже Мёрчисон-Фолс, где из трясины вставали стволы голубых эвкалиптов, а с отмелей грозно скалились на проплывающие моторки бегемоты. Один из них пустился в пляс на песчаной косе, тяжеломерно подпрыгивая и падая на все четыре лапы. Там-то Вуди и увидел, как крокодил уволок под воду буйволенка.

Мама — ей, видно, суждено было не надолго пережить папку — стала слаба головой. На людях она го-

* Киото славится своими парковыми, дворцовыми, храмовыми ансамблями.

ворила о Вуди не иначе как о ребенке: «Что вы скажете о моем сынулике?» Можно подумать, ему лет десять. Дурачилась с ним, кокетничала — только что не заигрывала. Видно, напрочь утратила представление о реальности. А за ней и остальные, точно малыши на детской горке во дворе, ожидали, когда придет их черед скатиться вниз — по одному на каждой ступеньке, и все переминаются от нетерпения.

Над Вудиными апартаментами и конторой озером разлилось молчание вплоть до тех пределов, куда достигал звон колоколов, покуда колокола не умолкли, и под покровом молчания Вуди этим грустным утром солнечной осени предавался скорби. Обозревал свою жизнь, намеренно всматриваясь в неприглядную — она же обратная — сторону вещей: была ведь и такая. Но если сердечная тоска его не отпустит, надо будет выйти из дому и избыть ее бегом. Пробежать пять километров, а не поможет, так и восемь. Вы небось думаете, что, бегая трусцой, заботитесь исключительно о теле, так вы думаете? Ан нет, не так все просто. И вот доказательство: в бытность Вуди в семинарии, когда на Всемирной выставке он (расторопный, упорный) впрягался в повозку, ему, пока он шел на рысях, было знамение, и не одно. А может быть, знамение было одно, но оно повторялось. Истина нисходила на него с солнца. Ему была дана весть, и весть эта была и свет, и жар. Она отстранила его от застоявшихся висконсинцев, тех самых фермеров, чей регот и похабщина отскакивали от него, когда на него накатывало. И вновь с пылающего солнца на него нисходила тайная уверенность, что земле уготована цель — проникнуться, исполниться добром. Но случится это после, а сначала все будет наоборот: человек человеку

будет волк, смерть крокодилом уволочет всех в трясины. Но кончится все не так, как мнилось миссис Скуглунд, подкупавшей его для того, чтобы он обратил всех евреев скопом и тем приблизил второе пришествие, а совсем иначе. Так подсказывало ему его чутье, пусть и не из самых тонких. Дальше он не шел. И с тех пор всю жизнь поступал так, как ему подсказывала жизнь.

Тем утром вспомнил он и кое-что еще, уж и вовсе относящееся исключительно к телу; сначала это ощущение родилось в его руках, отозвалось на прикосновение к груди, потом от тела к телу перешло в него, пронзило ему грудь.

Дело было так: переступив порог больничной палаты, он увидел, что борта папкиной койки приподняты, как у колыбели, а папка корчится при последнем издыхании, беззубый, что твой младенец, смертные тени запятели его лицо, а папка тянется выдрать иглы из вен и исходит чуть слышным предсмертным писком. Марлевые салфетки, прикрывавшие иголки, пропитались запекшейся кровью. И тогда Вуди снял ботинки, опустил борт койки, залез в постель, обнял папку — хотел успокоить, утишить его. И так, точно он был ему отцом, повторял: «Пап, да будет, будет тебе». А потом они сошлись в рукопашной, точь-в-точь как в былые дни в гостиной миссис Скуглунд, когда папка взъярился, словно нечистый дух, а Вуди, пытаясь утихомирить, предостеречь его, твердил: «Они же вот-вот вернутся!» Сошлись около буржуйки, где папа двинул Вуди головой в зубы, а потом ощерился грозно, как злющая щука. Только тогда это была рукопашная так рукопашная, не то что теперь. С щемящей жалостью Вуди обнимал папу, а тот трепыхался, трепетал. От этих людей, сказал ему тогда папка,

тебе никогда не узнать, что такое жизнь. Что они в ней смыслят, что? Да, папка, так вот, что же такое жизнь, папка? В голове не укладывалось, почему у папки, который занял твердую — не выбьешь — позицию и занимал ее вот уже восемьдесят три года, теперь было лишь одно желание: оставить ее, освободиться. Но как Вуди мог позволить старику отцу выдернуть иглы из вен? Своевольный папка, «он, когда хотел чего, добивался своего». Но чего он хотел в конце всех концов, Вуди не мог взять в толк — такого крутого поворота он никак не ожидал.

Чуть погодя папка прекратил сопротивляться. Чем дальше, тем он больше сникал. Он прильнул исчащим телом к сыну, свернулся калачиком. Сестры входили в палату, смотрели на них. В их взглядах сквозило порицание, но Вуди — отмахнуться он не мог, руки его были заняты, — кивком головы указывал им на дверь. Папка — а Вуди так надеялся, что успокоил его, — просто-напросто нашел способ получше обвести его вокруг пальца. Из папки стало уходить тепло — вот какой он выбрал способ. Тепло покидало его. Такое порой случается, когда зажмешь в руке зверька, — Вуди чувствовал, что папка холодеет. Потом Вуди изо всех сил вцепился в папку и уже счел было, что удержал его, но тут папка раздвоился. А когда тепло отошло от него, он улизнул в смерть. И вот пожилой, крупный, крепкий сын все еще прижимал к себе, обнимал отца, а обнимать-то уже было нечего. Этот своенравный человек никому не давался в руки. Когда он был готов действовать, он действовал — всякий раз на своих условиях, и всякий, буквально всякий раз он тебя обязательно хоть чем-то, а огорошивал. Такой уж человек.

Родственники*

Перед тем как Танчику Метцгеру вынесли приговор по делу, памятного в основном лишь его ближайшим родственникам, я написал письмо — меня заставили, вынудили, выкрутили мне руки — судье Айлеру из Федерального суда. Мы с Танчиком в родстве, и Танчикова сестра Юнис Каргер надела на меня, просила вступить за него, до нее дошло, что я хорошо знаком с Айлером. Мы с ним познакомились сто лет назад: он тогда учился на юридическом, а я вел телевизионную программу по седьмому каналу, в которой обсуждались всевозможные судебные заковыки. Позже мне случилось быть тамадой на банкете Чикагского совета по иностранным делам, и газеты напечатали фотографию, на которой мы с Айлером, в смокингах, сияя улыбками, обмениваемся рукопожатием.

Поэтому, когда апелляцию Танчика, как и следовало ожидать, отклонили, Юнис вызвонила меня. Для начала она заплакала, да так надрывно, что я был потрясен, — чего сам никак не ожидал. Взяв себя в руки, она сказала, что я должен употребить все свое влияние.

* Cousins. ©1984 by Saul Bellow.

— Говорят, ты дружен с судьей.

— Для судей это не играет роли. — Я тут же спохватился. — Может быть, для некоторых и играет, но не для Айлера...

Куда там, Юнис гнула свое:

— Прошу тебя, Изя, не отмахивайся. Танчик может получить до пятнадцати лет. Я не вправе обрисовать тебе все обстоятельства. Я имею в виду касательно его дружков...

Я отлично понимал, что она имела в виду: его связи с преступным миром. Танчик, если он не хотел, чтобы дружки велели его пришить, должен был помалкивать.

Я сказал:

— Я более или менее понимаю, в чем дело.

— Тебе его не жалко?

— О чем ты говоришь?

— Ты жил иначе, чем мы, Изя, но я всегда говорила, что ты очень привязан к Метцгерам.

— Твоя правда.

— И любил когда-то папу и маму.

— Я их никогда не забуду.

Самообладание вновь оставило ее, но вот почему она рыдала так отчаянно, ни один психиатр, даже самый дотошный, не смог бы объяснить. Не от слабости, нет. В этом я совершенно уверен. Юнис не какой-нибудь там сосуд скудельный. Она сильная, как ее покойная мать, цепкая, напористая. Мать ее была благородно прямой, ограниченной и простоватой.

Зря я сказал: «Я их никогда не забуду», ведь Юнис считает себя представительницей матери в мире живых, и отчасти она рыдала так и из-за Шени. По моей чинной служебной линии никогда еще не доносились подобные звуки. Какой позор для Шени: ее сын будет осужден как уголовник. Старая женщина не снесла бы такого удара! Никак не желая смириться со смертью матери, Юнис (в одиночку!) оплакивала Шеню: подумать только, что бы ей пришлось пережить.

— Вспомни, Изя, как мама обожала тебя. Она говорила, что ты гений.

— Верно, говорила. В домашнем кругу к ее мнению прислушивались. Мир его не разделял.

Как бы там ни было, Юнис меня настигла и ходатайствует за Рафаэля (так зовут Танчика). Танчику же в высшей степени наплевать на сестру.

— Вы поддерживаете связь?

— Он не отвечает на мои письма. Не отзванивает. Изя! Я хочу, чтобы он знал: я думаю о нем.

В этом месте мои чувства, освеженные и подновленные воспоминаниями о былых временах, тускнеют и жухнут. Что бы Юнис не употреблять таких слов. Я их не перевариваю. Нынче трафаретные надписи «Мы о вас думаем» видишь на стенах всех супермаркетов и ссудных банков. Возможно, потому, что ее мать не знала английского, а еще и потому, что Юнис в детстве заикалась, она наслаждается тем, что говорит так кругло, языком наиболее передовых представителей американского общества.

Я не мог сказать: «Ради Бога, говори по-человечески...» Вместо этого мне пришлось утешать ее: она была угнетена — угнетенность ее была не менее многослойной, чем наполеон. Я сказал:

— Не сомневаюсь, он знает, как ты переживаешь. Пусть даже он и гангстер.

Нет, я не поручусь, что мой родственник Рафаэль (Танчик) и впрямь гангстер. Надо сдерживаться, не то штампованные обороты его сестры доведут (взбесят) меня, и я потеряю объективность. Он якшается с гангстерами, ну а члены муниципалитета, чиновники городского управления, журналисты, крупные подрядчики, сборщики пожертвований для благотворительных заведений, они что, не якшаются — преступный мир тороват. И гангстеры не худшие из злодеев. Я могу назвать извергов и почище их. Будь я Данте, разработал бы все эти круги детально.

Я pro forma* справился у Юнис, почему она обратилась ко мне. (Не надо быть ясновидцем, чтобы понять: ее надоумил Танчик.) Она сказала:

— Ну как же, ты человек известный.

Сто лет назад я придумал телевизионную программу о нашумевших процессах и выступал в ней в роли то ли ведущего, то ли церемониймейстера — вот на что она намекала. Тот период моей жизни не имеет ничего общего с нынешним. Окончив чуть ли не первым из своего выпуска, я отклонил множество выгодных предложений лучших фирм: чувствовал себя слишком активным или динамичным (сверхдинамич-

* для видимости (*лат.*).

ным). И я боялся, что не смогу вести себя как должно ни в одной из этих престижных контор. Вот что вынудило меня изобрести передачу под названием «В зале суда», в которой значительные, а нередко и прогремевшие случаи из анналов суда пересматривались многообещающими студентами из Чикагского и Северо-Западного университетов, а также из университета Де-Поля и училища Джона Маршалла*.

Критерием отбора нам служил ум, не учебные успехи. Случалось, что самых яростных наших спорщиков мы вербовали на вечерних факультетах. Лучшего, чем юридическая практика, применения диалектическим изыскам, изворотливости, беспардонности, показушной эксцентриаде, мерзкой самовлюбленности, психоватости и тому подобным свойствам не найти. В мои обязанности входило подыскивать занятных соперников (как для защиты, так и для обвинения), представлять их публике, выдерживать темп — задавать тон. При помощи моей жены (тогдашней жены, тоже юриста) я подбирал случаи из судебной практики. Ее привлекали уголовные процессы с выходом на тему гражданских прав. Я предпочитал человеческие странности, загадочные характеры, двусмысленные толкования, куда менее эффектные на экране. Зато ставил эти спектакли лучше всего я — во мне обнаружилась режиссерская жилка. Перед программой я всякий раз кормил противников обедом у Фритцеля, на Уобаш-авеню. Себе всякий раз заказывал одно и то же — бифштекс с кровью, вываливая на него целый

* Юридическое училище, основано в 1899 г.

соусник приправы с рокфором для салата. А на десерт — пломбир под шоколадным соусом, с которым поедал едва ли не больше пепла, чем шоколада. Я ничего из себя не строил. Позже эту юную мою жизнерадостность и дерзость я почел за благо подавить; мало-помалу они угасли. Кто знает, иначе я мог бы стать заправским хохмачом или, выражаясь языком «Вэрайети»*, дзанни. Я довольно быстро смекнул, что ушлым молодым людям, которых я выводил на ристалища (по преимуществу шустрым без пяти минут адвокатам, уже приглядывавшим себе клиентов и жаждущим покрасоваться перед публикой), невероятно импонируют мои странности. Обед у Фритцеля помогал им расслабиться. Во время передачи я руководил ими, изводил их, подстрекал, натравливал друг на друга, тиранил. В итоге моя жена Соболев (Изобел: но я переименовал ее в Соболев из-за темной кожи) зачитывала приговор и решение суда. Многие из участников тех дебатов стали ведущими юристами, разбогатели, прославились. После того как мы развелись, Соболев вышла замуж сначала за одного из них, потом за другого. Со временем она стала большой шишкой в средствах массовой информации — на Национальном общественном радио.

Судью Айлера, в ту пору начинающего юриста, мы не раз приглашали участвовать в наших передачах.

Вот почему для моих родственников я и через тридцать лет так и остался ведущим, звездой передачи «В зале суда», видной фигурой в средствах массовой

* Еженедельная газета, посвященная театру, кино и т.д.

информации. Своего рода кудесником, близким к бессмертным. Можно подумать, я огреб кучу деньжищ, вроде какого-нибудь Клутцника или Прицкера. А теперь мне открылось, что для Юнис я не только видная фигура в средствах массовой информации, но и фигура загадочная.

— Когда ты уезжал из Чикаго, ты эти годы разве не работал на ЦРУ, а, Изя?

— Нет и нет. Те пять лет, что я прожил в Калифорнии, я работал в корпорации РЭНД*, мозговом центре, ведущем исследования особого рода. Я занимался изысканиями, готовил доклады, анализы. Примерно такие же, что и частная группа, в которую я вхожу сейчас, выполняет для банков...

Я хотел развеять тайну — разоблачить миф об Изе Бродском. Ну конечно же, слова типа «изыскания» и «анализы» у Юнис неизбежно ассоциируются со шпионской деятельностью.

Несколько лет назад, выписавшись после серьезной операции из больницы, Юнис призналась мне, что ей решительно не с кем поговорить. Ее муж Эрл, сказала она, не дает ей эмоциональной поддержки (она имела в виду: денег). Дочери уехали из дому. Одна работала в Корпусе Мира, другая кончала медицинское училище и не могла выбрать время, чтобы повидаться с матерью. Я пригласил Юнис пообедать, а перед обедом выпить у меня, на Лейкшор-драйв. Она сказала:

* Научно-исследовательская корпорация, связанная с Пентагоном.

— Все эти сумрачные старомодные комнаты, сумрачные старомодные картины, кипы восточных ковров, книги на иностранных языках — ты живешь совсем один (она имела в виду, что мне не приходится вести баталии из-за грошового счета за газ). Но к тебе, наверное, ходят девушки, вернее, дамы?

Намек на «проблему мальчиков». Не означает ли сумрачная роскошь моей квартиры, что я стал голубым?

Ну нет. И этого тоже нет. Живу одиноко (для Юнис). И даже не бой другого барабана тому причиной*. Просто я вообще не марширую.

Но возвратимся к нашему телефонному разговору: я в конце концов выудил у Юнис, что она звонит мне по настоянию Танчикова юриста. Она сказала:

— Танчик сегодня прилетает из Атлантик-Сити — играл там, — он просит тебя завтра с ним пообедать.

— Ладно, передай, что я встречу с ним в «Итальянской деревушке» на Монро-стрит, наверху, в одном из отдельных кабинетов в семь вечера. Метрдотель проведет его ко мне.

Я толком не говорил с Танчиком после его демобилизации в сорок шестом — тогда мы еще могли найти общий язык. Мы встретились в О'Хара** лет десять назад: я ждал посадки на самолет, он только что при-

* Аллюзия на строки из «Уолдена, или Жизни в лесу» Генри Дейвида Торо (1817—1862): «Если кто шагает не в ногу, не значит ли это, что ему слышится бой другого барабана. Так не будем мешать ему маршировать под ту музыку, что ему слышится...»

** Международный аэропорт в Чикаго.

летел. Он тогда забрал большую силу в своем профсоюзе (что за этим стояло, я узнал лишь позже из газет). Как бы там ни было, он разглядел меня в толпе и представил своему спутнику.

— Познакомься — мой знаменитый родственник Изя Бродский, — сказал он.

В эту минуту мне было ниспослано курьезное видение: мне представилось, как нас воспринимает со-влекшийся плоти разум над нами. Сложением Танчик походил на преуспевшего профессионального футболиста, который на возрасте завел собственную футбольную команду. Его раздавшиися вширь щеки были оттенка розового мейсенского фарфора. Он отрастил светлую курчавую бородку. Зубы у него были крупные, квадратные. Какие слова точнее всего опишут нынешнего Танчика: массивный, дородный, напичканный витаминами, всесильный, богатый, наглый. Он выставял на потеху своего родственника — плешивого Изю с глазами точь-в-точь как у орангутанга, с плоским круглым лицом — наивность, написанная на нем, сохранилась разве что у зверей в зоопарке, длиннорукого, рыжего. Ведь я не старался ничем, пусть хотя бы знаками, показать, что со мной следует считаться; я никоим образом не связан ни с одним пусть каким угодно, но мало-мальски путным делом. И мне вдруг вспомнилось, что на заре века Пикассо однажды спросили, чем занимается молодежь во Франции, и он ответил: «*La jeunesse c'est moi*»*, но я не являлся

* Молодежь — это я (*фр.*). Парафраз известного изречения Людовика XIV: «Государство — это я».

ни чего-то примером, ни кого-то представителем — это мне не по чину. Танчик, забавляясь, подавал меня своему соратнику как интеллектуала, и, хоть я и не прочь, чтобы меня считали умным, признаюсь, полагаю для себя унижительным, когда меня относят к интеллектуалам.

Возьмем для противопоставления Танчика. Его махинации пошли ему в тук. Он из тех здоровил, которым на костюм требуется как минимум полштуки сукна, которые едят бифштекс из вырезки по-нью-йоркски в «Эли», проворачивают миллионные сделки, летают в Палм-Спрингс, Лас-Вегас, на Бермуды. А Танчик тем временем говорил:

— У нас в семье Изю держали за гения. Во всяком случае, за одного из гениев — у нас их была паратройка.

Я уже не был тем чудо-студентом юристом, которому предрекали блестящее будущее, — что верно, то верно. Издевательский тон Танчика был оправдан — ведь льстило же мне в свое время, что для семьи я был «цветком надежды»*.

Что касается подозрительного спутника Танчика, я понятия не имел, кто он, — это мог быть и Тони Провенцано, и Салли (Псих) Бригульо, и Дорфман из профсоюза транспортников. Кто угодно, только не

* Переиначенная цитата из «Гамлета» У. Шекспира (пер. М. Лозинского):

О, что за гордый ум сражен! Вельможи,
Бойца, ученого — взор, меч, язык;
Цвет и надежда радостной державы...

Джимми Хоффа*. Хоффа тогда сидел. Кроме того, его я, да и не только я — всякий узнал бы. Мы же были с ним знакомы, потому что после войны меня и Танчика, обоих, взял на работу наш родственник Милти Рифкин — он в то время управлял гостиницей, а Хоффа вроде бы имел в ней долю. Когда Хоффа со своей кодлой наезжал в Чикаго, они там останавливались. Я в ту пору натаскивал сына Милти — Хэла, чересчур прыткого и пройдошистого, чтобы тратить время на книги. Хэл рвался в бой, и, едва ему стукнуло четырнадцать, Милти поставил его заведовать баром в гостинице. Родители целое лето потешались — разрешали Хэлу изображать управляющего, и Милти, когда к нему являлись торговцы спиртным, говорил:

— Вам следует обратиться к Хэлу, моему сынку, закупка спиртного — это по его части. Спросите парня, похожего на Эдди Кантора**.

Те отправлялись в контору, там их встречал четырнадцатилетний малец. Меня посадили туда, чтобы, обучая Хэла употреблению аблатива*** (он посещал классическую школу), я тем временем досматривал за ним. Я осуществлял за ним пригляд. Смышленный мальчонка, родители им невероятно гордились.

Мне приходилось подолгу торчать в баре, и таким образом я познакомился с ребятами Хоффы. Громилы

* Джеймс Хоффа (1913–1975) — американский профсоюзный деятель. Президент профсоюза транспортников, тесно связанного с гангстерами. В 1967 г. Хоффа был приговорен к восьми годам заключения и сел в тюрьму.

** Эдди Кантор — певец, киноактер.

*** творительного падежа (*лат.*).

все как один, за исключением Гарольда Гиббонса, этот был донельзя учтивый и со мной, во всяком случае, любил покалякать на ученые темы. Остальные были ребята крутые, круче не бывает, Милти, мой родственник, держался с ними на равных этаким парнем-хватом, лихим молодцом, говорил как мужчина с женщиной, и в этом была его ошибка. Дотянуться до этого навязанного им себе самому уровня он не мог. При случае он умел осуществить нажим, в общем-то не имел лишних предрассудков, но в подлинные руководители не годился — не из того он теста. Милти в отличие от Юлия Цезаря не мог сказать часовому, который не пропускал его: «Чем спорить с тобой, мне легче тебя убить». Вот Хоффы, они такие.

Милти нанял Танчика — он тогда только что отслужил в армии — вынюхивать для него недвижимость, на которой висели невыплаченные налоги. Таких побочных афер у Милти было много. Тогда лишали имущества сплошь и рядом. Так что мой родственник Танчик (Рафаэль) познакомился с Рыжиком Дорфманом, бывшим боксером, посредником между Хоффой и организованной преступностью в Чикаго, через Милти Рифкина. Дорфман, в ту пору учитель физкультуры, унаследовал Танчика от своего отца, Рыжика, старого боксера. Полный набор преступных связей был частью состояния, оставленного Рыжиком сыну.

Вот какими были кое-кто из тех людей, которые правили миром, где я вознамерился посвятить себя тому, что принято называть «высоким призванием». «Стремиться к тому, чего лучше нет» — было для меня

не отвлеченной задачей. Меня этому обучали не на семинарах. Такова была потребность моей натуры, обусловленная как физиологией, так и темпераментом, и основывалась она на склонностях врожденных, не приобретенных. Всепоглощающий интерес к лицам, поступкам, телам и привел меня к метафизике. Эта причудливая метафизика служила мне, как пернатым служат их радары. Повзрослев, я обнаружил, что смотрю на все с точки зрения метафизики. Но, как я вам уже доложил, меня ей не учили. Студентом я жил за городом, поэтому просиживал часами в поездах надземки, которые, грохоча, раскачиваясь, лязгая, скрежеща, неслись на всех парах над тущобами Саут-Сайда, — так я зубрил Платона, Аристотеля и святого Фому*, готовясь к семинарам профессора Перри**.

Но мои увлечения тут ни при чем. Здесь, в «Итальянской деревушке», напротив меня сидел в ожидании приговора Танчик, его выпустили под залог в полмиллиона долларов. Выглядел он неважнецки. Краски слиняли, видно, оказались нестойкими. Черты крупного лица расплылись — годы хамских занятий отразились на нем. Как врач-любитель, я определил, что давление у Танчика примерно двести пятьдесят на сто шестьдесят пять. Его внутреннее «я» смекало: не стоит ли предпочесть insult тюремному

* Святой Фома Аквинский (1225—1274) — философ и теолог.

** Бартон Перри (1876—1957) — американский философ и педагог.

заклучению. Для поднятия духа он с утра пораньше побывал в парикмахерской — бородка à la Эдуард* была свежеподстрижена и наверняка — сейчас не время показывать седину — подкрашена. Однако она курчавилась уже не так лихо, как прежде. Танчик не нуждался в моем сочувствии. Он собрался с духом, готов был принять любые удары судьбы. Дай я ему понять хоть намеком, что жалею его, он рассердился бы. Искушенные соболезнователи поймут, если я скажу, что напротив меня сидел не человек, а сплошное несчастье. Это сплошное несчастье подавало мне знаки, разгадать которые я не мог, потому что знал шифр далеко не полностью.

Бывшая забегаловка напротив Первого национального банка (этой вогнутой громады, вздымающейся все выше и выше), на пятьдесят первом этаже которого я работаю, «Итальянская деревушка» — один из немногих ресторанов в городе с отдельными кабинетами: хочешь, соблазняй, хочешь, надувай — на выбор. Она построена еще в двадцатые годы, и при ее оформлении ориентировались на карнавальные шествия в честь какого-нибудь святого в Маленькой Италии** — гирлянды лампочек, светящиеся колеса. Смахивала она и на тир. А также на экспрессионистские декорации. Когда дни сухого закона миновали, на месте старой «Петли» выросли здания контор, и «Деревушка» стала

* Эдуард VII (1841—1910) — король Англии, правил с 1901 по 1910 г.

** Маленькая Италия — район Нью-Йорка, населенный в основном итальянцами.

вполне почтенным заведением, популярным у звезд музыкального мира. Здесь гастролирующие примадонны и прославленные баритоны, напевшись в «Лирической»*, объедались ризотто. По стенам висели фотографии актеров с собственноручными надписями. И тем не менее отсюда еще не выветрился дух Аль Капоне** — кроваво-красные соусы, сыры с запахом подопревших ног, блюда выковырянных из морской глубины беспозвоночных.

Личных тем мы почти не касались. Работаю ли я через улицу? — осведомился Танчик. Да. Спроси он, как протекают мои дни, я начал бы с того, что встаю в шесть, чтобы поиграть на закрытом корте в теннис — разогнать кровь, а когда добираюсь до конторы, читаю «Нью-Йорк таймс», «Уолл-стрит джорнэл», «Экономист» и «Барронз»***, проглядываю кое-какие распечатки и записки, подготовленные моей секретаршей. Отметив наиболее существенное, я выкидываю все из головы и остаток утра посвящаю делам, интересным лично мне.

Но Танчик, мой родственник, не осведомился, как я провожу свои дни. Упомянул только о том, сколько нам стукнуло, ему и мне соответственно — я на десять лет его старше, — и сказал, что с годами бас мой стал еще глубже. Это так. Но к чему мне такой *basso profundo*****, разве чтобы придать непреднамеренную

* Чикагская лирическая опера, основана в 1954 г.

** Альфонсо Капоне (1899—1947) — чикагский гангстер.

*** Финансовый еженедельник, назван в честь его основателя, журналиста Кларенса У. Баррона (1855—1928).

**** глубокий бас (*ит.*).

глубину комплиментам, которые я отпускаю дамам. Когда на званом обеде я предлагаю даме сесть, она буквально утопает — до того глубокие звуки я издаю. Или, к примеру, когда я утешаю Юнис, а она, видит Бог, в этом нуждается, мой нечленораздельный рокот, похоже, вселяет в нее надежды.

Танчик сказал:

— Бог знает почему ты не выпускаешь из виду никого из родственников, Изя.

В ответ я прогудел что-то вполне нейтральное. Я считал, что было бы некрасиво допустить хотя бы намек о делах Танчика в профсоюзе или о процессе, по которому он проходил.

— Расскажи-ка, Изя, что ты знаешь о Милти Рифкине. Когда я демобилизовался, он меня выручил.

— Милти теперь живет на солнечном Юге. Женится на телефонистке своей гостиницы.

Вообще-то Танчик мог и сам сообщить мне много чего интересного о Милти: я ведь знаю, что Милти спал и видел, как бы попрочнее затянуть Хоффу в дела гостиницы. У Хоффы в распоряжении был колоссальный капитал, миллиарды и миллиарды в пенсионных фондах. Плотного сложения, без пяти минут толстяк, с красивым хищным лицом и горделивым профилем, Милти холил себя, наряжался, нацеплял разные побрякушки, поглядывал нагло и склочно. Умел делать деньги, а в ярости — нрав у него был горячий — распускал руки. Чуть что, дрался — просто псих. Его бывшая жена Либби — она весила килограммов сто двадцать, если не больше, — носилась по гостинице

на шпильках — мы ее прозвали Травленный Зверь (она вытравляла волосы до полной бесцветности). Она закупала провизию, вела бухгалтерию, управляла, расправлялась, отчитывала шеф-повара, рассчитывала уборщиц, учитывала подавальщиц; малевалась Либби, как актер театра кабуки. Главным делом ее жизни было удерживать Милти (они были скорее партнерами, чем мужем и женой), и это было дело по ней. Милти раз-другой пожаловался Хоффе на одного из громил, чьи щеки, оплачивающие его личные нужды, возвращал банк. Громила — его фамилия вылетела у меня из головы, помню только, что ветровое стекло его «крайслера» украшала наклейка «духовенство»*, — сшиб Милти с ног в вестибюле и едва не задушил. Этот случай обратил на себя внимание Роберта Ф. Кеннеди — он в ту пору хотел добраться до Хоффы, и Кеннеди под угрозой штрафа приказал Милти явиться свидетелем в суд, давать показания комитету Макклеллана**. Давать показания против кодлы Хоффы стал бы только ненормальный.

Либби, когда до нее дошло, что им выслана повестка, заорала:

— Смотри, что ты натворил. Из тебя же сделают котлету.

Милти пустился в бега. Удрал в Нью-Йорк, а там погрузил свой «кадиллак» на «Куин Элизабет». В бега

* Такая наклейка дает известные преимущества при парковке.

** Специальный комитет во главе с сенатором Джоном Л. Макклелланом, которого сенат назначил для расследования рэкетирства среди руководителей профсоюзов.

он пустился не один. Компанию ему составила телефонистка. В Ирландии они остановились у американского посла (по протекции сенатора Дирксена* и его помощника по особым поручениям Джулиуса Фаркаша). Пока Милти гостил в американском посольстве, он приобрел участок, намечавшийся под строительство нового Дублинского аэропорта. И дал маху: оказывается, аэропорт наметили строить в другом месте, после чего он вкуче с будущей женой улетел на континент транспортным самолетом — не хотел расставаться с «кадиллаком». В полете они коротали время, решая кроссворды. Высадились они в Риме...

Я не стал докучать Танчику этими подробностями, скорее всего многие из них были ему и так известны. Кроме того, он побывал в стольких переделках — стоило ли при нем упоминать о подобных пустяках. Я преступил бы какое-то неписаное правило, заговорив о Хоффе или упомянув об уклонении от дачи свидетельских показаний. Танчик, конечно же, был вынужден отказаться, когда государство, как водится, предложило взять на себя охрану его неприкосновенности. Согласиться на нее — значило совершить роковой шаг. Теперь, когда записи подслушанных ФБР разговоров и другие улики по делу Уильямса — Дорфмана стали достоянием гласности, лучше понимаешь Танчика. Поручение вроде такого вот: «Передай Меркле: если он не продаст контрольный пакет акций своей фирмы на наших условиях, мы его уберем. И не только его. Скажи, что мы в лапшу изрубим его жену, а

* Эверетт Дирксен — политический деятель.

детей передумим. И заодно передай его адвокату, что так же мы поступим и с ним, с его женой и детьми».

Лично Танчик никого не убивал. У Дорфмана он ведал деловой частью, входил в его юридическую и финансовую команду. При всем при том, случалось, его посылали запугивать людей, которые медлили оказать содействие или раскошелиться. Танчик гасил сигару о сверкающие глянцем столы и разбивал вдребезги фотографии жен и детей в рамках (по-моему, в некоторых случаях это было весьма не лишним). Речь шла о миллионах. Из-за ерунды Танчик не стал бы бушевать.

И естественно, я попросту оскорбил бы Танчика, заговорив о Хоффе, потому что Танчик, один из немногих, знал, как исчез Хоффа. Я-то — а я много чего почитал (под предлогом беспокойства за родственников) — был убежден, что Хоффа сел в Детройте по дороге на «мировую» в машину и его тут же шарахнули по голове и, по всей вероятности, там же на заднем сиденье и прикончили. А тело расчленили в одной машине и сожгли в другой.

Осведомленность в такого рода делах сказывалась на внешности Танчика, лицо его вспухло — раздулось от смертоносных тайн. Вот эта-то осведомленность и делала его опасным. За нее ему и пришлось бы сидеть в тюрьме. Организация верила, что Танчик не подведет их, и не оставила бы его своими заботами. А от меня Танчику нужно было всего-навсего личное письмо к судье.

«Ваша честь, я предоставляю на Ваше рассмотрение эти сведения в интересах ответчика по делу «США против Рафаэля Метцгера». Его семья просила меня походатайствовать за него в качестве *amicus curiae**, и я выполняю их просьбу, пребывая притом в полной уверенности, что присяжные добросовестно выполнили свою работу. И все же я попытаюсь убедить Вас проявить снисходительность при вынесении приговора. Родители Метцгера были порядочные, хорошие люди...» Добавить, что ли: «Я знал его еще в младенчестве» или «я присутствовал на его обрезании».

Ну разве можно привлекать внимание суда к чему-то в этом вот роде: он был из ряда вон крупный младенец; такого гиганта на высоком креслице мне не доводилось видеть; или еще в таком вот: у него и сейчас то же выражение лица, что и в грудном возрасте, — самоуверенное, жизнерадостно-нахальное. К нему как нельзя лучше подходит испанская пословица:

Genio y figura
Hasta la sepultura**.

В нем, несмотря на растление и упадок, различим божественный или, как скорее назвало бы его большинство, генетический отпечаток. Мы ведь при известной разнице в габаритах одного генетического корня.

* Буквально: друг суда (*лат.*) — человек, добровольно предлагающий советы по делу перед его слушанием или приглашаемый для этой цели судом.

** Нрав и лицо неразлучны — с тобой до самой смерти (*исп.*).

Я буду посубтильней. И все же кое-какие черты у нас общие — борозды на щеках, характерно загнутый кончик носа и, главное, более пухлая нижняя губа: рот выдает нашу склонность к чувственности. Те же черты различаются и на привезенных еще с той, бывшей, родины семейных фотографиях правоверных евреев, людей совершенно иного типа. И тем не менее скулы этих бородатых мужчин, лбы, прикрытые глубокими ермолками, пристальный взгляд пары скрытных глаз, от которого тебя точно током бьет, и по сю пору проявляются в их потомках.

В итальянском ресторане родственники разглядывали друг друга. Ни для кого не тайна, что Танчик меня презирает. И какая тут может быть тайна? Изя Бродский, его родственник, бормочет какие-то диковинные слова, хоть бы раз что путное сказал, что делает, почему, сам черт не разберет, бзикнутый, одно слово. Учился играть на пианино, числился в вундеркиндах, произвел фурор в Кимбалловском шедевре* (этом Ноевом ковчеге, куда стекаются севшие на мель европейские маэстро), работал в Комптонской энциклопедии**, издавал журнал, учил языки: греческий, латынь, русский, испанский — и еще лингвистику.

Я подошел к Америке не с того боку. Здесь реалисты говорят лишь на одном языке, и это язык Хоффы. Танчик вышел из школы Хоффы, а более чем полови-

* Здание в Чикаго, своего рода музыкальный центр, где преподавали музыку, пение, настраивали, чинили инструменты.

** Энциклопедия для юношества.

на ее постулатов практически те же, что у школы Кеннеди. Если ты не говоришь на языке реальности, значит, ты прикидываешься. Если ты не жестокий, значит, ты мягкотелый. И нельзя забывать, что было такое время, когда все, кто командовал Танчиком, сели, а он, их управляющий, руководил лавочкой, у которой недвижимости побольше, чем у манхэттенского Чейз-банка.

Однако возвратимся к его родственнику Изе: как музыкант не состоялся; как лингвист не состоялся; далее отлично проявил себя на юридическом факультете Чикагского университета, после того уже, как пережил разочарование в университетских метафизиках. Но и юристом не стал; это был еще один, очередной этап. Звезда, которая так и не взошла. Влюбился в выступавшую с концертами арфистку без двух пальцев. Безответно, ему ничего не обломилось: она хранила верность мужу. Изина жена — организаторша всех их телевизионных программ — была из тех, кто на ходу подметки рвет. Но и ей не удалось ничего из него сделать. Очень честолюбивая, она, когда стало ясно, что Изя ей не партнер — наверх он не рвется, — дала ему отставку. Она походила на Либби, жену нашего родственника Милти, рассматривала себя с мужем как царствующую чету, но царствовала в их браке она.

Как Танчик мог относиться к человеку вроде Изи? Изю безвольным не назовешь. В его жизни наличествовал замысел. Только замысел этот его современнику был непонятен. А если говорить начистоту, у Изи, похоже, и не было никаких современников. Он об-

шался с людьми, которые жили с ним в одно время, но и только. А это далеко не то же самое.

Что прежде всего характеризует нашу жизнь — тревога. Никто, никто решительно не может сказать, к чему мы идем.

Танчика забавляло и смешило, что Изю так высоко ставят, что он так высоко залетел. Басовитый Изя, член бог знает скольких элитных клубов и ассоциаций, был джентльменом. Родич Танчика — и джентльмен! В меру сосредоточенное лицо лысого Изю то и дело мелькало в газетах. Он явно недурно зарабатывал (сущий мизер по масштабам Танчика). Еще неизвестно, захочет ли Изя, чтобы федеральный судья узнал о его родстве, и притом близком, с уголовным преступником. Но если подозрения Танчика были такого рода, он попал пальцем в небо.

Когда-то было так — Изю хлебом не корми, а дай подурить. Его телевизионная программа — это же номер в духе братьев Маркс*, ее в пору по второму городскому каналу** показывать. Одна нелепость в темпе сменяла другую.

Теперь Изя ведет себя иначе. Притих, джентльмен все-таки. Что нынче означает быть джентльменом? Прежде для этого требовались наследственное поместье, воспитание, умение вести беседу. В конце прош-

* Комические актеры, братья Маркс Артур (Харпо) (1888–1964) и Джулиус (Граучо) (1890–1977), прославились прежде всего в эксцентрических фарсах немого кино.

** Второй городской канал отведен под юмористические программы.

лого века было достаточно знать греческий и латынь, а с этим у меня более или менее порядок. Коли уж на то пошло, у меня есть и дополнительное преимущество: мне не нужно аттестовать себя антисемитом и упрочивать свою репутацию человека цивилизованного, понося евреев. Но хватит об этом.

«Ваша честь, может быть, Вам будет бесполезно узнать, каковы подлинные обстоятельства дела, которое вы ведете. Из судейского кресла не всегда удастся шире ознакомиться с обстановкой в чисто человеческом плане. Как родственник Метцгера, я мог бы быть другом суда в расширительном смысле этого слова.

Я помню, как Танчик восседал на высоком креслице. Танчиком его прозвали в футбольной команде средней школы Шурца. Для своей матери он был Рыфоэль. Она звала его Фоля или Фолька; она была деревенская, из черты оседлости. Потрясающий бутуз, привязанный к креслицу, рвался из пут. Зычный голосище, румянец во всю щеку. Его, как и других детей, вскармливали детским питанием и манными кашками, но Шеня подсовывала ему и блюда попитательней. Стряпала нехитрые яства типа студня из телячьих ножек, помню, я как-то ел у нее тушеные легкие, губчатые, аппетитные, но прожевать их было не так-то легко — одних хрящей сколько. Семья Танчика жила на Хойн-стриг в одноэтажном кирпичном домишке с террасой под тентами в широченных белых и бежевых полосах. Моя родственница Шеня обладала незаурядной силой характера; дом она вела в точном соответствии с тем, как было заведено от века.

Неохватная женщина, не женщина, а домна. Манера разговаривать у нее была крикливая. Начинала она с призывов на идиш: «Слушайте! Слушайте! Слушайте!» Потом выкладывала, что думает. Не исключено, что такие люди теперь в Америке повывелись. На меня она произвела неизгладимое впечатление. Мы были привязаны друг к другу, и я ходил к Метцгерам, потому что чувствовал себя у них как дома, ну и попутно, чтобы насытить слух и зрение исконной семейной жизнью.

Тетка Шени приходилась мне бабкой. Мой дед по отцовской линии выучил назубок — их таких набралось всего десяток — Вавилонский Талмуд (а может, и не Вавилонский, а Иерусалимский*, я мало что тут смыслю). Сколько себя помню, я приставал с вопросом: «А зачем он его учил?» Но вот выучил же.

Отец Метцгера торговал галантереей в Бостонском универмаге в районе «Петли». В Австро-Венгерской монархии его выучили на закройщика и модельера мужского платья. Но он был мастер на все руки, коренастый и совершенно лысый, если не считать торчащего впереди хохла, который зачесывал направо; одевался он отменно. Бывают лысины ничего не говорящие; у него лысина была невероятно красноречивой: от напряжения на ней набухали шишки, они пропадали, едва он успокаивался. Говорил он мало;

* Существуют два варианта Талмуда: один составлен в Вавилоне (Талмуд Бавли), другой — в Палестине (Талмуд Иерушалми). По иудейской традиции более авторитетным является Вавилонский.

зато расплывался в улыбках, сиял, и если небесный меридиан добродушия и существует, он проходил через его лицо. Зубы у него были сточенные, редко поставленные. Что еще о нем сказать? Он требовал уважительного к себе отношения. И злоупотреблять своей любезностью никому не позволял. Когда разъярялся, слова застревали у него в горле, он захлебывался, и на голове вспухали крупные шишки. Такое с ним, однако, случалось нечасто. Веки у него дергались — тик. И еще, чтобы выказать расположение (нам, мальчишкам), он уснащал речь безобидными еврейскими ругательствами, тем самым давая понять, что он тебе доверяет. Вот вырастешь, и будем дружить.

И еще об одном упомяну, Ваша честь, если Вас интересует окружение ответчика. Мой родственник Метцгер, его отец, по вечерам не любил сидеть дома и часто приходил к моим отцу и мачехе — играть в карты. Зимой они пили чай с малиновым вареньем; летом меня посылали в аптеку за килограммовым кирпичом трехслойного мороженого — ванильного, шоколадного и клубничного. Оно называлось «неаполитанское». Они резались в покер по центу — игра затягивалась за полночь».

— Я так понимаю, ты друг Джерома Айлера, — сказал Танчик.

— Знакомый.

— Бывал у него дома?

— Лет двадцать назад. Но того дома нет и в помине, да и той жены тоже. Я встречал его и в гостях, но

человек, у которого мы встречались, умер. Чуть не половина людей того круга уже на кладбище.

— Ты был знаком с Айлером до того, как он стал судьей?

— Задолго...

— Тогда кому и написать Айлеру, как не тебе...

Потратив всего час за письменным столом, я могу избавить Танчика от многих лет тюрьмы. Почему бы мне не написать письмо в память о прошлом, в память о его родителях — ведь я был к ним не на шутку привязан. Я просто не могу его не написать, если намерен и дальше предаваться воспоминаниям. Отступись я от Шениного сына, воспоминания станут мне противны. У меня не было времени обдумать, чем продиктовано мое решение — соображениями морального или сентиментального толка.

Я мог бы написать Айлеру хотя бы ради того, чтобы похвастать, каким — и с чего бы это? — влиянием я обладаю. Очень любопытно, что, по мнению Танчика, побудило меня написать это письмо. Хотел ли я доказать, что, хоть он и держит меня за полного идиота, мое письмо для ветерана Государственной судейской корпорации вроде Айлера имеет вес, а значит, тому должны быть какие-то вполне здравые причины? Или убедить его, что я живу правильно? Чего-чего, а этого он никогда не признает. Во всяком случае, сейчас, когда ему светит засесть надолго, он вряд ли в состоянии задумываться над загадками жизни. Он был болен, в жестоком унынии.

— А у вас там, в Первом национальном, шикарно.

Внизу, на площади, раскинулась большая шагаловская мозаика — обошлась она не в один миллион, — ее сюжет «Душа человеческая» в Америке. Меня часто посещают сомнения: под силу ли старику Шагалу было поднять такую тему. Уж больно его тянуло воспарять. Уж больно много фантазии.

Я объяснил:

— Группа, в которой я состою, дает советы банкам насчет иностранных займов. Мы специализируемся по международному праву — политическая экономия и все такое.

Танчик сказал:

— Юнис очень тобой гордится. Присылает мне вырезки из газет: как ты выступаешь в Совете по иностранным делам. Или слушаешь оперу в одной ложе с губернатором. Или сопровождаешь госпожу Анвар Садат, когда она получает почетную степень. И вдобавок ты еще играешь в теннис на закрытых кортах с политическими деятелями.

Как так получилось, что малопонятные увлечения его родственника Изи обеспечили ему доступ к выдающимся людям: покровителям искусств, политическим деятелям, светским дамам, вдовам диктаторов? Танчик напустился на политических деятелей. Уж про них-то он знал куда больше, чем знаю и когда-либо узнаю я; он знал тех, кто действительно ворочал политикой; делал дела с людьми из партийного аппарата; передавал им деньги из рук в руки. Это не я ему, а он мне мог рассказать, кто у кого брал, какая группа чем владела, кто поставлял наркотики в школы, больницы, окружающие

тюрьмы и другие заведения, кто спекулировал на общественном жилищном строительстве, раздавал государственные льготы, облапошивал рабочих в сговоре с предпринимателями. Тебе нипочем не обнаружить следов перекрестного опыления, которым занимались подпольные дельцы и аппарат. если ты не наблюдал их изнутри, причем много лет кряду. Случалось, их разоблачали. Совсем недавно двое громил предприняли попытку убить одного японца, торговца наркотиками, в его машине. Торговца звали Токио Джо Ито. Ему три раза пульнули в голову; баллистическая экспертиза не смогла объяснить, почему пули миновали мозг. Токио Ито терять было нечего, и он назвал убийц, один из них состоял на платной службе у шерифа штата. А что, если и другие платные сотрудники городских или там окружных управлений пуляют по заданию мафии? Никто не потребовал расследования. Танчик, мой родственник, знал ответы на многие подобные вопросы. Вот почему в ресторане я прочитал такую насмешку в его взгляде. Но даже в этом взгляде не чувствовалось напора, той, былой, силы. Перед угрозой мрачного узилища он сник. Правонарушителей и у нас в семье хватало, но таких, чтоб схлопотать срок в исправительном заведении, почти не встречалось. Танчик, однако, не собирался обсуждать со мной эту сторону вопроса. От меня ему нужно было одно: чтобы я употребил все свое, вдруг да и нешуточное, влияние. Попытка не пытка. Если уж стучать во все двери, не пропускать же и эту. Что касается причин, побудивших меня вмешаться, они были до того запу-

танные, что не стоило труда и рассматривать их. Сентименты. Дурацкое чудачество. Тщеславие.

— Хорошо, Рафаэль. Попытаюсь написать письмо судье.

Я написал письмо в память о тике моего родственника Метцгера. В память о трехслойном мороженом по-неаполитански. В память о буйных, не поддающихся гребню тетишениных рыжих волосах и о венах, в запале взбухавших у нее на висках и посреди лба. В память о том, как энергично она попирала босыми ногами полы, моя их и застилая страницами «Трибюн». А также в память о заикании моей родственницы Юнис, в память об излечивших ее уроках красноречия, в память о том, как подневольной семье приходилось слушать ее декламацию стихов Джеймса Уиткомба Райли*, и о решительном «а-а-а», помогавшем ей одолеть «Когда на тыкву иней лег». Я написал его, потому что присутствовал при обрезании моего родственника Танчика и слышал, как он закричал. И потому, что от его тяжеловесного тела пахло крахом. Борода его перестала курчавиться. Спарринг-партнера смерти — вот кого он напоминал: подглазья у него были мятые. И если он думал, что сентименталист в нашей семье я, а он нигилист, он сильно ошибался. Мне самому знакомы и зло, и распад старых жизненных связей, и язвы, покрывшие тело человечества, в которые меня, несмотря ни на что, тянет влагать персты свои.

* Джеймс Уиткомб Райли (1849–1916) — американский поэт, его простые по форме стихи отличают сентиментальность и юмор.

Я написал письмо, потому что родственники — это избранные памяти моей.

«Родители Рафаэля Метцгера, Ваша честь, были люди работающие, законопослушные. Правил уличного движения и тех не нарушали. Лет пятьдесят назад, когда Бродские приехали в Чикаго, они несколько недель жили у Метцгеров. Мы спали вповалку на полу — обычное дело в ту пору для иммигрантов без гроша в кармане. Нас, детей, одевала, купала и кормила миссис Метцгер. Ответчик тогда еще не родился. Приходится признать, что из Рафаэля Метцгера вышел крутой парень. Все так, но к насилию он не прибегал, и не исключено, что он еще станет полезным гражданином, учитывая, из какой он семьи. На предварительном слушании врачи показали, что у Танчика эмфизема, а также гипертония. Если ему придется отсидживать срок в тюрьме из тех, где режим посуровее, здоровье его будет непоправимо подорвано».

Ну это-то чистая брехня. Хорошая федеральная тюрьма не уступает санаторию. Не один бывший заключенный говорил мне:

— В тюрьме я просто возродился. Мне там прооперировали грыжу, удалили катаракты, вставили зубы, справили слуховой аппарат. Ну разве я сам смог бы себе такое позволить?

Ветерана вроде Айлера засыпали письмами, ходатайствующими о снисхождении. Тысячи и тысячи их рассылаются общественными деятелями, членами конгресса и, даю голову на отсечение, теми же федеральными судьями, и все как одно написаны низким

слогом, характерным для подобных высококонрастных — я тебе, ты мне — посланий, где хлопочут то за избирателей с нужными связями, то за политических корешей, то за деловых дружков. Можете быть уверены, судья Айлер умел читать между строк.

Не исключено, что мое вмешательство возымело действие. Танчик получил небольшой срок. Айлер, разумеется, понял, что Танчик выполнял приказы, спущенные сверху. Если Танчику что и перепало, деньги эти по большей части у него не удержались. По всей вероятности, доллар-другой прилип к его рукам — не без того, но четырех особняков, как кое-кому из тех, кто над ним, ему бы ни за что не нажать. Полагаю, что до судьи дошли вести о тайных расследованиях, которые в ту пору затевали, о решениях отдать кое-кого под суд, которые готовили большие жюри. Правительство охотилось за дичью покрупнее. Айлер не стал бы обсуждать ничего подобного. При встречах мы говорили о музыке или теннисе, иногда о мировой экономике. Сплетничали об университетских делишках. Но Айлер сознавал, что неоправданно мягкий приговор может стоить Танчику жизни. Неминуемо навлечет на него подозрение: не иначе как Танчик расколосся, чтобы выйти поскорее на свободу. Всем ясно, что патрона Танчика, Дорфмана, укокошили в прошлом году после того, как его приговорили по Невадскому делу о взяточничестве: чем сидеть до конца дней своих, он мог пойти на сделку с властями. Прошлой зимой Дорфмана убрали — да так, что комар носу не подточит, прямо на стоянке, прострелив ему

голову. Телевизионные камеры все наезжали и наезжали, снимали крупным планом расплзшиеся по слякоти пятна крови. Никто не позаботился вытереть кровь, и мне мерещилось, что по ночам крысы выползают ее лакать. Дорфман ждал смерти и ничего не предпринимал для своей защиты. Не обзавелся охраной. В ответ на всеобщую свалку — стреляй не хочу — между охранниками и громилами могли последовать неприятности для его семьи. И он так и жил с сознанием своей обреченности, молча ждал неизбежной расправы.

Пару слов о том, что думают о таких вещах сами чикагцы, об этой жизни, на которую все мы идем. Покупай втридешева, продавай втридорога — вот на чем держатся деловые отношения. Политическая стабильность и демократия зиждутся, по утверждению даже ее выдающихся теоретиков, на обмане и мошенничестве. Так вот мошенничество, проделанное так, что комар носу не подточит, уже благодаря этому остается безнаказанным. Крупные дельцы, юристы у кормила власти, создатели самых преступных сетей — вот кого никогда не расчлелят и не сожгут, вот чьи мозги никогда не обагрят кровью снег на автостоянке. Поэтому чикагцы относятся не без почтения к этим проходимцам, которым четыре особняка придают такой же престиж, как четыре звездочки гостинице: ведь они рискуют жизнью, совершая преступления у всех на виду. Причиной этому страх смерти — характернейшая черта типичного буржуа. Чикагская публика не склонна к такому уж пристальному самоанализу, и

все же на́ поди: крупная шишка в преступном мире, но душу свою готовил к расправе. А что ему еще оставалось? Когда неискушенному человеку вот так вот незамысловато напоминают, что справедливость хоть в какой-то форме еще существует, он испытывает благодарность. (Я же испытываю бессильную ярость; впрочем, оставим это.)

Придется рассказать и о том, что перед вынесением приговора мне доставили ящик «Лафит-Ротшильда», чем я был весьма сконфужен. Письмо судье я еще не отправил. Как юрист (пусть и не практикующий), я пишу об этом нарушении приличий с чувством неловкости. Пусть это останется между нами. Совесть не позволила мне даже прикоснуться к той дюжине бутылок отменного вина, которые привез мне на дом циммермановский грузовик. Я раздарил их хозяйкам домов, куда меня звали на обед. Во всяком случае, толк в вине Танчик знал.

В «Итальянской деревушке» я заказал «Ноццоле», приличное кьянти, но Танчик едва пригубил его. Жаль, что он не надрался — держал себя в руках. Вдруг бы я откровенно, по-родственному, позабавил его кое-какими фактами (не для протокола — ради нас обоих). Не только он, но и я причастен к крупным займам. Танчик орудовал миллионами. Я же — а кто готовил инструкции, как не я, — причастен к миллиардным займам, которые мы предоставляем Мексике, Бразилии, Польше и прочим попавшим в переплет странам. Не далее как сегодня ко мне направили представителя некоего западноафриканского государства — обсу-

дить возникшие у них трудности с конвертируемой валютой, а именно ограничение на импорт предметов роскоши из Европы, в особенности немецких и итальянских машин, крайне необходимых чиновничьей верхушке (по воскресеньям, усадив в них своих дам и бесчисленных чад, они катили на публичные казни — главное развлечение недели; об этих трудностях он повествовал на своем очаровательном с сорбоннским выговором английском).

Но ответной откровенности о его организации от Танчика ждать не приходится. Вот почему я так и не воспользовался возможностью начать этот — как знать, вдруг и небесперспективный — обмен информацией между двумя еврейскими родственниками, ворочающими мегабашлями.

И вместо того чтобы откровенно, по душам перебрасываться шутками, мы погрузились в глубокое молчание. Когда разговор после этих бездн молчания возобновляется, мой *basso profundo* грохочет что твой океан.

Надлежит сказать, что работа в конторе поглощает меня отнюдь не целиком. Меня пожирают всевозможные увлечения, страсти. Перехожу к ним.

Если бы Танчику скостили срок за хорошее поведение, его бы ждала всего-навсего восьмимесячная отсидка во вполне сносной тюрьме где-нибудь в солнечном краю — там его, опытного бухгалтера, как пить дать определили бы на легкую работу, по преимуществу колупаться с компьютером. Казалось бы, чем плохо. Можно бы и довольствоваться этим. Но не тут-

то было, он не успокоился, продолжал нажим. Танчик явно полагал, что Айлер питает слабость к стебанутому родственнику Изе с его раскатистым басом. А скорее всего решил — знаю я, как у нас в Чикаго работает мысль, — что у Изи есть на судью «какой-то материал».

Во всяком случае, опять позвонила Юнис и сказала:
— Мне необходимо с тобой повидаться.

Если бы речь шла о ней, она сказала бы:

— Мне бы хотелось с тобой повидаться.

И я сразу понял, что за этим стоит Танчик. Что дальше?

Было ясно, что отказать ей невозможно. Я попал в ловушку. Потому что в бытность Кулиджа* президентом Бродские спали у тети Шени на полу. Мы были голодные, и она нас кормила. Есть люди, у которых слова Иисуса и пророков в крови.

Учтите, я совершенно согласен с Гегелем (Йенские лекции 1806 года**), что вся наличность идей, имевших хождение донныне, «сами мировые связи» распадаются и рушатся на глазах, как это бывает во сне. Дух вновь познает себя — и нечего ему мешкать — вот-вот. Или, как сказал другой мыслитель и прорицатель: человечество слишком долго черпало поддержку в неслышной музыке, которая ободряла, подстегивала его, сообщала ему

* Кальвин Кулидж (1872–1933) — президент США в 1923–1929 гг.

** Лекционный курс 1805–1806 гг. «Йенская реальная философия».

цельность и последовательность. Но эта человеческая музыка кончилась, и ныне зазвучала иная, варварская музыка, и обозначилась пока еще не оформившаяся, иная, необоримая сила.

И опять же подыскался недурной образ: космический оркестр, чья музыка до нас доносилась, вдруг ни с того ни с сего прекратил играть. Ну и о чем это нам говорит в части родственников? Я ограничу себя исключительно родственниками. У меня есть братья, как не быть, но один из них на дипломатической службе, и с ним я никогда не вижу, другой заведует таксопарком в Тегусигальпе и про Чикаго и думать позабыл. Оказывается, маленькая историческая гавань, где я укрылся, окружена кольцом осады. Плыть дальше я не могу; вырваться из пут еврейского родства и то не могу. А может быть, дело в том, что распад мировых связей по-иному сказывается на евреях. Наличие идей, имевших хождение донныне, сами мировые связи...

Какое отношение имеет Танчик то ли к связям, то ли к узам? Не один год занимался подпольной деятельностью, презирает сестру, считает своего родственника Изю занудой. Мы все согласились жить этой жизнью. Кроме Изю, моего родственника. Почему он на отшибе ото всех? Интересно, он что думает — он из другого теста? Если он гнушается делами, за которые с превеликой охотой берутся люди самого высокого положения, люди влиятельные, в чем тогда он реализуется?

Мы сошлись в «Итальянской деревушке» — выпить «Ноццоле». «Деревушка» трехэтажная, в ней три

зала, я прозвал их: Inferno, Purgatorio, Paradiso*. Мы ели телятину под лимонным соусом в «Раю». В трудную минуту Танчик обратился к Изе. Еврейская привязанность к единокровникам — особое явление, пережиток, от которого евреи, пока нынешний век не положил этому конец, уже начинали было отходить. Но мир, распадаясь, обрушился на них, прекратив тем самым этот отход.

Как бы там ни было, теперь я веду Юнис обедать на крышу небоскреба Первого национального банка, одного из даров нынешнего причудливого времени (интересно, какими еще причудами оно нас одарит). Я предлагаю Юнис полюбоваться открывающимся отсюда видом — внизу, далеко-далеко от нас, виднеется «Итальянская деревушка», кусочек ушедшей в прошлое архитектуры, архитектуры эпохи Ганзеля и Гретель. «Деревушка» зажата между зелеными пышно разросшимися новыми зданиями штаб-квартиры «Ксерокса» с одной стороны и Белловской сберегательной корпорацией — с другой.

Я ни на минуту не забываю, что Юнис перенесла раковую операцию. Я знаю, что под блузкой у нее слившиеся в розетку уродливые шрамы, а в нашу последнюю встречу она рассказала мне, как у нее ноет под мышкой, как терзает ее страх, что болезнь возобновится. Ее владение медицинской терминологией, к слову сказать, производит пугающее впечатление. Не позволяет забыть, как усердно она штудировала бихевио-

* Ад, чистилище, рай (*ит.*).

ризм*. Чтобы устоять перед напором старых привязанностей и жалости, я беру на вооружение любые отрицательные факты о Метцгерах. Во-первых, хамлюга Танчик. Или вот еще — старик Метцгер, он, едва ему удавалось улизнуть на часок из Бостонского универмага, навевался в кафешантаны, где шла дрочка стриптизом вперемешку с танцами, пением и комическими номерами, и я, прогуливая уроки, сталкивался с ним в этих подозрительных, пронизанных сексуальной озабоченностью заведениях на Саут-Стейт-стрит. Но ничего особенно отрицательного я здесь не нахожу. Это было скорее трогательно, нежели греховно. Так он возвращал себя к жизни; воскрешал себя, пусть и не вполне натуральными способами. В Чикаго в бедных районах не окончательно заскорузший в половом плане человек после выполнения супружеского долга ощущал себя так, точно ему двинули в пах ногой. Шеня, моя родственница, была добрая душа, но отнюдь не размалеванная блудница. Как бы там ни было, скабрёзность Саут-Стейт-стрит была самой что ни на есть простецкой, а какой ей еще быть в простецком Чикаго? На утонченном Востоке, даже в священных городах, публике баловали зрелищами куда более забористыми.

Далее я стал напряженно думать, что бы я мог поставить в вину моей родственнице Шене, что могло бы настроить меня против нее. К концу жизни, уже

* От английского behaviour — поведение. Направление в американской психологии конца XIX — начала XX в., трактует поведение человека как совокупность реакций на воздействие внешней среды.

владелицей большого многоквартирного дома, она, экономя на автобусных билетах, голосовала на Шеридан-роуд. Чтобы оставить побольше денег Юнис, морила себя голодом — так утверждали наши родственники. И добавляли, что ей, Юнис, эти деньги страх как нужны, потому что ее муж, Эрл, сотрудник Управления парков, едва получал зарплату, тут же клал ее в банк на свой личный счет. Сбросил с себя всякую финансовую ответственность. Юнис обучала детей в школе исключительно на свои средства. Она работала психологом в отделе образования. Занималась (промышляла, как выразился бы Танчик) проверкой умственных способностей.

Мы с Юнис располагаемся за заказанным столиком на верхотуре Первого национального, и она передает мне следующую просьбу Танчика. Ее сжирает желание послужить брату. Она сумасшедшая мать — вся в Шеню — и не менее сумасшедшая сестра в придачу. Танчик, который если и удосужился бы навеститься к Юнис, то не чаще чем раз в пять лет, теперь постоянно сносится с ней. Юнис передает его просьбы мне. Рыбине из сказки братьев Гримм — вот кому я могу себя уподобить. Рыбак вынул ее из сетей, и она посулила выполнить три его желания. Теперь у нас на повестке дня желание номер два. Рыбина слушает в зале исключительно для высшего чиновничества. О чем просит Танчик? Чтобы я написал еще одно письмо судье: он нуждается в более частых медицинских обследованиях, визитах к специалистам, особой диете.

— От их еды он хворает.

Что бы рыбине сейчас сказать:

— Полегче на поворотах.

Вместо этого она говорит:

— Попробую.

Глубокий бас звучит еще глубже, глубина звука просто потрясающая — четыре ноты, пропиликанных на контрабасе или на диковинном баритоне — старинном струнном инструменте, помеси гитары и виолы да гамба; Гайдн любил баритон и писал для него проникновенные трио.

Юнис сказала:

— Моя цель вырвать его оттуда, пока он не умер.

Чтобы он мог вернуться к денежным махинациям, орудовал бы из гостиниц типа лас-вегасских, свеженький как огурчик (при всех его болезнях) в окружении умопомрачительной обстановки, на то и рассчитанной, чтобы на ее фоне любой казался образцом здоровья!

В Юнис бушевала буря чувств, для которой у нее не находилось слов. И, решив выразить то, что ей было под силу, она переключилась на доступные темы. Она до того горда освоенным ею лексиконом, что общение с ней затруднительно. Своей ученой степенью по психологии воспитания она кичится до чрезвычайности. «Я — специалист», — старается ввернуть она при каждом удобном случае. Юнис являет собой осуществление слепого, но мощного напора матери, ее честолюбивой мечты о будущем своего ребенка. Хорошенькой Юнис не была, но до чего же Шеня ее обожала! Она старалась, чтобы Юнис была одета не

хуже других девчушек ее возраста, — наряжала ее в кокетливые цветастые платица и (выглядывавшие из-под них) панталончики той же материи по моде двадцатых годов. Среди своих сверстниц Юнис выглядела великаншей. Мало того, лицо ее искажали усилия преодолеть заикание. Однако позже она научилась выпаливать безапелляционные фразы, и они поглощали и укрощали ее заикание. Благодаря потрясающей самодисциплине она взнуздала свой изъян — и изрядный изъян.

Она сказала:

— Ты никогда не отказывал мне в совете. Я всегда знала, что могу обратиться к тебе. Большое тебе спасибо, Изя, за твое сочувствие. Ни для кого не тайна, что в эмоциональном плане я не могу рассчитывать на мужа. Что бы я ему ни предложила, он на все отвечает «нет». У нас отдельные деньги — иначе с ним нельзя. «Я приберегу свои, ты не растрясси своих», — так он говорит. Он не хотел дать образование девочкам, окончили среднюю школу, и ладно — сам-то он больше не учился. Я вынуждена была продать мамин дом — мне пришлось его заложить. Стыдно сказать, за сколько. Тогда проценты давали маленькие. А теперь они взлетели до небес. В финансовом отношении я тут прогорела.

— А что тебе Рафаэль советовал?

— Сказал: это надо рехнуться, чтобы ухлопать наследство на девчонок. Что со мной будет в старости? Точно тот же довод привел Эрл. Нельзя ни от кого зависеть. Надо твердо стоять на ногах.

— Ты невероятно привязана к дочерям...

Я знал только младшую, Карлотту, — у нее была темная челка и фигура, какие встречаются лишь за полярным кругом, у эскимосок. В моих глазах это ни в коей мере не недостаток. Север и тамошние народности меня пленяют. Ногти у Карлотты длиннющие, острые, в ярком маникюре, вид взвинченный, говорит она пламенно и бессвязно. На семейном обеде, куда меня пригласили, она лупила по клавишам пианино с такой силой, что поддерживать разговор было невозможно, а когда наша родственница Перл попросила ее играть потише, разразилась слезами и заперлась в уборной. Юнис сказала мне, что Карлотта собирается бросить Корпус Мира и подумывает о вооруженном поселении на Западном берегу Иордана.

У старшей дочери Юнис, Аннalu, интересы более устойчивые. Отметки у нее были настолько не блестящие, что о медицинском училище получше она и думать не могла. Отчет Юнис о профессиональном обучении дочери ошеломил меня.

— Мне пришлось платить сверх, — сказала она. — Да, мне пришлось пообещать училищу пожертвовать большую сумму.

— Ты говоришь о Толботском медицинском училище?

— Вот именно. Чтобы поговорить с директором, и то необходимо дать взятку. Необходимо, чтобы за тебя поручился надежный человек. Мне пришлось пообещать Шарферу...

— Какому еще Шарферу?

— Нашему родственнику Шарферу: он у них веда-ет сбором пожертвований. Без посредников не обой-тись. Шарфер сказал, что устроит мне встречу с директором, но не раньше, чем я сделаю дар в пользу его, Шарфера, организации.

— Из-под полы, прямо там, в училище? — спросил я.

— Иначе мне в кабинет директора не попасть. Что делать? Я пожертвовала Шарферу двенадцать с половиной тысяч. Такую сумму он назвал. И еще дала обяза-тельство выплатить Толботскому училищу пятьдесят тысяч долларов.

— Помимо и сверх платы за обучение?

— Помимо и сверх. Ты же понимаешь, чего стоит медицинский диплом, какой он дает доход. У меди-цинского училища вроде Толботского нет пожертво-ваний и нет учредительского фонда. При низком уровне зарплаты приличного штата преподавателей не нанять, а без хорошего штата преподавателей их дип-лом не будет иметь цены — комиссия по образованию его не признает.

— Тебе пришлось платить?

— Я внесла половину суммы в качестве аванса, ос-тальную половину обещала внести перед окончанием училища. Деньги на бочку, иначе не будет диплома.

Одна из тех подспудных сделок, о которых обще-ственности никогда не узнать.

— И тебе удалось все выплатить?

— Хоть Анналу и стала старостой класса, мне дали понять, что училище рассчитывает получить вторую

половину суммы. Я пришла в отчаяние. Не забывай, что я заложила дом под пять процентов, а теперь берут четырнадцать. Эрл же не хочет ничего слушать. Я обратилась со своими затруднениями к психиатру. Он посоветовал мне написать директору школы. Мы с ним составили заявление, в нем я обещала возместить двадцать пять тысяч. Написала, что я человек «в высшей степени порядочный». Пошла к юристу, чтобы он проверил, правильно ли я составила письмо, и он посоветовал мне опустить «в высшей степени». Оставить только «порядочный». Так что я написала: «под честное слово человека, известного своей порядочностью». Благодаря этому письму Анналу дали окончить училище.

— И?.. — спросил я.

Мой вопрос озадачил ее.

— Марка в двадцать центов сберегла мне целое состояние.

— Ты не отдашь им деньги?

— Я написала *письмо*... — сказала она.

Мы с ней упирали на разное, и это нас разъединяло. Она выпрямилась, отринув спинку стула, закамелела от копчика и выше. Маленькая Юнис вся усохла, стала заурядной старухой, если б не привлекательные своим благородством черты ее облика — надменный резкий профиль, то и дело вспыхивавшее — в мать — лицо, что объяснялось отчасти наследственностью, отчасти вздорностью. Совместите, если сможете, эти современные кунштюки, предмет ее гордости, и проблиски аристократического прошлого.

Но если кто из нас и был пережитком, так это я. И опять же Изя держится на отшибе. В чем дело? По причинам, определить которые затруднительно, я не поздравил Юнис с успехом. Ей не терпелось, чтобы я похвалил ее: как, мол, она хитро все обтягала, как только надоумилась, а я, похоже, вовсе не собирался доставить ей эту радость. Что могла означать моя озадачивающая артачливость?

— И это вот «в высшей степени порядочный» сберегло тебе двадцать пять тысяч?..

— Просто «порядочный». Я же сказала тебе, Изя, «в высшей степени» я опустила.

Что и говорить, почему бы и Юнис не употребить себе на пользу звучное словечко? Все слова к твоим услугам — хватай, кто проворней. В политике Юнис была куда искушенной меня. Мне не нравилось, когда такое слово, как «порядочность», мешают с дерьмом. Почему? Да потому, что поэзию надо оберегать: лучше довода у меня нет. Дурацкий довод, если учесть, что она оберегала свое уже лишившееся одной груди тело. Метастазы разорили бы ее.

Мы переменили тему. Поговорили немного о ее муже. Он сейчас работал в Грант-парке на берегу озера. Уровень преступности подскочил, и Управление парков решило вырубить кустарники, чтобы не застигли, и снести общественные уборные старого типа. Насильники таились в кустах, женщин убивали в кабинках уборных, и Управление постановило строить сортиры типа полицейских будок на одного человека. Их установкой руководил Каргер. Юнис поведала мне

об этом с гордостью, хотя характеристика, которую она дала своему мужу, если суммировать все ее отзывы, производила неблагоприятное впечатление. До странности скупой на слова, Каргер отвергал все попытки завязать разговор. Разговоры не имеют смысла. Возможно, он и прав. Я могу понять его точку зрения. В плюс ему можно поставить одно: ему было наплевать, что о нем думают. Он был твердокаменный чуждак. Мне импонировала его независимость. Он, во всяком случае, ничего из себя не строил.

— Я вынуждена платить половину за квартиру, — сказала Юнис. — Ну и еще за удобства.

Я не купился на ее душещипательный рассказ.

— Почему бы в таком случае вам не развестись?

Она объяснила:

— Мои медицинские расходы покрывает его страховка по Синему кресту и Синему щиту*...

Большинство таким объяснением удовлетворилось бы. Я же проямлил что-то неопределенное, обмозговывая все, что услышал.

Когда обед кончился, Юнис сказала, что ей было бы интересно посмотреть мой кабинет.

— А родственник-то мой гений! — сказала Юнис: размеры кабинета ее впечатлили. Уж если мне отвели такие хоромы на пятьдесят первом этаже этой махины, значит, я человек влиятельный.

* Некоммерческие страховые организации, возмещающие расходы на медицинское обследование, операции и пребывание в больницах членам, которые постоянно выплачивают взносы.

— Не буду спрашивать, для чего эти штучки-дрючки, бумаги и книги. Уверена, тебе надоело разъяснять, что к чему.

Выцветшие зеленые книжищи, изданные в начале века, не имели никакого отношения к тем занятиям, за которые мне платят. Читая их, я просто-напросто отлыниваю от работы. Это два тома из серии отчетов Джезаповской экспедиции*, опубликованных Американским музеем естественной истории. Этнография Сибири. Увлекательнейшее чтение. Эти монографии отвлекали меня от моих горестей (и немалых). Две народности, коряки и чукчи, чьи быт и культуру описали Иохельсон** и Богораз***, захватили меня. Так же как старика Метцгера словно магнитом тянули от Бостонского универмага (волховством тянули от обязанностей приказчика) киксы девиц из кафешантана, так же и я пренебрегал работой ради этих книг. Политические радикалы Владимир Иохельсон и Владимир

* Джезаповская Северная экспедиция — американская организация, субсидировавшая многие полярные экспедиции. Названа в честь Мориса К. Джезапа (1830–1908), банкира и филантропа, который ее финансировал.

** Владимир Ильич Иохельсон (1855–1943) — этнограф, участвовал в народовольческом движении. В 1888 г. был сослан на Колыму. Описал культуру, быт, фольклор и язык коряков, юкагиров, алеутов.

*** Владимир Германович Богораз-Тан (1865–1936) — этнограф, лингвист, фольклорист и писатель. Научной деятельностью начал заниматься на Колыме, куда был сослан за принадлежность к «Народной воле». Его перу принадлежит монография «Чукчи».

Богораз (почему у этих русских евреев христианские имена?) были сосланы в девяностые годы в Сибирь — край, где Советы позже понастроили самые страшные из своих исправительных лагерей, Магадан и Колыму, — оба Владимира долгие годы посвятили изучению туземных народностей.

К книгам про эту северную пустыню, которую жгучие морозы очищали не хуже огня, я обращался в поисках облегчения, так, как обращался бы к Библии. В сибирские сумрачные зимы, когда ветер сбивает с ног, немудрено заблудиться, даже не выходя за пределы деревни: снег наметает до того быстро, что не успеешь встать, а тебя уже занесло. И если собак привязать, когда их откопаешь поутру, вполне может оказаться, что они уже задохнулись. В этом холодном краю в дома проникают через дымоходы — в них вставлены лестницы. Когда сугробы поднимаются до самого дымохода, собаки взбираются на них — нюхают, что варят в доме. Оттаскивают друг друга от дымохода, иногда падают в котел. Встречаются фотографии распятых собак — распространенный здесь способ жертвоприношения. Силы мрака обступают тебя. Чукча-информант сообщил Богоразу, что человека со всех сторон окружают незримые враги, духи — рты у них вечно разинуты. Люди пресмыкаются перед ними, готовы отдать им что угодно, лишь бы заручиться покровительством этих остервенелых призраков.

География воображаемых путешествий от века к веку меняется: «земли в золотом убранстве»* все боль-

* Цитата из стихотворения Джона Китса «Впервые прочитав Гомера в переводе Чапмена»: «Я видел земли в золотом убранстве, я обошел по тысячам дорог» (пер. А. Парина).

ше удаляются. Их относит в прошлое. Как бы там ни было, когда я читал об этих народностях, об их духах и шаманах, в моем кабинете наступала дивная тишина, она удваивалась, учетверялась. Удесятерилась в самой сердцевине «Петли». Мои окна выходили на Грант-парк. Время от времени я обращал взгляд на берег озера — туда, где мой родственник Каргер вырубил цветущие кусты, чтобы сексуальным маньякам неповадно было прятаться, и возводил тесные кабинки на одного человека. Потрясающий парк и бухточка, а в ней надраенные яхты, собственность юристов и руководителей корпораций. Сексуальным преступникам в будни пришлось встать на якорь, по воскресеньям те же самые неугомонные эротоманы благолепно катаются по озеру с женами и детьми. А вот что мы себе уготовляем — новое рождение Духа или Агонию окончательного распада (чем и вызвана тревога, о которой уже говорилось несколькими страницами ранее), зависит от того, какие мысли, чувства, волевые движения пробуждают в тебе подобные симптомы и явления, от того, до каких кабалистических ухищрений ты дойдешь в своем толковании современных структур. Интуиция подсказывает, что коряки и чукчи ведут меня в правильном направлении.

Вот почему я впадаю в забытие у себя в кабинете над Богоразом и Иохельсоном. На совещаниях я пробуждаюсь. Начинаю прорицать, коллеги любят слушать мои аналитические обзоры. Я оказался прав насчет Бразилии, прав насчет Ирана. Я в отличие от

президентских советников предвидел революцию мулл. Но ко мне не прислушались. Такие большие прибыли для всех, кто дает займы, плюс правительственные гарантии — кто ж после этого захочет следовать моим рекомендациям. Меня именуют «глубоким» и «блестящим» — и это служит мне наградой. И там, где огольцам с Логан-сквера виделись зенки орангутанга, коллегам видятся вещице зеницы прорицателя. Не то чтоб мне так прямо в глаза и говорили, но все читают мои доклады, а главное, ко мне не пристают, и я могу беспрепятственно продолжать свои возвышенные изыскания. Я вглядываюсь в старую фотографию — на ней юкагирские женщины на берегу Налемны. Владли пустынный берег моря — снег, камни, чахлые деревья. Женщины сидят на корточках, нанизывают белых сивов — сваленный кучей улов на переднем плане. Орудуют иглой чуть ли не на двадцатиградусном морозе. От работы их прошиб пот, они сняли меховые душегрейки, сидят голые по пояс. Да что говорить, они «прикладывают комья снега к груди». Первобытные женщины — им жарко при двадцатиградусном морозе, и они охлаждаются снегом. Читая, я задаюсь вопросом, у кого здесь в этой махине, в этом все выше и выше вздымающемся небоскребе — а здесь не одна тысяча служащих — наиболее причудливое воображение. Кто знает, какие мысли втайне вынашивают другие, какие мечты у этих банкиров, юристов, деловых женщин, какие у них фантазии и

ведовские видения? Сами они никогда о них не говорят, напуганные их бредовой яркостью. Каждый человек половину жизни безумен.

А раз так, кому какое дело до того, что я глотаю эти книги? По правде говоря, я их перечитываю. Мое знакомство с ними очень давнее. Я тогда работал тапером в баре рядом с Мадисонским (штат Висконсин) капитолием. А случилось, и пел кое-какие популярные здесь песенки, одна из них была «У принцессы Папуйи от пуза папайи». Я жил с моим родственником Иезекииелем за линией надземки. Зик, домашние звали его Секель, преподавал в университете языки так называемых примитивных народов, но каждую неделю уезжал на Север в леса, куда Секеля влекло главное дело его жизни. В среду он неизменно отбывал в своем замызганном «плимуте» записывать сказания могижан. Ему удалось разыскать последних из могижан и сделать для верхушки полуострова то же, что Иохельсон сделал с помощью своей жены, доктора Дины Бродской, для Восточной Сибири. Секель уверял меня, что доктор Бродская с нами в родстве. В начале века чета Иохельсонов приехала в Нью-Йорк работать в Американском музее естественной истории у Франца Боаса*. Секель утверждал, что доктор Бродская тогда разыскала родню.

* Франц Боас (1858—1942) — этнограф, лингвист, антрополог, основоположник «исторической школы» в американской этнографии.

Почему евреи с таким пылом ринулись в антропологию? Среди ее основоположников Дюркгейм*, Леви-Брюль**, Марсель Мосс***, Боас, Сапир****, Лоуи*****. Они, я допускаю, верили, что снимают покров с тайны, что ими движет любовь к науке и что они в конечном счете стремятся к большей универсальности. Я смотрю на вещи иначе. Я бы скорее объяснил это так: где и родиться откровениям, как не в гетто, от вонючих улиц и прогорклых харчей мысли легче вознестись, воспарить до трансцендентальности. Так, естественно, обстояло дело с восточными евреями. Западные же ходили гоголем, задирали нос не хуже ученых немцев. И кому, как не польским и русским евреям (так невысоко стоящим во мнении цивилизованного мира, с их изъеденными туберкулезом легкими и трахомой глазами), было и проникнуть в обычаи дикарей? Им в отличие от символистов, которые сознательно шли на это, не было нужды расстраивать рассудок: они такими появлялись на свет. Чужие в этом мире, они уезжали изучать чужой мир. А в результате рожда-

* Эмиль Дюркгейм (1858–1917) — французский ученый, один из основоположников социологии.

** Люсьен Леви-Брюль (1857–1939) — французский этнограф и психолог.

*** Марсель Мосс (1872–1950) — французский этнограф и социолог.

**** Эдуард Сапир (1888–1939) — американский антрополог.

***** Роберт Г. Лоуи (1883–1957) — американский антрополог, редактор журнала «Американская антропология» с 1924 по 1933 г.

лись изыскания, обретавшие равнинно-немецкие или картезианско-талмудические формы.

У Секеля, кстати сказать, не было склонности к теории. Его дар был в другом — он усваивал чужие языки. Он отправился в дельту Миссисипи, чтобы научиться одному из тамошних индейских диалектов от его единственного носителя, доживавшего последние дни. И вот на смертном одре старый индеец наконец-то обрел собеседника, а когда индеец усоп, этим диалектом во всем мире владел лишь Секель. И жизнь народности продолжалась теперь только в нем. Я перенял от Секеля одну из индейских любовных песенок: «Наі у'hee, у'hee у'ho» — «Поцелуй перед разлукой». Секель подбивал меня исполнять ее в баре. Передал он мне и рецепт креольской джамбалайи (ветчина, рис, раки, перцы, цыплята, помидоры), но куда уж мне, холостяку, ее готовить. И еще он искусно плел несложные колыбельки для кошек — в активе у него значилась ученая статья об индейских веревочных фигурах. Кое-какие из этих кошачьих колыбелек я и по сю пору могу изобразить, если возникает надобность потешить малышей.

Секель, толстый парень со спиной колесом, был бледен восковой бледностью хасида. Его пухлое лицо избороздили придававшие ему серьезность морщины, по лбу, подобно ладам на грифе гитары, тянулись складки. Темные, лихо курчавящиеся волосы были всегда запылены: он каждую неделю ездил за восьмьсот километров к своим индейцам. Мылся Секель редко, белье менял нечасто. Для женщины, которую он

любил, это не имело значения. Голландка, Дженни Баувсма, таскала книги в вещмешке. У меня в памяти она встает в шотландском берете и в гольфах, ее полуголые ноги кажутся обгоревшими: зимы в Висконсине стояли суровые. Передавая с Секелем страсти, она вопила как резаная. В наших комнатенках дверей не было, только занавески. Секель мотался взад-вперед по квартире. Икры и ягодицы у него были выпуклые, белые, мускулистые. Интересно, какими путями эту классических образцов мускулатуру занесло в нашу семью?

Мы снимали комнаты у вдовы железнодорожного инженера. Она сдала нам нижний этаж старого каркасного дома.

Секель в тот год если и брал в руки книгу, то только одну — «Последний из могикиан», а из нее неизменно читал первую главу, чтобы заснуть. В части теории, говорил Секель, он плюралист. Но марксизм для него исключен. И еще он не признавал историю как науку — тут он стоял насмерть. Себя он относил к приверженцам диффузионизма*. Вся какая ни на есть культура была изобретена одновременно и распространялась из одного источника. Он основательно проштудировал Г. Эллиота Смита** и был рьяным приверженцем теории, согласно которой все на свете пошло от египтян.

* Ряд направлений в этнографии и археологии, объясняющих развитие культур отдельных народов преимущественно заимствованием достижений других народов, происходящим при миграции.

** Сэр Графтон Эллиот Смит (1871—1937) — этнолог, глава английских диффузионистов.

Глаза его производили обманчиво сонное впечатление. Опухлый взгляд служил заслоном, за которым ни на минуту не прекращались лингвистические изыскания. Ямочки на щеках выполняли двойную роль: иногда они выражали и неодобрение (прежде всего нынешним кризисом, из-за которого мы живем в вечной тревоге). Я налетел на Секеля в Мехико в 47-м году, незадолго до его смерти. Он водил делегацию индейцев — они не знали испанского, и так как ни один из мексиканских чиновников не говорил по-ихнему, Секель переводил им и наверняка подбивал их на протесты.

Немногословные индейцы в сомбреро и белых обвисших подштанниках, с пучками черных волос по углам рта уходили от палящих лучей солнца, родной им стихии, под колоннады правительственного здания.

Эту встречу я помню во всех подробностях. Забыл я лишь одно: что я сам делал в Мексике.

Благодаря не кому иному, как Секелю, через доктора Дину Бродскую я познакомился с работами Владимира Йохельсона (нашего родственника со стороны жены) о коряках. На дамском благотворительном базаре я купил прелестную книжонку под названием «На край света» (Джона Перкинса, изданную Американским музеем естественной истории) и наткнулся в ней на главу о народностях Восточной Сибири. Вот тогда-то мне и вспомнились монографии, которые я впервые видел давным-давно в Мадисоне (штат Висконсин), и я взял два Джезаповских тома из Реген-

стайновской библиотеки*. В корякских мифах, читал я, женщинам нипочем вынуть детородные органы и развесить их на деревьях; так что когда ворон, потусторонний озорник, мифический прародитель коряков, решил обследовать внутренности жены, проникнув в нее через задний проход, он очутился в огромных палатах. Размышляя над подобными вымыслами или фантазиями, нельзя забывать, как тяжело жилось корякам, какую жестокую борьбу они вели за выживание. Зимой рыбакам приходилось проделывать проруби во льду чуть не в два метра толщиной, чтобы закинуть удочки. За ночь проруби заливались водой и снова замерзали. Жилища у коряков были тесные. Зато женщины поместительные. Легендарная же прародительница коряков и вовсе грандиозная.

Мисс Родинсон, моя помощница, она весьма расположена ко мне (уверен, что ею движет отнюдь не одно любопытство), вошла в кабинет — спросить, зачем я битый час торчу у окна, смотрю, что ли, на Монро-стрит. Дело в том, что эти линяло-зеленые монографии из Регенстайновской библиотеки тяжело держать, и я прислонил их к окну. Очень даже возможно, что мисс Родинсон из искреннего расположения жаждет проникнуть в мои мысли, быть мне чем-то полезной. Но чем она может мне помочь? И лучше б ей не проникать за эту тусклую океаническую зелень, ведущую в дикую Сибирь, которой больше нет.

* Библиотека общественных и гуманитарных наук Джозефа Регенстайна — одна из библиотек Чикагского университета.

Через две недели меня отправляют в Европу на конференцию по пересмотру кредитов, и мисс Родинсон хочет, чтобы я одобрил ее распоряжения насчет билетов и прочего. Сначала вы полетите в Париж? Я неопределенно отвечаю: да. И остановитесь на двое суток в «Монталамбере»? Затем Женева, возвращаетесь вы через Лондон. Все как всегда. Она понимает, что ее слова до меня не доходят. Потом, так как я когда-то упомянул в разговоре о Токио Джо Ито (мой интерес к подобным темам подогрело убийство Танчикова патрона Дорфмана), она вручает мне вырезку из «Трибюн». Тех двоих, которые провалили задание справиться с Токио Джо Ито, самих настигла расправа. Их трупы обнаружили в багажнике «бьюика», на стоянке в жилой части Напервилля. От машины распространялась вонь — не продохнуть, а на крышке багажника шел мушиный парад, пограндиозней первомайского парада на Красной площади.

Юнис снова позвонила мне, на этот раз не из-за Танчика, а из-за дяди Мардохея, двоюродного брата моего отца, главы нашей семьи, в той мере, в какой у нас есть семья, и в той мере, в какой у нее есть глава. Мардохей — Мотя, как мы его называли, — попал в автомобильную катастрофу, а так как ему без малого девяносто — это не шутка, и вот уже я на проводе — из сумрачного угла моей сумрачной квартиры говорю с Юнис. Не могу объяснить, почему у меня такой сумрак. Я определенно предпочитаю ясный свет и строгие линии. Явно душа моя еще не готова к ним и

заменяет их антуражем, вызывающим в памяти гроб Господень, восточными коврами, купленными — и куда их столько — в «Маршалл Филдс»* у мистера Херинга (он недавно отошел от дел и посвятил себя коннозаводческой ферме), и книгами в старинных переплетах, которые я давным-давно прекратил читать. Помимо трудов по экономике и международному банковскому делу, единственным за долгие месяцы чтением мне служат отчеты Джезаповской экспедиции, влекут меня и кое-какие труды Хайдеггера**. Но Хайдеггера не станешь перелистывать, Хайдеггер требует серьезной работы. Почитываю я иногда и стихи Одена*** или его биографии. Но это уже из другой оперы. Подозреваю, что я завел такую сумрачную, малоприятную обстановку, чтобы вынудить себя преобразовать, перестроить себя же в корне (освободиться от тревоги). Все детали в наличии. Нужно одно — правильно их построить.

Ну а вот зачем человеку стремиться к такой цели в одной из величайших столиц американской сверхдержавы — тоже весьма небезынтересная тема. Я никогда ее ни с кем не обсуждал, но коллеги мне уже не раз говорили (чувствуя, что я затеваю нечто не укладывающееся ни в какие рамки): в таком городе, как Чикаго, столько захватывающих событий, столько всего происходит вокруг, да и самим городом хорошо бы

* Дорогой магазин.

** Мартин Хайдеггер (1889–1976) — немецкий философ-экзистенциалист.

*** Уистен Хью Оден (1907–1973) — английский поэт.

заняться — какое изобилие возможностей тут открывается, тут ведь избыток и богатства, и власти, и конфликтов, даже преступлений, пороков, болезней, врожденных, не благоприобретенных уродств и то избыток — так что, если ты сосредоточиваешься на самом себе, что это еще, как не глупость и не дурной нрав? Обычная ежедневная жизнь куда более увлекательна, чем чьи-либо сокровенные мечты. Не стану спорить, к тому же у меня, по-моему, относительно меньше романтических иллюзий насчет сокровенного, чем у большинства. Сокровенные мысли при ближайшем рассмотрении выглядят, к счастью, довольно расплывчато, учитывая, какие мерзости таятся под их бесформенностью. Кроме того, я бегу всего, что хотя бы отдаленно похоже на великий почин. Вдобавок я не сознательно выбрал изоляцию. Просто мне как-то не удается найти современников по себе.

Я постараюсь вскоре вернуться к этой теме. Мардохей, мой родственник, имеет к ней самое прямое отношение.

Юнис рассказывала мне по телефону о подробностях автомобильной катастрофы. Вела машину Рива, жена Моти. Мотю давным-давно лишили прав. Экая жалость. Он только-только уяснил, для чего нужно зеркало заднего вида. У Ривы тоже следовало отнять права, сказала Юнис: она всегда недолго любила Риву (между Ривой и Шеней шла затяжная война, и теперь Юнис заступила на место матери). Рива одержала над всеми верх и с «крайслером» не рассталась. Управлять

этой громадиной ей стало трудно — так она усохла. И все кончилось тем, что она его разбила.

— Они сильно пострадали?

— Она — нет. Он — да: у него повреждены нос и правая рука, притом сильно. В больнице у него началась пневмония.

У меня защемило сердце. Бедный Мотя, он и до катастрофы был плох.

А Юнис продолжала. Новости с фронтов науки:

— Теперь пневмонию научились лечить. Раньше она моментально сводила в могилу, врачи прозвали ее «подруга стариков». Сейчас Мотю отправили домой...

— А...

Мы получили передышку. Ненадолго, но любая передышка благо. Из своего поколения Мардохей прожил дольше всех, его уход не за горами — к нему пора готовиться.

Но Юнис не сказала еще своего последнего слова:

— Он не хочет вставать с постели. У них и до катастрофы были те же проблемы с ним. После завтрака он опять залезает под одеяло. Риве это тяжело, она не может сидеть без дела. Она всегда ходила с ним на работу, ни дня не пропускала. Ее жуть берет, сказала она, когда Мотя укрывается с головой одеялом. Такое поведение нельзя признать нормальным, и Рива заставила его пойти к семейному консультанту в Скоки. Очень дельной женщине. Та сказала, что Мотя всю жизнь вставал в пять утра и шел на работу, поэтому удивляться тут нечему: он всегда недосыпал и теперь хочет наверстать упущенное.

Меня ее объяснение не удовлетворило. Однако я не стал придирается.

— А теперь сообщу тебе последние новости, — сказала Юнис. — У него жидкость в легких, ему нельзя лежать, и им приходится поднимать его силой.

— Что они делают?

— Привязывают его к креслу.

— Знаешь что, я, пожалуй, не поеду.

— Как ты можешь? Ты же был его любимцем.

Чистая правда, и тут мне открылось, что я натворил: привязал к себе Мотю, сам к нему привязался, обращался с ним почтительно, не забывал поздравить с днем рождения, любил его так, как любил разве что родителей. Подобные мои поступки перечеркивали кое-какие революционные достижения последних веков, передовые взгляды просветителей, презрение к родителям, проиллюстрированное на прелестном и точном примере Сэмюэлом Батлером*, который некогда сказал, что лучше всего появиться на свет сиротой с банкнотой в двадцать тысяч фунтов, пришпиленной к подгузнику; я не усвоил классических уроков — Мирабо** и его отец, Фридрих Великий***, старик Горио и

* Сэмюэл Батлер (1835–1902) — английский писатель.

** Граф Оноре Габриель Рикети Мирабо (1749–1791) — деятель Великой Французской революции. В юности своим беспутством вызвал гнев отца, и тот вынудил его пойти в армию.

*** Фридрих II (1712–1786) — прусский король. К неудовольствию отца, в юности увлекался французской литературой и философией. В восемнадцать лет бежал из дома, за что был приговорен к смерти, но приговор заменили заключением в замок Кюстрин и заставили осваивать там науку управления государством.

его дочери, отцеубийцы Достоевского, — бежал того, что Хайдеггер определяет как «ужас», используя древнегреческие слова «deinon» и «deinotaton», и убеждает нас, что «ужас» открывает путь к бесконечному. Масы и те поворачиваются спиной к семье. Мотя же, пребывая в глубокой невинности, не ведал о таких переменах. Вследствие этих — и не только этих — неоднозначных причин я не рвался навестить Мотю, и Юнис совершенно справедливо напомнила мне, что я тем самым ставлю под сомнение мою привязанность к нему. Она загнала меня в угол. Таким привязанностям, уж если они возникли, изволь быть верным до конца. Я не мог лажануть Мотю. А вот Танчик, Мотин племяш, не показывался ему на глаза уже лет двадцать. Поступал вполне разумно и последовательно. Когда я в последний раз видел старика, он не мог или не хотел разговаривать со мной. Он ссохся. Отвернулся от меня.

— Он всегда любил тебя, Изя.

— И я люблю его.

Юнис сказала:

— Он все понимает.

— Этого-то я и боюсь.

Отбросив в сторону теоретические выкладки, я проанализировал себя и понял, что люблю старика. Не стану отрицать, несовершенной любовью. Тем не менее люблю. Всегда любил.

Юнис, обнаружив, как сильны во мне родственные чувства, стала еще решительнее нажимать на меня.

И вот уже я сажаю ее в свою машину и везу в Линкольнвуд — там Мотя и Рива живут в доме, построенном на манер ранчо.

Когда мы переступили порог, Рива взмахнула руками, теперь уже сильно скрюченными, будто хотела крикнуть «ура!», и сказала:

— Мотя будет просто счастлив...

Но приветствие приветствием, а взгляд ее колючих голубых глаз вовсе не был приветливым. Она недолюбливает Юнис, а ко мне вот уже лет пятьдесят относится скептически, симпатизирует — это так, но все еще ждет, когда же наконец я буду вести себя — и не по видимости только — как нормальный человек. Я же с годами стал относиться к ней как к славной, а впрочем, весьма своенравной старушке. Я помню Риву брюнеткой с формами, полненькой, со стройными ногами. Теперь ее фигура приобрела совершенно иные очертания. Колени разошлись ромбом наподобие распорки. Она все еще пытается двигаться шустро, точно идет вприсядку за той Ривой, какой была прежде. Но она уже не та Рива. Круглое лицо ее вытянулось, в нем проглядывает нечто вольтеровское. Ее голубой взор говорит напрямик: отгадай загадку этого нелепого превращения — седых волос, надтреснутого голоса. Моего перерождения и, кстати говоря, твоего. Где твои волосы, почему ты согнулся? А вдруг тому имеются некие общие предпосылки? Не исключено, что эти метаморфозы плоти раскрепощают ум. Я могу пойти дальше в своих предположениях: когда общественный порядок треснет по швам, вековые оковы будут сбро-

шены, исторические спайки, с позволения сказать, лопнут, стены треснут по углам, связи распадутся, и мы будем вольны думать самостоятельно — при условии, если не предадимся скорби, а найдем в себе силы воспользоваться предоставившейся нам возможностью улизнуть через образовавшиеся бреши и забраться на верх этой рухнувшей громады.

Были у нее и дети, и внуки, и Рива им радовалась, как не радоваться, но она не была бабушкой по призыванию. Деловой женщиной, вот кем она была. Они с Мотей из жалкой пекарни, всю продукцию которой можно было развезти на двух фургонах, создали большое дело. Шестьдесят лет назад Мотя, наш родственник, и его брат Шимон вместе с моим отцом, их двоюродным братом, и немногочисленным отрядом наемных польских пекарей снабжали не одну сотню иммигрантских бакалейных лавчонок хлебом, булочками и пирожными — хворостом, наполеонами, кексами, бисквитами, эклерами. Чтобы произвести это изобилие, у них в распоряжении и всего-то было что три печи, топившиеся отходами с лесопильни — еще не-ошкуреными чурками в штабелях вдоль стен, — мешки муки и сахара, бочки варенья, ушаты масла, решета яиц, длинные корытообразные дежи и четырехметровые лопаты, шуруя которыми они вытаскивали хлебы из пламени. Все ходили запорошенные мукой, кроме Ривы, она сидела в конторке под лестницей — там у нее хранились бухгалтерские книги, — выписывала счета, зарплату. В пекарне у моего отца было звание управляющего, но пышущие жаром печи, хлебный дух,

разносившийся по всему кварталу, ни с каким управлением не вязались. Отец решительно не мог ничем управлять. Средоточие нервов и тревог, вот какое звание ему бы подошло. У него на лбу было написано, как он озабочен, озабоченность была чем-то вроде третьего глаза: неровен час, ночью в его дежурство что-нибудь да стряется. Они создали крупное дело (без участия моего отца, он решил действовать на свой страх и риск, но заметных успехов не достиг), и дело расширилось, пока не дошло до предела возможностей своего времени, а там уже не смогло приспособиться к условиям работы с супермаркетами — рефрижераторным перевозкам на дальние расстояния, единообразию продукции, размаху (поставке булочек миллионами дюжин). Так что компанию пришлось ликвидировать. Ничьей вины тут не было.

Они вступили в новую фазу, чудный или слывающий чудным период жизни на покое — Флорида и все прочее, края, где теплый климат благоприятствует мечтам и где, если суетливость испортила тебя не вконец, ты еще можешь вернуть себе былую радость жизни. Но такого, как нам всем известно, не бывает и быть не может. Что ж, Мотя всерьез пытался стать хорошим американцем. А хороший американец, какое бы обличье ни заставила его принять жизнь, может служить отличной рекламой. В Чикаго Мотя ежедневно ездил в центр — поплавать в своем клубе. Он там слыл колоритным персонажем. И лет десять потешал членов клуба анекдотами. Отличными анекдотами. Я чуть не все их слышал от моего отца; чтобы

их понять, надо было знать их жизнь на той, бывшей родине, — Талмуд, Тору, притчи, пословицы. Во многих из них речь шла о делах чуть ли не доисторических, и если, скажем, ты не знал, что в черте оседлости правоверные евреи, управляясь по хозяйству, бубнили себе под нос псалмы, без разъяснений ты ничего не понимал. Мотя хотел — и по праву, — чтобы в нем видели славного, бодрого, преуспевшего в жизни старика, лучшего в городе пекаря, состоятельного, великодушного, славящегося своей порядочностью. Но сверстники его повымирили, а кто, кроме них, прошедших такой же путь, мог оценить, как многого он достиг. Мотя — ему уже было под девяносто — по-прежнему не давал никому прохода, рвался рассказывать смешные истории. Они ему служили взамен подношений. Он повторялся. Маклерам, политикам, юристам, специализировавшимся на исках по травмам, подручным рэкетиров, мастерам на все руки, коммивояжерам и импресарио, которые приходили в клуб тренироваться, он им всем не давал житья. В раздевалке завернутый в простыню Мотя не радовал глаз. Никто не мог взять в толк, о чем он говорит. В его *canto** слишком явно слышался китайский, прованский прононс. Клуб попросил семью попридержать его дома.

— Сорок лет он у вас член, — сказала Рива.

— Да, но его сверстники умерли. А новые члены к нему не расположились.

* пении (*ит.*).

Я всегда думал, что бесконечные шутки Моти — это своего рода замена прошений о приеме, ходатайств о защите и что, паясничая в раздевалке, он совершает насилие над своей природой. Помоложе он был вовсе не таким словоохотливым.

В русской бане, когда мы сидели на корточках в парилке, я, тогда еще мальчишка, восхищался Мотей. Нагишом он походил на индейского воина. Курчавый гребень волос стоял поперек его головы. В нем ощущалось природное достоинство. Теперь от гребня волос не осталось и следа. Мотя скукожился, лицо его осунулось. В ту десятилетку жизнерадостности, когда Мотя плавал и сиял — само добродушие — улыбкой, он неизменно радовался мне. Он говорил:

— Мне уже *shmonim* — девятый десяток, — а я за день двадцать раз проплываю бассейн из конца в конец, — и продолжал: — А этот ты слышал?

— Наверняка нет.

— Слушай сюда. Входит еврей в ресторан. Только слава, что хороший, а так одна грязь.

— Угу.

— Меню нет. Смотрит на запачканную скатерть и заказывает обед. Тычет в пятно и говорит: «А это что? Цимес? Принесите».

— Угу.

— Официант не выписывает чек. Клиент идет прямо к кассирше. Она хватает его за галстук и говорит: «Ты ел цимес». Клиент рыгает, а она говорит: «Ты же еще и редьку ел».

Это уже не анекдот, а основа основ твоей жизни. Когда ты услышишь его раз сто, он становится явлением мифическим, все равно как ворон, тот самый, что залезал в жену и оказывался в просторных палатах. Но как бы там ни было, а теперь анекдотов больше не слышно.

Прежде чем подняться наверх, Рива говорит:

— Я вижу: таки хорошенькую ловушку расставило ФБР вашему брату-законнику — теперь не одну сотню ваших привлекут к уголовной ответственности.

Рива не хочет меня обидеть. Она резвится, в ее словах нет зла — просто она упражняется в остроумии. Она любит потешаться надо мной — ей ясно, что я бросил и юриспруденцию, и музыку, и все, чем прославился (исключительно в кругу семьи). Потом она говорит — и выражается по-прежнему четко:

— Нельзя давать Моте лежать, надо его поднимать, иначе у него в легких скопится жидкость. Врач велел его привязывать.

— Вряд ли ему это по вкусу.

— Бедненький Мотя, он терпеть этого не может. Он уже у нас вырывался. Я ужасно переживаю. И не только я...

Мотя приторочен ремнями к креслу. Они застегнуты за спинкой кресла. Первый мой порыв, наплевав на указания врача, освободить его. Врачи продлевают жизнь, но как Мотя относится к их предписаниям, нам не дано знать. Он делает отрывистый знак — его и кивком не назовешь, — что заметил наш приход, и отворачивается. Унизительно, когда тебя

видят в таком состоянии. И тут меня осеняет: ведь не случайно же в письме судье Айлеру я вспомнил, как Танчик на своем креслице молча выпрастывался из пут, полный решимости во что бы то ни стало освободиться.

Мотя пока не хочет говорить — не может. Ну мы и молчим. Пришли с визитом — вот и наносим визит. А мне-то что нужно от Моти, зачем я-то потащился из «Петли» в такую даль — чтобы мучить его? Лицо Моти стало совсем крохотным с тех пор, как я его видел в прошлый раз, — это последнее явление *genio* и *figura** — они вот-вот исчезнут. Мотя возвращается назад, к природе, общается со смертью напрямую. И прийти, чтобы быть тому свидетелем, — не такой уж и добрый поступок.

В моих первых воспоминаниях Юнис, еще совсем маленькая, сосет палец. Теперь Юнис высокая, маленькой стала Рива. У Ривы хмурый вид. Бог знает, о чем она думает. Телевизор выключен. Его выпуклый экран кажется лбом соглядатая, укрывшегося со своими коварными тайнами за заменяющим наркоту (мертвенно-серым) лоснящимся экраном. За задернутыми шторами — Норт-Ричмонд-стрит, омертвевшая, пустынная, как и все приличные улицы жилых кварталов, интерес людей утекает туда, где действуют силы более мощные, где их основные занятия. Все, что с ними не связано, увядает и обречено умереть. Мотя, когда его дело было ликвидировано, стал комическим стариком. Где они нынче, те формы, в которые могла бы отлиться жизнь?

* нрава и лица (*ит.*).

Давно пора что-то сказать, Юнис собирается с силами, а сила ее в учености, в умении давать советы. Мало того, не иначе как она хочет нас посмешить. Она говорит:

— Дядимотину руку надо лечить физиотерапией, не то она атрофируется. Я просто отказываюсь понимать, как ты могла это упустить.

Рива, наша родственница, вмиг вскипает. Она и без того чувствует себя виноватой и в аварии — предупреджали же ее, чтобы не садилась за руль, и в том, что Мотя пристегнут ремнями к креслу, но она не позволит Юнис распекать себя.

— По-моему, мне можно доверить уход за собственным мужем, — говорит она и выплывает из комнаты.

Юнис следует за ней по пятам, и я слышу: теперь она уже в расширенном варианте наставляет «темноту», гнет свое. С тех пор как пятьдесят лет назад Юнис излечили от заикания, консультации у специалистов стали ее пунктиком.

Не желей на самых лучших* — ее девиз.

Чтобы присесть на кровать, я отодвигаю Ривины книги и журналы. И мне припоминается, что прежде она любила читать Эдну Фербер**, Фанни Херст***,

* Переиначенная цитата из стихотворения Р. Киплинга «Бремя белых»:

Взвали на себя бремя белых,
Не желей самых лучших сынов.

** Эдна Фербер — популярная американская писательница и драматург.

*** Фанни Херст — популярная беллетристка, лектор.

Мэри Робертс Райнхарт*. Как-то на Цюрихском озере (штат Иллинойс) она дала мне почитать «Винтовую лестницу». А эти воспоминания потянули за собой массу мельчайших деталей, почему-то несущественных. Однажды вся семья в трех машинах покатила за город, и по дороге Мотя, наш родственник, остановился около скобяной лавки на Милуоки-авеню и купил бельевую веревку, чтобы покрепче привязать корзины с провизией к крыше «доджа». Он становился то на бампер, то на подножку и привязывал корзины одну за другой крест-накрест.

Цюрихское озеро — изжелта-зеленое, оно напоминает ванночку, в которой моют кисти, ноги засасывает ил, сквозь камыши не продрасться, воздух спертый, и в рощице рядом естественные запахи забивает запах бутербродов и бананов. За складным столиком режутся в покер, здесь верховенствует Ривина мать, она опустила вуаль широкополой шляпы — ограждает себя от комаров, а заодно — я так думаю — хочет без помех заглядывать в чужие карты. Голенький Танчик — ему года два — удирает от матери, которая с криками норовит впихнуть в него пюре. Шенины братья, Мотя и Шимон, гуляют поблизости, обсуждают дела пекарни. У горообразного Шимона горб, но горб его воспринимается не как физический изъян, а как свидетельство силы. Из рукавов торчат могучие ручищи. Полотняный пиджак в полосу топорщится на его спине бугром, напаян кое-как. Он такой пиджак ку-

* Мэри Робертс Райнхарт (1876–1958) — журналистка, автор пьес и детективов, наибольшей известностью из которых пользовался роман «Винтовая лестница».

пил, есть у него такой пиджак, но надетый небрежно, пиджак выглядит нелепо. Приобретает пародийно антиамериканский характер. Под могучей поступью Шимона гибнет мелкая растительность. От него ничему не укрыться: его глаза презрительно полыхают голубым огнем, от которого вспыхивают и сгорают дотла твои мальчишеские тайны. Шимон не любит меня. Шея у меня какая-то слишком длинная, глаза какие-то чужие. Я прилежный. Я не к тому стремлюсь, ничего не понимаю в реальной жизни. Мотя, мой родственник, защищает меня. Не скажу, чтобы он был полностью прав. Шеня, моя родственница, обычно говорила обо мне: «У мальчика — открытая голова». Она хотела сказать, что книжная премудрость дается мне легко. Предчувствия Шимона в той мере, в какой ему дано было заглянуть вперед, оказались куда вернее. На берегу Цюрихского озера мне, вместо того чтобы читать дурацкую книгу (в тисненном коричневом переплете) Мэри Робертс Райнхарт, следовало бы с визгом барахтаться в иле вместе с другими ребятами. Я отказывался всецело отдаться «реальности», потому что именно эту самую «реальность» и открывают нам подсадные утки ФБР. (Разоблачение коррупции далеко не зайдет, худшим из злодеев особо нечего бояться.)

Шеня попала пальцем в небо. Ее слова лучше всего интерпретировать метафизически. Открытой была не голова. А нечто совсем другое. Мы приходим в мир без предупреждения: мы явлены миру прежде, нежели сами осознаем свое явление. Изначальное «я» или, если

угодно, изначальная душа существует. Гёте верно предположил, что душа — это театр, в котором дает представление природа: другого театра у нее нет. Все это обретает смысл, когда пытаешься отдать себе отчет в кое-каких небеспристрастных наблюдениях — за родственниками, например. Будь это просто наблюдения, в обычном смысле слова, что им была бы за цена? Но если их выразить так: «Каков человек, то он и видит. Как устроен глаз, такова его зоркость», — это уж совсем другой коленкор. Когда я наскочил на Танчика и его бандюгу-соратника в О'Хара и подумал, какими мы представляемся совлекшемуся плоти блейковскому оку над нами, я исходил из присущего мне изначально способа видения, и хотя я считаю, что обыденного видения без искажения не бывает, все равно никогда не отступаю от привычки соотносить все воистину существенные наблюдения с тем самым изначальным «я» или, скажем, душой.

Мне казалось, что Мотя оттого и молчит, что держит совет с «изначальной личностью», а исковерканная пусть умирает, и как знать, может быть, уже и умерла.

Швы расходятся, связи распадаются, и жизнь своей неприемлемостью раскрепощает тебя, возвращая к изначальному «я». И тут уж никто не мешает тебе разыскивать настоящего человека под обломками современных идей — хочешь, зачарованно, как в трансе, а хочешь — с ясностью, но совершенно отличной от ясности общепринятых ныне типов познания.

В этот-то момент Мотя, мой родственник, и подозвал меня кивком головы. Решил что-то мне сказать.

Совсем немного: почти что ничего. Разумеется, он не сказал ничего такого, что я рассчитывал услышать. Я не ожидал, что он попросит его отстегнуть. Я наклонился, положил руку ему на плечо, почувствовал, что он этого хочет. Уверен, я не ошибся. Наверное, мне надлежало бы заговорить с ним на его родном языке, как некогда в дельте Миссисипи Секель разговаривал с индейцем, последним оставшимся в живых из всего своего народа. Мотя что-то произнес, но не может же быть, чтобы он сказал: «Shalom»*, — с чего бы вдруг ему так церемонно меня приветствовать. Заметив, что я озадачен, Мотя вперил в меня взгляд — глаза у него стали очень большие. И предпринял новую попытку.

Тогда я спросил Риву, почему он так ко мне обратился.

— Ой, да нет, он же сказал «Шодем». Он все меня допекает, напоминает, что Шодем Стейвис прислал нам много всяких бумаг для тебя...

— Наш родственник Шодем?.. А вовсе не...

— Он не имеет твоего адреса.

— Моего адреса нет в справочнике. И мы не виделись уже лет тридцать. Ты бы могла ему сказать, как меня найти.

— Ну конечно, мне нечего делать. Бога ради, освободи меня от этой писанины. У меня забит целый ящик в буфетной, и Мотя переживает, что дело не доведено до конца. У него камень с души свалится, когда ты заберешь свою почту.

* Мир (*иврит*). Сокращенное приветствие «Мир вам».

Сказав «освободи меня от этой писанины», Рива кидает взгляд на Юнис. Тяжелый взгляд. «Освободи меня от этого креста», — говорит ее взгляд. Кряхтя, Рива ведет меня на кухню.

Шолем Стейвис, Бродский по матери, принадлежал к той же ветви голубоглазых Бродских, что Шимон и Секель. Когда Танчик в нашу памятную встречу в О'Хара сказал, что «у нас в семье была пара-тройка гениев», он говорил не только обо мне, но и о Шолеме, выставлял на посмешище нас обоих. «Если ты такой умный, отчего ты такой бедный?» плюс к тому: «А сколько дивизий у папы?»* — вот какого разряда его замечания. Иммигранты старого закала ревностно выискивали вундеркиндов. Среди детей находились такие, которые старались им потрафить. Танчика смешил крах этих ожиданий, и его вполне можно понять.

Мы с Шолемом росли на соседних улицах, ходили в те же школы, обменивались книгами, и так как Шолем не опускался до ерунды, я получал от него исключительно Канта и Шеллинга, Дарвина и Ницше, Достоевского и Толстого, а в старшем классе Освальда Шпенглера**. Целый год у нас ушел на «Закат Европы».

* Так якобы ответил Наполеон, когда ему сказали, что папа римский не одобрит его политику; его слова якобы повторил Сталин.

** Освальд Шпенглер (1880—1936) — немецкий философ, решающее влияние на которого оказала философия Ницше. Известность ему принес главный труд его жизни «Закат Европы» (1918—1922).

В письмах (Рива дала мне большую хозяйственную сумку, чтобы их уложить) Шолем напоминал о наших общих увлечениях. В его письмах сквозило старомодное достоинство, и мне это, пожалуй, нравилось. Они напомнили мне Достоевского в переводах Констанс Гарнетт. Меня он называл Бродским. Переводы Гарнетт я и по сю пору предпочитаю более поздним. Для меня Достоевский не Достоевский, если его герои не выражаются с тяжеловесной чопорностью, как у Гарнетт. Сам я больше склонен все делать шалаявая. Питаю пристрастие к современным скоростям, не останавливаюсь и перед кощунством, правда, до определенных границ. В качестве примера приведу высказывание Одена о Рильке: «Величайший лесбийский поэт после Сафо». С одной лишь целью — напомнить, что нам ни в коем случае не позволительно забывать о распаде связей (возвещенном в 1806 году в Йене). Я, разумеется, не оспаривал превосходство Достоевского или Бетховена, которых Шолем неизменно именовал титанами. Шолем был и остался приверженцем титанизма. Я просидел над бумагами, принесенными из Ривиной кухни, до четырех утра. И не сомкнул глаз.

Шолем пребывал в уверенности, что в биологии он сделал такой же шаг вперед по сравнению с Дарвином, как Ньютон по сравнению с Коперником, а Эйнштейн — с Ньютоном; благодаря разработке и применению Шолемова открытия станет возможен прорыв в философской науке, первый серьезный про-

рыв со времен «Критики чистого разума»*. Я мог бы предсказать, опираясь на ранние впечатления, что Шолем из тех, кто если что делает, то в полную силу. Он был из добротного материала. Жизнь его потрепала? Что ж, такова природа вещей — всех нас треплет жизнь, но его она не сломила. В былые дни мы часто гуляли по Рейнвенсвуду. Он мог единым духом выпалить больше слов, чем любой, по правде говоря, он и вовсе не переводил дух, лишь бы не прерываться. Белокожий, худой, с неожиданно пружинящей походкой, он мчался вперед, оттянув большими пальцами карманы, бледный, точно сжигаемый лихорадкой. От него пахло кипяченым молоком. Когда он витийствовал, в углах его рта нарастала белая пенка. В визионерском состоянии он практически ничего не слышал, но пресекающимся от нетерпения голосом разбивал тебя в пух и мельчайший прах. Я вспомнил о нем позже, когда добрался до Рембо — в «Bateau Ivre»** я узнал то же опьянение и космических масштабов бури, только чувств, а не отвлеченных мыслей. Во время наших прогулок он разбирал темы вроде кантовских категорий смерти, и на этих прогулках-разборах нас бросало сначала на запад к Фостер-авеню, потом на юг к большому Чешскому кладбищу, потом — не раз и не два — вокруг Норт-Парк-колледжа и взад-вперед по мостам Сточного канала. Мы продолжали наши дискуссии перед автомобильными салонами на Лоу-

* «Критика чистого разума» (1781) — основной труд Иммануила Канта (1724—1804).

** «Пьяном корабле» (*фр.*).

ренс-авеню, где зеркальные стекла витрин коверкали наши жесты, но мы вряд ли это замечали.

На цветной фотографии, приложенной к бумагам, в изобилии присланных Шолемом, он ничуть не похож на себя прежнего. Нависшие кустистые брови, темная кожа, мрачное лицо, сощуренные глаза, сжатый, с глубокими складками по углам рот. Шолема не согнуло, но нажим он выдержал большой — это было очевидно. Об этом свидетельствовали его лицо, поникшие волосы. Забившись в один из углов моей квартиры, — гроб Господень, и только! — я внимательно рассмотрел фотографию Шолема. Вот к кому следовало приглядеться — замечательный родственник, борец, сработанный из прочного материала.

По сравнению с ним я представлялся себе человеком куда менее крупным. Этим объясняется, почему я пробовал свои силы в зрелищной индустрии, подвизался в роли трагикомического церемониймейстера по седьмому каналу, что ничуть не лучше кабаре второй городской программы, обедал с бандюгами или без пяти минут бандюгами у Фритцеля, до того докатился, что откалывал номера на идиотических вечерах вопросов и ответов у Капсинета*, пока чувство самоуважения не подсказало мне: пора кончать с этим делом. Теперь я более всесторонне оцениваю свои возможности. И тем не менее я признаю, что по части интеллектуальной Шолема Стейвис меня обошел. Даже теперь его непреклонно сосредоточенное лицо, изрыгающие на землю огонь ярости ноздри скажут вам,

* Ведущий телевизионных программ.

что́ он за человек. Так как Шолема снимали около его дома, вы можете понять подлинный масштаб его прорыва, ибо позади него тянется жилой район Чикаго, улица трехэтажек на шесть квартир, очень приличный адрес лет шестьдесят назад: налицо все красоты, которые могли обеспечить среднему классу строители 20-х годов, — хуже обстановки для человека типа Шолема не найти. Ну разве мыслимо создавать здесь философские труды? Именно из-за таких вот мест мне ненавистны эволюционисты, которые утверждают, что хотя периоды нашего развития один скучнее другого, зато в конце концов наш вид придет к совершенству.

Но Шолем и впрямь создавал философские труды на этих улицах. Ему и всего-то шел двадцать шестой год, а он уже прокладывал новые пути. Он сказал мне, что продвинулся вперед так, как никому не удавалось с восемнадцатого века. Но прежде чем он успел закончить свой эпохальный труд, японцы напали на Пёрл-Харбор, и сама логика его революционных открытий в биологии, философии и всемирной истории неизбежно привела его в армию — добровольцем, естественно. Я немало потрудился над присланными им бумагами — ломал голову, чтобы понять их биологические и всемирно-исторические основания. Эволюцию гамет и зигот, деление растений на одно- и двудольные; животных на кольчатых червей и позвоночных — это я знал. Но когда Шолем перешел к обсуждению биологической подоплеки современной политики, я принимал его мысли близко к сердцу, но

умом не понимал. Огромные земельные пространства занимали пассивные рецептивные нации. Государства поменьше отличались агрессивной оплодотворяющей силой. Резюме тут не поможет, мне необходимо прочесть его работу от начала до конца, писал Шолем. Но правые и левые течения — и об этом он считает необходимым как можно скорее поставить меня в известность — всего лишь сопутствующие явления. Основной поток в конечном счете сольется в широкую централизованную свободно эволюционирующую сплошную массу — начатки того, что это нам сулит, просматриваются в западных демократиях. Вот что побудило Шолема пойти на войну. Он встал на защиту не только демократии, но и своих теорий.

Он воевал во Франции и Бельгии, стрелком в пехоте. Когда американские и русские войска встретились на Эльбе, разрезав немецкую армию пополам, Шолем, мой родственник, был в одном из головных дозоров, переплывших Эльбу. Русские и американские бойцы вопили от радости, пьянствовали, плясали, плакали, обнимались. А что творилось с чикагским пареньком из Норт-Вест-Сайда, сыном русских иммигрантов, когда он очутился в Торгау*, на родине Канта и Бетховена, чей народ организовал и осуществил массовое уничтожение евреев, и вовсе нельзя себе представить. Я уже заметил, что у некоего Изи Бродского, предавшегося душой чукчам и корякам, нет

* Торгау — город на левом берегу Эльбы. В районе Торгау 25 апреля 1945 г. войска Первого Украинского фронта встретились с частями Первой американской армии.

оснований считать, будто из множества людей, набившихся в здание Первого национального банка, этого авангарда американского капитализма в его самой коварной современной стадии, наиболее неожиданные мысли у него. Так вот, точно так же нет никаких оснований считать, что среди солдат, которые обнимались, плакали, надирались, буянили в Торгау (я не стану делать исключения ни для девчонок, гулявших с русскими, ни для старух, свесивших для прохлады ноги в реку, очень стремительную в этом месте), не нашлось бы никого, столь же увлеченного биологическими и историческими теориями. Но Шолем, мой родственник, на родине... скажем, Шпенглера... ну как тут не упомянуть Шпенглера, чьи сопоставления античности с современностью так кружили нам головы в Рейнвенсвуде в годы отрочества? Шолем, мой родственник, не только до армии изучил всемирную историю, не только обдумал и распутал кое-какие из наиболее озадачивающих, вгоняющих в ступор ее узлов и клубков, но вдобавок непосредственно — как пехотинец — испытал ее на своей шкуре. Солдаты обеих армий, и Шолем в их числе, дали клятву на веки вечные остаться друзьями, не забывать друг друга и построить мир без войн.

После этого моего родственника на долгие годы заняли организационная работа, обращения к правительствам, хлопоты в Организации Объединенных Наций, международные конференции. Он ездил в Россию в составе американской делегации и в Кремле вручил Хрущеву карту, по которой его дозор двигался

к Эльбе, — дар американского народа русскому народу, залог дружбы.

Завершение и публикацию его труда, по мнению Шолема, единственного в XX веке подлинного вклада в чистую философию, пришлось отложить.

И лет двадцать мой родственник Шолем проработал таксистом в Чикаго. Теперь он бросил работу, получает пенсию от своей компании и живет в Норт-Сайде. Покоя, однако, в его жизни нет. Недавно его прооперировали по поводу рака в больнице для ветеранов. Врачи сказали, что жить ему осталось недолго. Вот почему он засыпал меня грудami бумаг, целыми кипами документов — тут тебе и вырезки из «Старз энд страйпс»*, и фотографии войск, братающихся в Торгау, и фотокопии писем в официальные инстанции, и завещательные распоряжения как политического, так и личного характера. Я посмотрел во второй, а там и в третий раз на последнюю фотографию Шолема — скошенный вовнутрь взгляд узких глаз, лицо, отмеченное печатью великих страстей. Он стремился к тому, чтобы его жизнь была исполнена смысла. И верил, что смерть его также будет исполнена смысла. Я и сам порой склонен поразмыслить над тем, что станется с человечеством после моей смерти, и, по правде сказать, не думаю, чтобы мой уход повлек за собой какие-то особые последствия. Шолем же, мой родственник, напротив, нисколько не сомневается в величии своих достижений и верит, что его влияние не прекратится после смерти и будет способствовать

* Армейский журнал.

обретению нашим видом чести и достоинства. А сейчас пора перейти к его завещательным распоряжениям. У него много дополнительных просьб, некоторые из них ритуального свойства. Он хочет, чтобы его похоронили в Торгау, на Эльбе, неподалеку от памятника, возведенного в честь победы над нацизмом. Он просит начать погребальную церемонию чтением последней главы «Братьев Карамазовых» в переводе Гарнетт. А завершить ее второй частью Седьмой симфонии Бетховена в исполнении Венского филармонического оркестра под управлением Солти*. Он заготовил надпись для своего надгробия. На ней обозначены его нетленный интеллектуальный дар человечеству и его участие в исторической клятве. Заканчивается надпись стихом из Евангелия от Иоанна (12:24): «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода».

К завещательным распоряжениям прилагалось письмо из канцелярии начальника административно-строевого управления министерства сухопутных сил: в нем мистеру Стейвису советовали навести справки о правилах, действующих в ГДР (Восточной Германии) относительно ввоза человеческих останков с целью захоронения. За справками ему рекомендовали обратиться в канцелярию посольства ГДР в Вашингтоне, округ Колумбия. Что касается материального вспомоществования, то правительство Соединенных Штатов не вправе выходить за рамки определенного круга

* Дьёрдь Солти (р. 1912) — венгерский дирижер.

обязательств, а оплата перевоза останков Шолема никак под них не подпадает, не говоря уж об оплате за проезд его родственников к месту погребения. О денежных пособиях на кладбищенские расходы и могильные участки можно узнать через управление социального обеспечения бывших военнослужащих. Письмо в высшей степени пристойное и весьма сочувственное.

Естественно, откуда полковнику, чья подпись стоит на письме, знать, что за человек Шолем.

А вот и последнее сообщение — в нем речь идет о съезде, который намечен на следующий год (сентябрь 1984-го) в Париже в ознаменование семидесятой годовщины битвы на Марне. На этом съезде предполагается устроить чествование таксистов, которые возили солдат на фронт и тем самым помогли отстоять город. На празднество приглашены водители всех стран, вплоть до велорикш из Юго-Восточной Азии. Грандиозная процессия соберется у гробницы Наполеона и проследует по пути таксистов 14-го года. Шолем намеревается приветствовать последний из почтенных таксомоторов, выставленных у «Инвалидов»*. Вскоре он отбудет в Париж: как члену организационного комитета ему предстоит принять участие в подготовке торжеств. По пути домой он остановится в Нью-Йор-

* Один из главных архитектурных ансамблей Парижа. Дом инвалидов — дом призрения для военнослужащих и Собор Дома инвалидов при нем. Строительство было начато в 1670 г. по планам архитектора Либерала Брюана (1635—1697), а в основном завершено Жюлем Ардуэн-Мансаром (1646—1708).

ке, где нанесет визит пяти постоянным членам Совета Безопасности, обратится к ним с просьбой следовать традициям великой встречи в Торгау и с прочувствованными прощальными словами. В девять тридцать он нанесет визит французской делегации в ООН, в одиннадцать — делегации Советского Союза, в двенадцать тридцать — Китая, в два часа дня — Великобритании, в пятнадцать тридцать — США. Свое почтение Генеральному секретарю он засвидетельствует в пять часов, затем вернется в Чикаго к «обновленной жизни», возвещенной у Иоанна (12:24).

Он просит оказать ему денежное вспомоществование во имя человечества и снова подкрепляет свои слова ссылкой на великие достижения человечества в этом столетии.

Документы менее объемистые касаются атомного разоружения и обнадеживающих перспектив на конечное примирение между сверхдержавами в традициях Торгау. Но в три часа утра у меня уже вспухла голова, и я не способен их воспринимать.

Теперь мне уже ни за что не уснуть, поэтому я не ложусь, а варю себе кофе покрепче. Что толку отправиться на боковую: все равно я не перестану думать.

Разве можно назвать бессонницей тот трепет, в который повергают меня озарения, случающиеся в глуши ночи. Днем вошедшая в привычку мелкая суета засасывает, препятствуя истинным открытиям. И с годами я научился ценить те ночные часы, что треп-

люют нервы и надрывают жилы, когда ты «в вечном исступлении на ложе пытки корчишься»*. Желать такого исступленья, выносить его — может только сильная душа.

Я залег с чашкой кофе в одном из сирийских уголков моей квартиры (не хотел я создавать этот восточный антураж; и откуда только он взялся?), залег вблизи ровной, светлой, пустой, точно лунная поверхность, Окружной дороги и задумался: что я могу сделать для моего родственника Шолема? А почему нужно что-то делать? Почему бы не отправить его в отдел благих намерений? Стоит ему пять-шесть раз побывать в конторе благих намерений, и у меня появится чувство, что я чем-то ему помог. Проверенные приемчики, однако в случае с Шолем они не сработают. Сын еврейских иммигрантов (его отец торговал яйцами на Фултонском рынке), Шолем был полон решимости заручиться поддержкой природы и истории, чтобы достичь свободы и умерить, обуздать, а то и преодолеть страх смерти, который правит нашим видом — и калечит его. Более того, он был патриотом Америки (давно отжившее свой век чувство) и гражданином мира. Главным его стремлением было заверить нас, что все кончится хорошо, преподнести достойный дар, благословить человечество. Во всем этом Шолем вполне отвечал классическому для евреев диаспоры типу.

* Нет, лучше с мертвым быть, кому мы дали
Покой и мир, чем в вечном исступлении
На ложе пытки корчиться.

У. Шекспир «Макбет» (пер. С. Соловьева).

В Чикаго с его закулисными интригами, мошенничествами, поджогами, убийствами, громилами, коммивояжерами вдруг невесть откуда распространяются идеи порядочности, и это при том, что нравственный закон в Чикаго и раньше-то был эфемерным и воздушным, как паутина, теперь же это и вовсе сотрясение воздуха, одни слова и звук их пустой. Тем не менее подумайте только о Шолеме, мощнейшем из умов, когда-либо крутивших баранку такси. Его пассажиры были отпрысками Велиара, перед которыми бледнеют даже коринфяне из Второго послания*, а Шолем среди этого небывалого разложения лишь утверждался в чистоте своих помыслов. От таких стрессов у него и начался рак. Вдобавок я всегда считал: если сидеть десять часов кряду за рулем при нашем движении, уже от одного этого можно заболеть раком. Вынужденная неподвижность — вот что его вызывает; плюс к ней еще и удручающее злопахательство и ярость, которую выплескивают организмы, а не исключено, что и механизмы.

Но что я мог сделать для Шолема? Я не мог кинуться к нему, позвонить в дверь — как-никак мы тридцать лет не поддерживали отношений. Не мог я оказать ему и финансовой поддержки — я не так богат, чтобы напечатать тысячи и тысячи страниц. Шолему понадобится тысяч сто по меньшей мере, и уж не ожидает ли он, что Изя сотворит их из выработанного воздуха «Петли». А

* Во «Втором послании к Коринфянам» апостол Павел осуждает своих противников, иудействующих, которые противодействовали ему, и порицает недостатки нравственной жизни коринфян.

что, разве Изя не входит в одну из первых в стране команд финансовых аналитиков? Однако Изя, его родственник, был не из тех ловкачей, которые урывают лакомые куски от всякой солидной суммы, предназначенной на «интеллектуальные» проекты и просветительские новации, не из тех политиков, умельцев по выбиванию стипендий, которые распоряжаются миллионами, как им заблагорассудится.

Точно так же не привлекла меня и перспектива посидеть с Шолемом в гостиной трехэтажки, обсудить труд его жизни. Я не знал бы, как к этому подступиться, на каком языке с ним говорить. Вынесенная мной из колледжа биология тут плохое подспорье. А Шпенглера я намертво забыл — он для меня мертвее Чешского кладбища, где мы толковали о великих вопросах (чинная обстановка, громоздкие надгробия, вянущие цветы).

Но ведь и с моим родственником Мотей я тоже не мог найти общего языка, а как бы мне хотелось открыть ему свои мысли до тонкостей; и мой родственник Шолем, со своей стороны, не мог заручиться моей поддержкой, потому что мне понадобился бы не один год, чтобы изучить его философскую систему. А время мое на исходе, и это исключено. В подобной обстановке я могу разве что предпринять попытку собрать средства, чтобы похоронить Шолема в Восточной Германии, только и всего. Коммунисты испытывают такую нужду в твердой валюте, что, безусловно, согласятся, если найти к ним подход. Ближе к утру я, пока мылся и брился, вспомнил: у меня же есть род-

ственник в Элгине (штат Иллинойс), правда, не близкий, зато мы с ним всегда были расположены и даже привязаны друг к другу. Не исключено, что он может помочь. Привязанностям приходится как-то применяться к нашему ненормальному времени. Для сохранности их держат на складе — ведь видимся с объектами своих привязанностей мы до крайности редко. Эти плоды умственной гидропоники бывают, однако, на удивление крепкими и устойчивыми. Похоже, люди способны сохранять интерес друг к другу десятилетиями, если не долее того. У подобных разлук есть привкус вечности. И если у тебя «нет современников» — это можно истолковать и так: все, кем ты дорожишь, сохранились в своем времени. Те, с кем ты не видишься, похоже, чувствуют, что они все еще дороги тебе. Отношения разыгрываются *ritardando** на навешиваемом сон инструменте, о чем остальной оркестр если и догадывается, то не отдает себе в том отчета.

Родственник, о котором речь, живет все там же — в Элгине. Менди Экштайн некогда подвизался на ниве журналистики и рекламы, ныне практически отошел от дел. Они с Шолемом Стейвисом вращались в разных кругах. Из всех моих родственников именно с Экштайном я шатался по боксерским матчам и джаз-клубам. Менди и тогда до странности стремился быть во всем американцем своего времени. Родившись в Маскингеме (Огайо), где его отец имел магазин мужского платья, Менди окончил среднюю школу в Чикаго, вырос живым, бойким на язык, знал назубок всех

* Во все более замедленном темпе (*rit.*).

бейсболистов, эстрадников, трубачей, исполнителей буги-вуги, игроков, прохвостов, мелких мошенников из муниципалитета. Всем персонажам он предпочитал хитрована из глубинки — Арона Жоха из Дикого Лога. Его буйно курчавящиеся волосы были зачесаны кверху, бледные с широкими скулами щеки изрыты следами от залеченных прыщей. Собираясь объявить, что сейчас сравняет счет, Менди горделиво вскидывал голову. Этот жест он повторял всякий раз, когда откладывал сигарету на край бильярда в пивном подвале Висконсинского университета и брался за кий, обдумывая следующий удар. У Менди, как и у Секеля, я научился разным песенкам. Он предпочитал джазовые, типа: «А по мне мура все это», в особенности такую:

И коровы молока не дают, и куры яиц не несут,
Когда он берет свой корнет...

Отличный парень, американец по всем статьям, по всей форме, заверченный на свой манер, как произведение искусства. Но показательного образца, ориентируясь на который он формировал себя, больше не существовало. В конце тридцатых мы с Менди ходили вместе на бокс или в «Клуб де Лайза» слушать джаз.

Менди — вот к кому следует обратиться, вот кто может содействовать Шолему: ведь существует какой-то фонд, учрежденный неким родственником, уже давно умершим, последним из той ветви. Насколько я себе представляю, этот фонд был учрежден с целью предоставления членам семьи займов в случае край-

ней нужды, а также для помощи неимущим родственникам, буде они проявят особую одаренность, на предмет продолжения учебы, а возможно, и для дальнейшего поощрения их деятельности на ниве культуры. Смутно представляя себе статус этого фонда, я не сомневался, что Менди он досконально известен, и быстро связался с ним по телефону. Он сказал, что завтра же подскочит в центр — рад буду, сказал он, поболтать с тобой.

— Мы безбожно давно потеряли друг друга из виду, старик.

Фонд этот образован на деньги, завещанные одним из Экштайнов старшего поколения, Аркадием; в семейном кругу его звали Арти. Арти, на которого никто не возлагал никаких надежд — он ведь ни разу в жизни даже ботинок не зашнуровал и не потому, что был такой уж толстый (он был лишь в теле), а потому, что во всеуслышание объявил себя *dégagé**, под конец жизни получил наследство. Незадолго до революции он привез в Америку биографию Пушкина для юношества; он читал нам из нее стихи, в которых мы ничего не могли понять. Опыт его времени никак на нем не отразился. Если смотреть сверху, круглая русая голова Арти и сейчас казалась головой мальчишки, и прическа у него была простая, как у мальчишки. С годами щеки и веки его слегка припухли. Глаза у него были карие с прозеленью. У него не хватало пальца на руке — отрезало на фабрике колючей проволоки

* Свободный, непринужденный (*фр.*). Здесь: ничем не связанным.

в 17-м году. Допускаю, что Арти пожертвовал пальцем, чтобы избежать призыва. Сохранился семидесятилетней давности «кабинетный портрет» Арти и его овдовевшей мамы. Арти позирует, заложив большой палец за лацкан пиджака. Его мать, Таня, толстая, приземистая, самой что ни на есть восточной наружности; она вроде бы спокойно смотрит в объектив, но в действительности с трудом сдерживает смех. Почему? А вот почему. Раз ее толстенькие коротенькие ножки не достают до полу, значит, причина тому одна — нелепые просчеты в мироустройстве, которое не умеет — комедия, одно слово! — примениться к тете Тане. Во второй раз Таня вышла замуж за нажившего миллионы утильщика, очень влиятельного у себя в синагоге человека, на редкость некрасивого и крайне ортодоксального. Таня, страстная любительница кино, обожала Кларка Гейбла и никогда не упускала случая сходить на «Унесенных ветром».

— Ой, как я люблю Кларка Гейбла, никто не любит Кларка Гейбла.

Ее старик муж умер первым. Она последовала за ним через пять лет, когда ей уже сильно перевалило за восемьдесят. Ко времени ее смерти Арти разъезжал, торгуя порошковым яблочным соусом; когда ему сообщили о смерти матери, он демонстрировал свой товар в маленьком универмаге на юге штата. Люди бездетные, они с женой тут же перестали работать. Арти сказал, что возобновит занятия философией, по которой специализировался в Анн-Арбор лет сто назад, но заботы о недвижимости и помещении капита-

ла помешали ему засесть за книги. Он часто спрашивал меня:

— Изя, ну и что ты думаешь о Джоне Дьюи*?

Когда Арти с женой умерли, стало известно, что они оставили по завещанию капитал на предмет дальнейшего образования неимущих родственников — нечто вроде фонда, сказал мне Менди.

— И много денег из него потрачено?

— Очень мало.

— Нельзя ли получить из этого фонда какие-нибудь средства для Шолема Стейвиса?

Он сказал:

— Как взяться, — намекая, что, вполне вероятно, он и исхитрится изыскать какие-нибудь возможности.

Я заранее подготовился к его визиту — выставил документы. Он вмиг ухватил, в чем суть проблемы Шолема Стейвиса.

— Чтобы опубликовать труд его жизни, всех экш-тайновских денег не хватит. И как нам узнать, действительно ли Шолем сделал такой же шаг вперед по сравнению с Дарвином, как Ньютон по сравнению с Коперником?

— Это будет нелегко установить.

— А к кому бы ты обратился за консультацией? — спросил Менди.

— Тут неминусемо придется нанять кое-каких специалистов. К представителям академической науки я отношусь без особого доверия.

* Джон Дьюи (1859—1952) — американский философ и педагог.

— Ты что думаешь, они обкрадут гениального любителя-растяпу?

— Когда крепкий работник сталкивается с вдохновенным, он теряет покой.

— Это еще надо доказать, что Шолем вдохновенный. Арти и его хозяйка умерли, едва получив наследство, — не успели пожить в свое удовольствие. Мне не хотелось бы ухнуть их башли, а их понадобится немало, на какой-нибудь бред, — сказал Менди. — Уж больно Шолем величавый, что-то я в него не верю.

Люди нынче не доверяют человеку, если не видят его в самых что ни на есть будничных проявлениях — Леон Блум в уборной, шибаящая в ноздри вонь, козье вымя его жены* и все такое прочее. Теперь мерки изменились и доказывать, что ты человек как человек, приходится, прибегая к фактам куда более низменным.

— И вообще, — сказал Менди, — что за христианские штучки-дрючки? С какой стати ему понадобилось цитировать самое антисемитское из Евангелий? После всего что нам пришлось пережить, в том ли направлении нам следует идти?

— Как знать, а вдруг он прямой наследник Иммануила Канта, а раз так, он не может смотреть на все с исключительно еврейской точки зрения. К тому же он еще и американец, а так как американцу, кроме естественного закона**, никакой закон не писан, почему бы ему не требовать своего места в науке.

* Эпизоды из романа Д. Джойса «Улисс».

** «*Lex naturalis*» (лат.) — естественный закон. Юридический термин. Общее правило, согласно которому человеку запрещается делать то, что опасно для его жизни.

— Пусть так, — сказал Менди, — но с какой стати он просит похоронить его за железным занавесом? Он что, не знает, как русские ненавидят евреев, — да они же ничуть не лучше немцев. Он думает, если его там закопают, он что, впитает в себя всю их ненависть, как промокашка? Излечит их от ненависти? Небось думает, ему это по плечу — ему, и больше никому.

Менди взвинчивал себя, собирался обвинить Шолема в мании величия. На психиатрические термины натывается повсюду, вот их и суют куда надо и куда не надо — я вижу в них серьезную опасность. Погрузить бы их на грузовик да вывезти на свалку.

Путь самого Менди тоже весьма не безынтересен. Он очень умный, хотя, если посмотреть, как он строит из себя типичного американца Гуверовской* или начала Рузвельтовской эры**, никогда этого не скажешь. Он во всем подражает тем образцовым протестантам, с которых делал жизнь, подражает их глупостям и даже их незадачам, вплоть до разъездов с женами и сексуального самоистязания. Он надирался в «Петле» и, как и полагается американцу, возвращался сильно поддатый на пригородном поезде домой. Купил английского бульдога, которого его жена не могла видеть без содрогания. Они с тещей невзлюбили друг друга и устраивали из этого эксцентрическую комедию на американский лад. Когда Менди был дома, теща си-

* Герберт Гувер (1874–1964) — президент США с 1929 по 1933 г.

** Франклин Делано Рузвельт (1882 — 1945) — президент США с 1933 по 1945 г.

дела в погребке, а когда он ложился спать, вылезала и варила себе на кухне какао. Менди говорил мне: «Я отправил ее к диетологу: не возьму в толк, отчего она так цветет — ведь питается она исключительно плюшками и какао». (По-моему, ее поддерживало в таком прекрасном состоянии не что иное, как актерство.) Менди завербовал себе в союзники младшего сына: ездил с ним на рыбалку, посещал места битв Гражданской войны. Менди был из тех с молодых ногтей до седых волос уроженцев Среднего Запада, которые разыгрывают в жизни сценарии, написанные для У. К. Филдса*. И все же по его глазам, затененным полями мягкой шляпы, было заметно, что многое ему представляется в еврейском свете, когда же ему перевалило за шестьдесят, он и вовсе стал похож на еврея. Как я уже говорил, американские образцы, которым он подражал, теперь совершенно устарели. Патриархи Ветхого Завета куда современнее, нежели ушлые пройдохи из Дикого Лога. Менди не вернулся к религии своих отцов, у него и в мыслях этого не было, но, практически удалившись от дел, торчал в своем Элгине, где был обречен на непонимание точно так же, как наш родственник Мотя в раздевалке своего клуба. Вот почему Менди ничуть не удивил мой непомерный интерес к родственникам. У него и самого пробудился к ним интерес. И если только меня не обмануло выражение его уже помятого, отяжелевшего, доброго лица, он

* Уильям Клод Филдс (1880—1946) — американский актер, один из лучших американских комиков. Создал трагикомический образ циника и мизантропа, подвергающего осмеянию устои общества.

просил распространить мой интерес и на него. Ему хотелось сблизиться со мной.

— Уж не расчувствовался ли ты, а, Изя, по той простой причине, что вы с Шолемом совершали такие замечательные прогулки? А вдруг бы ты и сам смог оценить этот его выдающейся силы труд, прочти ты его? В корпорацию РЭНД небось дураков не берут — я все хочу, чтобы ты как-нибудь выбрал время рассказать мне об этой вашей сверхинтеллектуальной шараге.

— Точнее было бы сказать, не расчувствовался, а сочувствую.

В сфере нравственности дикое невежество, полный хаос.

Менди сказал:

— Если бы ты попытался с ним поговорить, он стал бы тебя поучать свысока, а что, нет, что ли? И раз ты ничего не смыслишь в этих его зиготах и гаметах, тебе волей-неволей пришлось бы сидеть и слушать...

Этим Менди хотел сказать, что он и я, мы-то понимаем друг друга, мы же с ним одной породы. Евреи, которых воспитала американская улица, мы же тут не чужие, мы же принесли в жизнь Америки столько пыла, энергии, любви, что сроднились с ней. Странно, что она начала уходить в забвение как раз в ту пору, когда эта замечательная демократия стала для нас своей. Как бы там ни было, но наша демократия уже *passé**. А новая демократия с ее новой системой абстрактных понятий удручающе жестока. Быть американцем во все времена было довольно абстрактной

* Здесь: вышла из моды (*фр.*).

задачей. Ты приезжал в эту страну иммигрантом. Получал вполне приемлемое предложение и откликнулся на него. Ты обретал себя. При новой системе понятий ты себя терял. Они требовали пугающего отказа от собственных взглядов. Возьмем письмо Юнис в медучилище. Вверни словечко «порядочный» и обманывай с чистой совестью. Если ты затвердил новую систему понятий, извечные дилеммы — правда и ложь, добро и зло — переставали для тебя существовать. Тебе таких усилий стоило затвердить новые понятия, что уже одно это освобождало тебя от необходимости различать добро и зло. Ты усердно учил заданный *от* и *до* урок, вызубривал его наконец, и отныне тебе во тьме всходил свет. Ты мог, к примеру, сказать: «Чувство вины умерло. Люди имеют право наслаждаться, не мучаясь виной». Вызубрив этот неоценимый урок, ты плевал, что твоя дочь трахается с кем ни попадя, а ведь прежде у тебя был бы разрыв сердца. Воздаяние твое было в хорошо вызубренном уроке, он служил тебе наградой. Вот что она такое, эта новая пронизательность. А ведь не исключено, что от нашей способности духовно пронизать зависит, выживем ли мы, — сколько решений, причем сознательных, нам предстоит еще принять! Только не думайте, что я отвлекся, вовсе нет. Шолем, мой родственник, благородный человек, блуждал в дебрях старой пронизательности. Превосходнейший человек, если верить, что его претензии небеспочвенны. Менди, мой родственник, в это не верил. Менди хотел напомнить мне: ведь мы с ним представители своеобразного периода развития еврей-

ско-американских отношений (стертого с лица земли историей), и нас с ним столько всего объединяет, что никакому вышедшему в тираж вундеркинду нас не понять.

— Менди, мне хотелось бы что-то сделать для Шолема.

— Я не уверен, имеем ли мы право ухлопать деньги нашего родственника Арти на то, чтобы похоронить Шолема в Восточной Германии.

— Правда твоя. Ну а ты бы никак не мог изыскать деньги, чтобы его великий труд прочли... найти биолога, который бы его отрецензировал. И философа, и историка.

— Не исключено. Я рассмотрю этот вопрос с душеприказчиками. И отзвоню тебе, — сказал Менди.

Мне стало ясно, что он и душеприказчики — одно лицо.

— Мне придется поехать за границу, — сказал я. — Возможно, я повидаюсь с Шолемом в Париже. В прощальном письме он писал, что собирается поехать туда, организовать это чествование марнских таксистов.

Я дал Менди телефон мисс Родинсон.

— Небось на «конкорде» полетишь, — сказал Менди.

Без малейшей зависти. А я был бы рад полететь в его компании.

Я сделал остановку в Вашингтоне, чтобы провести переговоры с Международным валютным фондом: коммерческие банки предполагали возобновить займы бразильцам. Я выкроил несколько часов для себя

и употребил их, чтобы подобрать литературу по исследованиям Иохельсона и Богораза и сделать запрос в канцелярии посольства ГДР. Затем позвонил моей бывшей жене на Национальное общественное радио. Голос Изобел нынче один из самых широкоизвестных его голосов. После трех браков она вновь взяла свою девичью фамилию. Нередко вслед за задорной музыкальной заставкой программы я слышу: «А сейчас сообщение нашего корреспондента в Вашингтоне Изобел Гриншпан». Я пригласил Соболев пообедать со мной. Она отказалась: похоже, обиделась, что я не позвонил ей заранее из Чикаго. Сказала, что придет в «Хей-Адамс» — выпьет со мной коктейль.

При встречах с Изобел меня постоянно преследует мысль, что человек — это вид млекопитающих, и по спору не обретший устойчивости. Что я под этим подразумеваю: мало того, что среди нас изобилие слабоумных, хворых, недоразвитых (Изобел, к слову сказать, ни слабой, ни хворой не назовешь), но вдобавок подавляющему большинству людей и не суждено обрести равновесие: по природе своей они брюзги, капризные, раздражительные, беспокойные, ищут облегчения своим мукам и гnevаются, что не находят. И такая женщина, как Изобел, поставившая своей целью произвести впечатление гармонической личности, отражает эту несчастную неустойчивость. Меня она отождествляет с ошибками, от которых избавилась; и успех свой мерит по тому, насколько увеличивается разрыв между нами. Изобел умная — даром, что ли, она член общества

«Mensa»* (а туда без высокого коэффициента умственного развития не примут), в эфире она — само обаяние, со мной же она несколько угрюма — можно подумать, она не вполне довольна своими «прозрениями». Как фигура общенационального масштаба, предлагающая в своей программе просвещенное толкование событий миллионам слушателей, Соболь «пропагандирует», «проповедует», но женщина она здравая, и втайне такого рода просветительство ее удручает.

Она заговорила со мной о Чикаго, с которым — в некоторых отношениях — отождествляет меня.

— Ваши белые политиканы не дают черному мэру и пальцем шевельнуть, а сами тем временем обдирают город как липку. Тебе же, разумеется, все яснее ясно. Тебе всегда все яснее ясно. Но ты предпочитаешь грезить наяву.

Соболь сегодня выглядела настолько необычно, что это бросалось в глаза. Вечер на носу, а она раздумянулась, что твоя заря. Смуглота ее отступала, подобно уходящей ночи. А уж благоухала она — куда там заре. Ну а так — харя харей. Ничего не скажешь, женщина она привлекательная. На ней было темное платье с четким алых тонов узором по коричнево-золотистому полю. Далеко не всегда она так прихорашивается для меня.

* «Алтарь» (*лат.*) — международное общество, членами которого являются ученые-исследователи в области психологии и общественных наук. Цель его — поощрение людей выдающихся способностей.

Самонадеянностью с моей стороны было бы претендовать, что мне все яснее ясного, но что подразумевала Изабел под «грезить наяву», понять нетрудно. Здесь содержался намек сразу на два взаимосвязанных обстоятельства: во-первых, на мои не имеющие отношения к работе увлечения, а во-вторых, на мой длящийся всю жизнь роман в мечтах с Верджи Дантон, пée* Милетас, восьмипалой арфисткой. Несмотря на врожденный изъян, Верджи освоила репертуар для арфы, за вычетом нескольких решительно недостижимых произведений, и с успехом дает концерты. Изабел совершенно права, меня действительно раз и навсегда покорила Верджи — ее черные глаза, круглое личико, такое белокожее, с выпуклым лбом — сама женственность; то ли обещание благожелательности, то ли ручательство доброты, которые оно излучает. Даже легкое повреждение в коротком носике — результат автомобильной катастрофы, от пластической операции она отказалась — и то пленяет меня. Изабел права: действительно, Верджи представляется мне самым знаменательным воплощением всего женского. Я стараюсь по возможности не пропускать ни одного ее концерта; брожу около ее дома в надежде встретиться с ней, в универмагах мне мерещится, что я вижу ее. Наши случайные встречи — всего пять за тридцать лет — я помню в малейших подробностях. Когда ее муж, запойный пьяница, дал мне почитать книгу Гэлбрайта** о его успехах в Индии, я прочел ее от первой

* урожденной (*фр.*).

** Джон Гэлбрайт (р. 1908) — американский экономист и дипломат.

до последней страницы, что можно объяснить лишь полонившей мою душу страстью или развившимся на ее почве *Besetzung**. Верджи Милетас, Венера недо-развитопалая, с ее магнетической притягательной силой — вот на кого намекала Соболь своим «ты предпочитаешь грезить наяву». Идеальное счастье, которое я изведаль бы с миссис Милетас-Дантон, как и Аристофанова любовная легенда о разрубленных пополам существах, вечно стремящихся найти утерянную половину, — удержусь, не стану искать подкрепления в Сократовых рассуждениях о высшем Эросе, про которые я, вдохновенный энтузиаст философии, читал на длинных перегонах, пока поезда надземки, со скрежетом огибая «Петлю», мчали меня от улицы Ван-Бурена с ее ссудными кассами до кишашей ханыгами 63-й, — было нежизненной любовной мечтой, и Соболь имела полное право ее презирать.

В «Хей-Адамсе», где мы пили джин с тоником, Соболь вдруг обронила замечание, поразившее меня своей неожиданностью, в отличие от ее обычных «прозрений», в них-то как раз ничего неожиданного нет. Она сказала:

— Пожалуй, к твоему случаю «грезить наяву» не очень подходит. Если говорить точнее, у тебя невероятный запал, но ты его не тратишь. В тебе клокочет бешеная энергия — я ни у кого не встречала подобной. Это колоссальной силы заряд, и благодаря ему ты игнорируешь мерзости обыденной жизни, тогда как

* Буквально: замещение (*нем.*). Фрейдистский термин, означающий перенесение полового влечения на некий предмет.

другим — любо им это или не любо — приходится их терпеть. Ты, Изя, скопидом, ты кладешь свой запал в кубышку. И живешь за счет этой кубышки. Другие впадают в уныние — и ничего, тебя бы оно убило.

Небезынтересный выпад. Что-то в нем есть. Отдаю в полной мере должное Изобел. Тем не менее я не ответил на него сразу, предпочел обдумать его на досуге. И перевел разговор на моего родственника Шолема. Описал ей, в чем его проблемы. Устроить бы ему интервью на Национальном общественном радио, представить его, как он того заслуживает (герой войны философ-таксист), вдруг он — чем черт не шутит — заставит публику заинтересоваться собой и, что куда существеннее, раскошелиться, хотя на этот счет она непредсказуема. Соболь с ходу отмела мое предложение. Сказала, что Шолем слушателям не по зубам. Стоит ему заявить, что Кант и Дарвин — наконец-то! — обрели себе приемника в его лице, и слушатели скажут: «Больно он много о себе понимает, псих какой-то!» Она согласна, что чествование марнских таксистов — интересный человеческий материал, но торжества состоятся лишь в 84-м — их еще год ждать. И присовокупила, что ее программа не поощряет сбор пожертвований. Сказала:

— А ты уверен, что он и впрямь умирает? Какие у тебя доказательства, кроме его слов?

— Бессердечный вопрос, — сказал я.

— Вполне вероятно. Но у тебя всегда был дурацкий пунктик насчет родственников. Твоя семья вечно старалась остудить твой запал, вот ты и переключился на родственников. Я, бывало, думала, ты весь морг

переворошишь, если тебе сказать, что ты там найдешь родственника. А ты себя спроси, кто из них станет тебя искать, много ли таких?

Я не сдержал улыбки. Соболь всегда отличало сильное чувство смешного.

И вот что еще она сказала:

— Во времена, когда нуклеарная семья распадается, почему столько шума из-за родственников по боковой линии?

Что на это ответить — и я ляпнул наобум:

— До первой мировой войны Европой правили несколько королевских семей, связанных родственными узами.

— Ну и что? Результаты — лучше некуда.

— А многие вспоминают о той эпохе, как о золотом веке *douceur de vivre** и все такое прочее.

Однако я вовсе так не думал. 1914 год завершил тысячелетнюю историю нигилизма, и зверства Вердена и Танненберга** послужили предпосылкой к еще большему разору, начавшемуся в 1939-м. И что же — вновь настает та же всепроникающая тревога — швы истории лопаются, связи распадаются (Гегель), вековые оковы рушатся. И если ты не сам себе голова, у тебя голова пойдет кругом, ну а если ты все же сохранишь голову на плечах, тогда — неровен час — и достигнешь чего-то вроде свободы. Хаос, если он тебя не убьет, дает определенные возможности. Никому

* Радость жизни (*фр.*).

* Деревушка в Восточной Пруссии (ныне Польша), где немцы в 1914 г. разгромили русскую армию.

невдомек: когда я бодрствую по ночам у себя в квартире — гробе Господнем, а не квартире (обстановка которой так озадачила Юнис, когда она зашла ко мне. «И ковры и лампы — все восточное, а книг-то сколько», — сказала она), — никому невдомек, что я сосредоточенно обдумываю стратегические ходы, которые помогли бы мне сделать пламенный рывок к свободе, предоставляемой нам распадом. Сотни книг, но из них всего полполки существенных. Умножая познания, не умножаешь доброту. Одного из авторов, к которым я часто обращаюсь, занимают исключительно страсти. Он призывает задуматься над любовью и ненавистью. Он отрицает, что ненависть слепа. Напротив, ненависть очень прозорлива. Если не уничтожить ненависть в зародыше, она прорастет и поглотит все твоё существо, будет способствовать работе мысли. Ненависть не ослепляет, она обостряет ясность ума; заставляет людей пробиваться друг к другу, нацеливает их на то, чтобы постичь себя. У любви, у нее тоже зоркий взгляд — она не слепа. Истинная любовь не обманывается. Как и ненависть, это первоисточник. Но где ее найти, любовь. Вот ненависти — той с лихвой. И ты явно подвергнешь себя опасности, если будешь дожидаться страсти, что посещает нас куда реже. А раз так, доверься ненависти — ведь ее хоть отбавляй, и, если стремишься достичь мало-мальской ясности, прими ненависть с дорогой душой.

Я не собирался ставить эти вопросы перед Соболю, но не потому, что она не способна их обсудить. Она

оседлала своего конька — мою слабость к родственникам.

— Если бы ты интересовался мной так же, как всеми этими недоделанными полудурками родственниками и им подобными, мы бы никогда не развелись.

«Им подобными» было шпилькой в адрес Верджи.

Уж не намекала ли Соболь, что нам следует предпринять новую попытку? Уж не потому ли она пришла разрумяненная, как заря, и разодетая в пух и прах? Я был весьма польщен.

Утром я отправился в Даллес* и улетел на «конкорде». Международный валютный фонд выжидал, когда бразильский парламент примет наконец решение. Я набросал кое-какие заметки для доклада и теперь мог без помех думать о другом. Я прикинул: уж не подбивает ли меня Соболь сделать ей предложение. Ее слова о том, что я кладу свой запал в кубышку, мне понравились. По мнению Соболь, и родственники, и Верджи помогают мне удовлетворять свою склонность к не столь обременительным привязанностям. Я несовременный, во мне нет настоящей жесткости. Возможно, Соболь верит, что я потрафляю своим художественным запросам, какие они ни на есть, посещая старинные галереи, бродя по прекрасным музеям, тешусь приятностями родства, довольствуюсь повапленными мощами — и закалки у меня нет той, чтобы безраздельно отдаться восторгам, и сквозь очистительное горнило нигилизма я не прошел.

* Международный аэропорт неподалеку от Вашингтона.

Что же касается брака... одинокая жизнь утомительна. Но и с браком связаны неприятные соображения, бежать от которых нельзя. Что мне делать в Вашингтоне? Что делать Соболю, если она переселится в Чикаго? Да нет, Соболю ни за что не переедет. Мы будем летать туда-сюда, от Чикаго к Вашингтону и наоборот. Проясно, что хочу сказать, пункт за пунктом: Соболю теперь формирует общественное мнение. Общественное мнение — это власть. Она принадлежит к команде, обладающей огромной властью. Мне такого рода власть не по душе. И хотя ребята из ее команды не большее дрянцо, чем их противники консерваторы, тем не менее они дрянцо. И в сфере, в которой подвизается Изобел, они многочисленнее и влиятельны до отвращения.

И вот я в Париже, подкатываю к «Монталамберу». Я отказался от более приятной гостиницы, обнаружив в чемодане черных тараканов, которые перелетели вместе со мной Атлантический океан и выползли, полные решимости покорить Чикаго.

Я обследовал свой номер в «Монталамбере» и спустился по улице Бак к Сене. Просто чудо, до чего благотворно воздействуют эти столицы, где памятник на памятнике, на американца и по сю пору. Чтобы озарять Сент-Шапель*, Консьержери**, Пон-Неф*** и

* Сент-Шапель — церковь, построенная в 1242–1248 гг. Шедевр готической архитектуры.

** Консьержери — замок XIV в., в нем во время Французской революции содержались приговоренные к смерти Мария Антуанетта, Дантон и т. д.

*** Пон-Неф — один из старейших мостов Парижа, построен в 1578–1606 гг.

прочие средневековые достопримечательности, и само солнце должно превратиться в памятник — во что-то вроде ацтекского каменного календаря в Мехико-Сити, — вот какое ощущение я чуть было не испытал.

Когда я возвратился после обеда в гостиницу, меня настигло послание от мисс Родинсон из Чикаго: «Экштайновский фонд предоставляет пособие в 10 000 долларов мистеру Стейвису».

Молодец Менди, вот это родственник так родственник! Теперь мне есть что сообщить Шолему, и так как завтра он прибудет в Собор Дома инвалидов на это их организационное совещание — разумеется, если он жив и добрался до Парижа, — когда мы встретимся столько десятилетий спустя, я смогу предложить ему не одно только свое сочувствие. Менди предназначал пособие на то, чтобы определить, действительно ли Шолемова опирающаяся на науку чистая философия такой уж шаг вперед по сравнению с «Критикой чистого разума». Я с ходу принялся изыскивать способы обойти Менди. Подыскать Шолему рецензентов я могу и сам. Предложу им скромный гонорар — щедрого они и не заслуживают, эти академические недоумки. (Злился на них: США докатились до такого разложения, уж они-то могли бы как-то этому помешать; винил их: кто, как не они, ускорил наш упадок.) Пять специалистов, по две сотни долларов в зубы каждому — им я заплачу из своих средств, — это позволит мне отдать десять кусков Шолему. Нажав, где нужно, в Вашингтоне, я выторгую у восточных немцев разрешение похоронить Шолема тыщонки за две-три, включая взятки. Остав-

шихся денег хватит на перевоз тела и похороны. Раз уж в Шолеме живет провидческое убеждение, что его погребение в Торгау умалит невероятно разросшееся мировое безумие до размеров крохотного комочка, что ж, наверное, стоит попробовать. Если же его похоронить в чикагском Вальдхайме, по соседству с Гарлем-авеню, где день и ночь грохочут грузовики, никакого действия это уж точно не возымеет.

Чтобы приспособиться к европейскому времени, я не лег, а стал раскладывать пасьянс, колоду я взял с собой большую, очки не пришлось надевать, и это так на меня подействовало, что я лег спать — иначе мне, с моим запалом, не утомониться бы. Когда я спокоен, не взбудоражен, я вполне способен понять, что со мной происходит. За пасьянсом, гоняя мысли взад-вперед, я понял, почему Соболев пеняла, что я погубил наш брак, отказываясь подпитать его своим запалом. Говоря о моем пристрастии к родственникам, она обидками намекала, что быть евреем — само по себе тайна. У Соболев красивый еврейский нос, хотя он бы мог быть и поменьше. И еще она явно выставляла ноги напоказ, зная мою к ним слабость. У нее точеная грудь, гладкая шея, стройные бедра, а ноги могут — еще ой как! — поработать в спальне; я, бывало, называл ее ноги скакалочками. Ну так вот, пронесла ли Соболев через три своих брака мысль обо мне как о своем единственном муже или решила в последний раз помериться силами со своей соперницей из Александрии (египетской)? Ни в чем не повинная Верджи была постоянным предметом ее пламенной ненави-

сти, а что сообщает прозорливость, как не ненависть, коли нет любви. Хайдеггер одобрил бы меня. Идеи Хайдеггера при всем при том действовали на меня заразительно. Меня одолевали те же самые страсти, которые сообщают прозорливость. Любовь встречается так редко; ненависть же вездесуща, все равно как азот или углекислый газ. А что, если ненависть неотъемлема от самой материи и поэтому проникла в нашу плоть; а вдруг и кровь наша загорается от нее же? Нравственной холодности арктических масштабов я подыскал образное уподобление — та область Сибири, где живут коряки и чукчи, пустынная Субарктика, где жгучие, как огонь, морозы, — лучше края для трудовых исправительных лагерей не найти. Сложите все вместе, и вы поневоле придете к выводу, что идиллический образ Верджи Милетас — не что иное, как малодушное бегство от воцарившейся холодности.

Как бы там ни было, я мог бы сказать Соболю, что неосуществленную атомг* стольких лет ей не победить. Ведь в конце-то концов сильна как смерть любовь к той женщине, которая не стала твоей.

Но тем не менее я допускаю, что нет задачи серьезней, чем захватить зло в плен и обуздать его. Иначе ты вечно будешь пребывать в тревоге. И от его власти тебя не освободит и новое явление духа.

Но тут меня сморило.

Поутру на подносе с завтраком я обнаружил посланный мне мисс Родинсон со срочной почтой конверт. Мне не захотелось его вскрывать; в нем — как

* любовь (фр.).

знать — может содержаться сообщение о деловом мероприятии, а мне оно сейчас ни к чему. Я держал путь на Собор Дома инвалидов, чтобы встретиться с Шолемом, если ему удалось дотуда добраться. Организационный слет таксистов всего мира, на который приедут, как я вычитал в «Монд», что-то около двухсот делегатов из пятидесяти стран, откроется в одиннадцать часов. Я сунул конверт мисс Родинсон вкупе с бумажником и паспортом в карман.

Такси домчало меня до величавого купола, и я вошел. Дивный памятник церковной архитектуры, который начал возводить Брюан в XVII веке, а закончил Ардуэн Мансар в XVIII. Но его величие потрясло меня с перебоями. Случались перерывы, когда купол впечатлял меня не больше, чем рюмка для яиц, — до того я был взбудоражен, буквально свихнулся. Под мышками у меня пятнами расплылся пот. Горло пересохло — столько жидкости я потерял. Я пошел справиться, где марнские такси, и мне показали, в каком углу они стоят. Водители еще не начали собираться. Значит, мне теперь болтаться здесь с полчаса — не меньше, и я поднялся на второй этаж, чтобы обозреть сверху крипту *Chapelle Saint-Jérôme**. Ух ты! Вот это величие, вот это красота! А какие арки, колонны, скульптуры, фрески, и на них все плывет, все несется вскачь. И какой дивной мозаикой выложен пол! Мне хотелось приложиться к ней губами. А сверх того еще и скорбные слова Наполеона на Святой Елене:

* Часовни Святого Иеронима (*фр.*). Здесь в грандиозной крипте красного порфира покоятся останки Наполеона.

«Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine... в сердце этой нации, ce peuple Français*, который я так любил»... Теперь на Наполеона навалили тридцать пять тонн полированного порфира (если это, конечно, не ализарин) поистине римской пышности очертаний.

Спускаясь вниз, я вынул конверт от мисс Родинсон, прочел письмо Юнис — больше в конверте ничего не содержалось, и меня закачало так, словно я перебрал. Вот оно, третье желание Танчика: пусть я еще раз напишу судье Айлеру — походатайствую, чтобы ему разрешили отсидеть остаток срока не в тюрьме, а в заведении облегченного режима в Лас-Вегасе. Там, объясняла Юнис, надзор сведен до минимума. Утром тебя отпускают под расписку, на ночь под расписку же впускают. Днем ты сам себе хозяин, занимайся своими делами. Юнис писала: «Я считаю, что тюремный опыт оказался в высшей степени поучительным для моего брата. И так как он, что ни говори, человек незаурядного ума, он усвоил все, что могло дать ему заключение. Попробуй внушить это судье, только изложи по-своему».

Так вот изложу по-своему: огромная рыбина наверху величественной лестницы зашаталась — ее пьянила тьма, звал рев моря. Внутренний голос сказал ей: «Вот оно!» — и ее потянуло разинуть алую пасть и изорвать письмо зубами в клочья.

* «Я хочу, чтобы мой прах покоился на берегах Сены... французского народа...» (фр.)

Мне хотелось, в свою очередь, ответить Юнис: «Я тебе не родственник Шмендрик, я царь-рыба, мне дано выполнять желания, дана колоссальная власть».

Но вместо этого я разорвал послание Юнис на шесть, восемь, десять кусков, чуть успокоился и не швырнул их куда попало, а отправил в урну. Когда я добрел до места сбора, я чуть поутих, хотя до нормы мне было все еще далеко. Меня и заносило, и кидало из стороны в сторону.

В углу, где стояли марнские такси, собралась сотня с лишним делегатов, впрочем, к такой суматошной причудливой толпе слово «собралась» не очень-то применимо. Здесь были люди со всех концов земли. В кепках, мундирах, орденах, медалях, батиковых штанах, перуанских шапках, шальварах, жеваных индейских штанах, алых африканских хламидах, клетчатых шотландских юбках в складку, драпированных греческих юбках, сикхских тюрбанах. Сборище напоминало историческую Ассамблею ООН, на которой присутствовали Хрущев и Кастро, там я видел Неру в дивном белом одеянии, с красной розой в петлице и в чем-то вроде шапочки пекаря на голове, там, на моих глазах, Хрущев стащил ботинок и в ярости колотил им по трибуне.

И тут мне вдруг вспомнилось, как в моем детстве нас учили географии в чикагской школе. Нам выдавали серии книжечек «Наши родственники японские дети», «Наши родственники марокканские дети», «Наши родственники русские дети», «Наши родственники испанские дети». Я читал одну за другой эти тро-

гательные книжечки, где писалось про маленького Ивана и кроху Кончиту, и мое сердце переполняла любовь к ним. Да и могло ли быть иначе: нас столько всего сближает, нас же столько объединяет, что ни говори (так же как и Танчик, что ни говори, человек незаурядного ума). Мы не чужаки, макаронники, колбасники, мы родственники. Отличная концепция, и те из нас, чьи трепещущие сердца переполняла любовь к нашим родственникам во всем мире, рады были, как и я, жертвовать отпущенные на сласти центы на восстановление Токио после землетрясения двадцатых годов. В ответ на Пёрл-Харбор — а что нам оставалось делать — мы разбомбили Токио к чертовой бабушке. Вряд ли японских детишек снабжали книжечками об их маленьких американских родственниках. Чикагскому комитету по народному образованию и в голову не пришло об этом позаботиться.

На слет явились двое французских старцев, сильно за девяносто, обломков 1914 года. Их окружили, приветствовали наперебой. До чего же приятно на это смотреть, думал я, вернее, думал бы, не будь я так взвинчен.

Шолема я не увидел, как ни высматривал. Зря я не попросил мисс Родинсон позвонить по его чикагскому телефону, навести справки, но там непременно спросили бы, кто звонит да зачем. Я не жалел, что пришел в этот грандиозный зал. По правде говоря, мне никак не хотелось бы пропустить такой случай. Но я весь был нацелен на встречу с Шолемом. Я даже заранее обдумал, что ему скажу. Никак не мог сми-

риться с тем, что упустил его. Я выбрался из толпы, стал обходить ее кругами. Делегатов повели в зал заседаний, а я оперативно занял пост у двери. Красочные костюмы усугубляли неразбериху.

Как бы там ни было, нашел Шолема не я. Мне бы ни о чем его не найти. Чересчур он изменился — иссох. Усмотрел меня он. Старик, поддерживаемый молодой женщиной, как оказалось, дочерью, скользнул глазами по моему лицу. Остановился и сказал:

— Снов я вижу мало, поскольку мало сплю, но если у меня не галлюцинации, не иначе как это мой родственник Изя.

Да, да! Вот он, Изя! А вот Шолем! Он больше не походил на того постаревшего Шолема со сделанного на ходу снимка, того Шолема с глазами, скошенными вовнутрь под нависшими бровями. Он исчез, его осунувшееся лицо туго обтянула кожа, отчего он стал походить на себя в молодости. Сейчас он выглядел не таким обреченным и иступленным, как тот огнедышащий пророк на снимке. Мне почудилась в нем некая светлая наивность. Глаза у него стали невероятно большими — точь-в-точь такие глаза у новорожденных младенцев, когда они впервые являют нам *genio* и *figura*. И меня вдруг пронзила мысль: да что же я натворил? Как сказать такому человеку, что у меня есть для него деньги? Вот так прямо и выложить, что я достал деньги ему на похороны?

А Шолем говорил.

— Мой родственник! — сказал он дочери.

А мне сказал:

— Изя, ты живешь за границей? Ты получил мои письма? Теперь я понял: ты не отвечал, потому что хотел сделать мне сюрприз. Я сейчас буду выступать, приветствовать делегатов. А ты посиди с моей дочкой. Поговорим позже.

— Разумеется.

Я заручусь помощью его дочери; сообщу ей о помощи, которое дает экштайновский фонд. Она подготавливает отца к этому известию.

И тут силы разом оставили меня. Не слишком ли тяжелое бремя взваливает на нас жизнь? Я не забывал, наблюдал, изучал моих родственников, и это помогло мне и определить свою собственную сущность, и не изменить себе. Но по недосмотру я не включил себя в их число, а мне взяли и поставили это упущение в счет. Когда же счет предъявили, у меня подкосились ноги. Девушка, заметив, что я не могу идти дальше, потянулась взять меня под руку. Я чуть было не сказал: «Да вы что? Не нужна мне ваша помощь. Я до сих пор каждый день играю партию в теннис от начала до конца».

Но вместо этого я оперся на ее руку, и она повела нас обоих по коридору.

В связи с Белларозой*

Моему дорогому другу Джону Ауэрбаху

Хотя некоторые эпизоды этой повести идут от событий, имевших место в жизни, все персонажи в ней вымышленные — в них сочетаются черты разных лиц и игра воображения. Сходство с реальными людьми не входило в намерения автора, и искать его не следует.

Как основателю филладельфийского института «Мнемозина» — я отдал ему сорок лет жизни — мне пришлось натаскивать множество чиновников, политиков, руководителей оборонного комплекса, и теперь, уйдя на покой, я препоручил институт моему распорядительному сыну и хотел бы выбросить память из памяти. Утверждение в духе «Алисы в Стране чудес». На закате дней, когда все перчатки давным-давно брошены (или там мечи вложены в ножны), решительно не тянет заниматься тем, чем занимался всю жизнь:

* Bellarosa Connection. ©1989 by Saul Bellow.

«Иначе, иначе! Престол мой — только б жить иначе»*. Адвокат покидает своих подзащитных, врач — пациентов, генерал берется расписывать фарфор, дипломат принимается ловить на блесну. Но мне этот путь заказан: своим житейским успехом я обязан памяти, а это — природный дар, каверзное словечко «природный» намекает на скрытые источники всего поистине существенного. Бывало, я говаривал клиентам: «Память — это жизнь». Ловкий способ поразить воображение какого-нибудь ученика из членов Совета национальной безопасности, однако теперь он ставит меня в неудобное положение: ведь если сферой твоей деятельности была память, а она не что иное, как жизнь, отойти от дел можно лишь со смертью.

Есть в моем положении и другие трудности, которые нельзя скидывать со счетов: благодаря этому дару был заложен фундамент моего преуспевания, то есть доход от весьма осмотрительно помещенного энного количества миллионов и еще *ante bellum*** особняк в Филадельфии, меблированный моей покойной женой, докой по части мебели XVIII века. Так как я не из числа тех упрямых любителей подыскивать себе оправдание, которые отрицают, что зарыли свои таланты, и уверяют, что могут предстать «пред Господа»*** с чистой совестью, я неустанно напоминаю себе, что родился не в филадельфийском особняке с чуть ли не

* Измененная цитата из «Короля Ричарда III» У. Шекспира: «Коня, коня! Престол мой за коня» (пер. А. Дружинина).

** Перед войной (*лат.*). Здесь: предвоенный.

*** Ветхий Завет. Левит, 7:35.

шестиметровыми потолками, а вступил в жизнь отпрыском четы русских евреев из Нью-Джерси. Ходячая картотека вроде меня не может ни облагораживать свои истоки, ни подделывать историю своих ранних лет. Что и говорить, при тяге к самопересмотру, охватившей весь мир, любого может отнести в сторону от подлинных фактов. Например, европеизированные американцы в Европе напускают на себя фальшивую благопристойность на английский или французский манер и вносят в свои отношения с друзьями все усложняющую церемонность. Я не раз был тому свидетелем. Зрелище не из приятных. Поэтому, когда и меня подмывало приукрасить свою биографию, я задавался вопросом: «А как насчет Нью-Джерси?»

Проблемы, которые меня сейчас поглощают, так или иначе вращаются вокруг Нью-Джерси. И речь идет не о данных из блоков памяти какой-нибудь ЭВМ. Меня занимают страсть и тоска, а память чувств — это вам не ракетная техника или там валовой национальный продукт. Итак, перед нами покойный Гарри Фонштейн и его покойная жена Сорелла. Должно быть, они рисуются мне слишком хорошими и милыми, из чего следует, что они мне по милу хороши. А раз так, значит, мне надо для начала их нарисовать, затем решительно перечеркнуть и воспроизвести по-новому. Но это уже вопрос техники, все дело тут в разнице между воспоминаниями точными и эмоциональными.

Вот если вы жили бы в громадном особняке, где куда ни глянь комоды, драпри, персидские ковры, поставцы, резные камины, лепные потолки, плюс к

тому сад за высокой оградой, плюс ванна на мраморном возвышении с кранами, которые украсили бы и фонтан Треви, вы бы лучше поняли, почему для меня стали так много значить воспоминания о беженце Гарри Фонштейне и его ньюаркской жене.

Нет, Фонштейн не был бедным шлемазлом*, он преуспел в делах и зашиб немалые деньги. До моих филладельфийских миллионов ему, конечно, было далеко, но он очень даже недурно заработал для парня, который приехал в Америку через Кубу уже после войны, лишь в позднем возрасте начал заниматься отопительными системами, и к тому же еще и колченогого уроженца Галиции. Фонштейн ходил в ортопедическом ботинке, но это была не единственная его особенность. Волосы его, с виду негустые, на самом деле вовсе не были чахлыми, и пусть редкие, но крепкие, черные, лихо курчавились. Голова у него была до того несоразмерно большая, что человека менее стойкого могла бы и перекувырнуть. Его темные глаза были добрыми и притом пронзительными, что, наверное, объясняется лишь их постановкой. А может быть, и складом губ — не суровым и не то чтобы недобрым, но в сочетании с темными глазами он подкреплял такое впечатление. От этого иммигранта мало что могло укрыться.

Мы не состояли в кровном родстве. Фонштейн приходился племянником моей мачехе — я называл ее тетя Милдред (продиктованный любезностью эвфемизм: когда мой вдовый отец женился на ней, я

* растяпой (*идиш*).

был уже взрослым и во второй матери не нуждался). Чуть не всех родственников Фонштейна убили немцы. В Освенциме из-за ортопедического ботинка его с ходу отправили бы в газовую камеру. Какой-нибудь доктор Менгеле* ткнул бы офицерской тросточкой влево — и валяться бы фонштейновскому ботинку в лагерьном выставочном зале: там у них громоздится и груда ортопедических ботинок, и груда костылей, и груда бандажей, и еще одна — человеческих волос, и еще одна — очков. Все, что еще можно было пустить в дело в больнице или домашнем хозяйстве.

Гарри Фонштейн с матерью, сестрой тети Милдред, бежали из Польши. Каким-то образом им удалось добраться до Италии. В Равенне у них нашлись родственники, тоже из беженцев, которые как могли помогали им. Итальянских евреев уже начали прижимать: Муссолини признал Нюрнбергские расовые законы**. Мать Фонштейна, она болела диабетом, вскоре умерла, и Фонштейн отправился в Милан, он разъезжал с подложными документами, но времени даром не терял, старался как можно скорее выучить итальянский. Все это рассказал мне мой отец — у него была страсть к историям из жизни беженцев. В нем жила надежда, что я послушаю-послушаю, каково пришлось людям в Европе — а настоящая жизнь, она там и есть, — и встану на путь истинный.

* Нацистский преступник, врач, проводивший эксперименты на людях в лагерях смерти.

** По Нюрнбергским законам, принятым 15 сентября 1935 г., евреи были лишены прав гражданства. Эти законы стали юридическим обоснованием уничтожения евреев.

— Я хочу познакомить тебя с племянником Милдред, — как-то сказал мне мой старик — дело было в Лейквуде (штат Нью-Джерси) лет этак сорок назад. — Молодой совсем парень, может, еще моложе тебя. Приволакивает ногу, а вот же — удрал от нацистов. Только что с Кубы, прямо с парохода. Недавно женился.

Отец снова привлекал меня к суду по обвинению в американской ребячливости. Когда же наконец я войду в ум. Тридцать два года, а веду себя впору двенадцатилетнему мальцу, ошиваюсь в Гринвич-Виллидже, несолидный, никчемный, бездельничаю, путаюсь с девчонками из Беннингтоновского колледжа*, с утра до вечера треплюсь, дурак, об умном, в голове — ветер, и это основатель — сказал отец в комическом недоумении — института «Мнемозина», тоже мне заведение — попробуй его произнести, а заработать на нем и не пробуй.

Как любили повторять мои гринвич-виллиджские приятели: тысячи двухсот долларов в год вполне хватает, чтобы жить бедно или чтобы притворяться бедным, — еще одна распространенная в Америке забава.

Рядом с Фонштейном, который не погиб, хоть за ним гнались все силы зла в Европе, я выглядел хуже некуда. Но он был в этом не виноват, вдобавок Фонштейн очень облегчал мои визиты к отцу. Я лишь через воскресенья являлся засвидетельствовать свое почтение моим домашним в зеленый Лейквуд, близ

* Престижный частный женский колледж, основан в 1925 г.

Лейкхёрста, где под доносившиеся до земли вопли гибнущих пассажиров в тридцатые годы, прямо у рочковой причальной мачты, загоревшись, разлетелся на куски цеппелин «Граф Гинденбург».

Мы с Фонштейном по очереди играли с отцом в шахматы — он с легкостью обыгрывал нас обоих, безвольных соперников: мы, подобно кариатидам, несли на своих головах всю тяжесть воскресных дней. Порой Сорелла присаживалась рядом на диван, затянутый в прозрачный пластиковый чехол на молнии. Сорелла была девушка, виноват, дама из Нью-Джерси. Толстенная, сильно намазанная, щеки в пуху. Высоко взбитая прическа. Пенсне — удивлять так удивлять, явно своего рода личина — придавало ее наружности нечто театральное. Всего лишь дебютантка, она в ту пору проверяла действие этого реквизита. У нее была цель — произвести впечатление женщины властной и самоуверенной. При всем том она была вовсе не дура.

Фонштейн, мне кажется, родился в Лемберге. Жаль, что моего терпения не хватает на карты. Континенты, контуры государств я еще как-то представляю, что же касается конкретных населенных пунктов — тут я пас. Лемберг теперь называют Львовом, Данциг — Гданьском. Я никогда не был силен в географии. Мой главный капитал — память. Когда я кончал университет, на вечеринках я для понта запоминал, а потом длинными списками выдавал слова, которые выкрикивали двадцать человек разом. Вот почему я могу столько всякого нарасказать о Фонштейне, что еще вам на-

доем. В 1938 году немцы конфисковали в Вене капиталы его отца, ювелира, — отец этого не пережил. Когда разразилась война и нацистские парашютисты, переодетые монашками, посыпались из люков самолетов, фонштейновская сестра с мужем скрылись в деревне — обоих поймали, и они сгнули в лагерях, Фонштейн с матерью бежали в Загреб и в конце концов добрались до Равенны. Там же, на севере Италии, миссис Фонштейн и умерла, похоронили ее на еврейском кладбище, не исключено, что в Венеции. На этом юность Фонштейна кончилась. Беженцу в ортопедическом ботинке — ему приходилось рассчитывать каждый свой шаг.

— Он же не Дуглас Фербенкс, чтоб перемахивать через стены, — сказала Сорелла.

Я понимал, почему отец привязался к Фонштейну. Фонштейн сумел выжить, пройдя через самые страшные испытания за всю историю евреев. Он и по сей пору выглядел так, словно ничто, пусть даже самое страшное, не застигнет его врасплох. Производил впечатление человека незаурядной твердости. Разговаривая, он приковывал твой взгляд и не отпускал его. Это не располагало к пустой болтовне. И тем не менее в уголках его губ и глаз таился смех. Так что при Фонштейне как-то не хотелось валять дурака. Я определил его как типичного еврея из Восточной Европы. Он, очевидно, видел во мне несолидного, неуравновешенного американца еврейского происхождения, мало смыслящего в людях и беспредметно доброго:

новый в истории цивилизации тип, пожалуй, не такой плохой, как может показаться на первый взгляд.

Чтобы не погибнуть в Милане, ему пришлось по-быстрому выучить итальянский. Не желая терять времени даром, он приспособился говорить по-итальянски даже во сне. Позже, на Кубе, он выучил и испанский. Языки давались ему легко. По приезде в Нью-Джерси он вскоре бегло заговорил по-английски, но, чтобы убажить меня, время от времени переходил на идиш: для рассказа о его европейских перипетиях идиш подходил как нельзя лучше. Я не подвергался серьезной опасности в войну — служил ротным писарем на Алеутских островах. Вот почему я внимал Фонштейну, изогнувшись (наподобие епископского посоха; я был на голову выше его): ведь из нас двоих понюхать пороху довелось ему.

В Милане он работал на кухне, в Турине подносил в гостинице чемоданы, чистил башмаки. К тому времени, когда он перебрался в Рим, он дослужился до помощника консьержа. Немного погодя он уже работал на улице Венето*. В городе было полно немцев, Фонштейн же свободно говорил по-немецки, и его время от времени брали переводчиком. На него обратил внимание граф Чиано, зять Муссолини, министр иностранных дел.

— Так вы его знали?

— Я его знал, он меня не знал, по имени, во всяком случае. Когда он задавал приемы и не хватало

* Улица, на которой сосредоточены самые богатые магазины.

переводчиков, посылали за мной. Как-то раз он устроил банкет в честь Гитлера...

— Выходит, вы видели Гитлера?

— Вот и мой сынок говорит: «Папка видел Адольфа Гитлера». Я стоял на одном конце большого зала, Гитлер на другом.

— Он произнес речь?

— К счастью, я был далеко от него. Не исключено, что он и сделал какое-то заявление. Он поел пирожных. На нем была военная форма.

— Да, мне попадались фотографии приемов, на которых у него вид чинный-благородный, так что не подкопаешься.

— Скажу одно, — продолжал Фонштейн, — у него не было ни кровинки в лице.

— Не убил никого в тот день?

— При желании он мог убить любого, но не на приеме же. Я был счастлив, что он меня не заметил.

— Да и я, наверное, был бы ему благодарен, — сказал я. — К человеку, который мог бы тебя убить, но не убил, пожалуй что, можно проникнуться любовью. Жутковатой любовью, но тоже своего рода любовью.

— Он бы до меня все равно добрался. Все мои беды пошли с этого приема. Полиция устроила проверку документов, документы у меня были липовые — ну меня и замели.

Мой отец, поглощенный своими конями и ладьями, не поднял головы, зато Сорелла Фонштейн — она восседала весьма величаво, что вообще свойственно

дебелым дамам, — сняла пенсне (она переписывала кулинарный рецепт) и включилась в разговор — очевидно, ее мужу в этом месте нужна была поддержка.

— Его посадили в тюрьму.

— Понятно.

— Ничего себе понятно, — сказала моя мачеха. — Кто его спас, никому не угадать.

Сорелла — она преподавала в ньюаркской школе — сделала типичный учительский жест. Подняла руку, точно собиралась пометить галочкой предложение, написанное на доске учеником:

— Вот отсюда и начинаются чудеса. Вот тут-то и вступает в дело Билли Роз.

Я сказал:

— Билли Роз был в Риме? Чем он там занимался? Вы говорите о том самом Билли Розе с Бродвея? Приятеле Деймона Раньона*, муже Фанни Брайс**?

— Он ушам своим не верит, — сказала мачеха.

В фашистском Риме сын ее сестры, ее плоть и кровь, своими глазами видел на приеме Гитлера; Билли посадили в тюрьму. Он был обречен. Римских евреев вывозили на грузовиках за город и расстреливали в пещерах. Но его спасла нью-йоркская знаменитость, человек с именем.

— Уж не хотите ли вы сказать, что Билли руководил подпольной операцией в Риме? — спросил я.

* Деймон Раньон (1884—1946) — американский журналист и писатель.

** Фанни Брайс (1891—1951) — американская актриса, певица. Ее биография легла в основу фильма «Смешная девчонка».

— Какое-то время он возглавлял итальянскую подпольную организацию, — сказала Сорелла.

Вот тут-то мне и потребовалось посредничество кого-нибудь из американцев. Тетя Милдред английским владела весьма относительно, кроме того, она была нудная дама, неповоротливая во всех смыслах, полная противоположность моему отцу, торопыге и живчику. Милдред густо посыпала себя пудрой, подобно струделям своего изготовления. Никто не пек струделей лучше ее. Но, разговаривая, она опускала голову. У нее тоже была тяжелая голова. Так что пробор в ее волосах приходилось наблюдать чаще, чем лицо.

— Билли Роз сделал и много хорошего, — сказала она — руки ее покоились на коленях. По воскресеньям она нацепляла зеленое расшитое стеклярусом платье.

— Этот тип? Просто не верится! Тот самый, что без конца ставил «Водные феерии»*? Он спас вас от римской полиции?

— От нацистов. — И опять мачеха опустила голову. Вот и понимай как знаешь ее крашенные разделенные пробором волосы.

— Откуда вам это известно? — спросил я Фонштейна.

— Я сидел в одиночке. В те годы, похоже, все европейские тюрьмы были забиты до отказа. И вот как-то к моей камере подошел незнакомый человек, обратился ко мне через решетку. И ты знаешь, я по-

* Билли Роз ставил «Водные феерии» на выставке 1937 г. в Кливленде, на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 и 1940 гг. и на выставке в Сан-Франциско в 1940 г.

думал, не иначе как он от Чиано. У меня мелькнула такая мысль, потому что Чиано мог послать за мной в гостиницу. Он рядился в пышные мундиры, расхаживал, положив руку на заткнутый за пояс кортик, — что да, то да. Любил актерствовать, но мне казалось, что он не без понятий. Обхождение у него было приятное. Вот почему, когда тот малый остановился у моей камеры и уставился на меня, я подошел к решетке и спросил: «Чиано?» Он помахал пальцем и сказал: «Билли Роз». Я не мог взять в толк, что он имеет в виду. И одно это слово или два. Мужчина это или женщина? А итальянец передал мне такое распоряжение: «Завтра вечером, в то же время, твою дверь оставят открытой. Выйди в коридор. Все время поворачивай направо. Никто тебя не остановит. Тебя будет ждать в машине наш человек, он подбросит тебя к поезду на Геную».

— Быть того не может — этот пройдоха! Неужели у Билли была своя подпольная организация? — спросил я. — Небось посмотрелся на Лесли Хоурда в «Алом цветке»*.

— На следующий вечер тюремщик не замкнул мою дверь после ужина, и, когда коридор опустел, я вышел. Ноги у меня были как из ваты, но я понимал, что меня собираются депортировать, СС орудовало вовсю, поэтому я открывал одну дверь за другой, под-

* Лесли Хоурд (1893—1943) — английский актер и режиссер. В фильме «Алый цветок» (1935), поставленном по роману баронессы Окси (1865—1947), исполнил роль главы кружка молодежи, спасающей жертв террора во время Французской революции.

нимался, опускался и в конце концов очутился на улице, там меня уже поджидала машина — привалясь к ней, стояла, переговаривалась обыденными голосами кучка людей. Я подошел к машине, водитель втокнул меня на заднее сиденье и отвез в Трастевере*. Он снабдил меня новым удостоверением личности. Сказал, что меня не станут разыскивать: мое досье целиком выкрали из полицейской картотеки. На сиденье лежали приготовленные для меня пальто и шляпа, водитель дал мне адрес гостиницы в Генуе, на набережной. Туда за мной пришли. И переправили в Лиссабон на шведском пароходе.

Пусть теперь Европа пропадает пропадом без Фонштейна.

Мой отец искоса посматривал на нас — взгляд у него был на редкость зоркий. Он не первый раз слышал эту историю.

Со временем познакомился с ней и я. Знакомился я с ней по частям — все равно как с голливудским многосерийным фильмом, воскресным боевиком, где главные роли исполняли Гарри Фонштейн и Билли Роз, иначе говоря Беллароза. Ибо Фонштейн, когда он, трясясь от страха, прятался в генуэзской гостинице на набережной, знал его лишь под этим именем. По пути в Лиссабон, с кем бы из беженцев Фонштейн ни заводил речь о Белларозе, никто и слыхом не слышал о таком.

Когда дамы уходили на кухню, а отец удалялся с воскресной газетой к себе в берлогу, я пользовался

* В те годы Трастевере был районом бедноты.

случаем выведать у Фонштейна все новые подробности его приключений (хождений по мукам). Ему и в голову не могло прийти, ни что они будут занесены в картотеку памяти, ни что они послужат материалом для перекрестных ссылок на Билли Роза — одну из тех премало-многозначущих фигур, чье имя останется в памяти по преимуществу у летописцев индустрии развлечений. Покойный Билли, партнер воротил эпохи сухого закона, подручный Арнольда Ротштейна*; мультимиллионер Билли Роз, любимец Бернарда Баруха**, юный чудо-стенографист, которого Вудро Вильсон*** — стенография была его пунктиком — пригласил в Белый дом для обсуждения сравнительных достоинств систем Питмэна**** и Грегга*****; Билли — продюсер, супруг Элеоноры Холм*****, исполнявшей роль царицы русалок на Всемирной выставке в Нью-Йорке; Билли, собиратель полотен Матисса, Сёра и т. д. ... Билли, сплетник общенационального масштаба, чьи колонки распространялись газетным синдикатом по всей стране. Один из моих

* А. Ротштейн (1882–1928) — известный в Америке азартный игрок, был убит в отеле во время карточной игры.

** Б. Барух (1870–1965) — американский государственный деятель и финансист.

*** В. Вильсон (1856–1924) — президент США (1913 — 1921), лауреат Нобелевской премии мира 1919 г.

**** Айзек Питмэн (1813–1897) — англичанин, изобретатель стенографии.

***** Джон Роберт Грегг (1864–1948) — американский педагог, изобрел свою стенографическую систему.

***** Элеонора Холм (р. 1913) — американская актриса, пловчиха, играла Джейн в фильме «Мечь Тарзана».

гринвич-виллиджских дружков писал за него: на Билли работал целый штат литературных негров.

Вот какой он был, Билли Роз, спаситель Фонштейна.

Я однажды упомянул в разговоре об этом литературном негре — звали его Вольф, — и Фонштейн, по всей видимости, счел, что сможет через меня установить связь с самим Билли. Он, понимаете ли, так ни разу и не встретился с Билли. Очевидно, Билли не желал принимать изъятий благодарности от евреев, спасенных его бродвейской подпольной организацией.

Итальянские подпольщики, которые переправляли Фонштейна из города в город, помалкивали. Генуэзский подпольщик упомянул Белларозу, но вопросы Фонштейна оставлял без ответа. Я предполагал, что организацию итальянской операции Билли поручил бруклинской мафии. После войны англичане наградили орденами сицилийских гангстеров за участие в Соппротивлении. Фонштейн сказал, что на лицах итальянцев, когда они опасаются выдать тайну, проступают мельчайшие мускулы, в другое время совершенно незаметные. «Тот парень вскинул руки так, точно решил стибрить тень со стены и сунуть в карман». Вчера бандюга, сегодня — борец Соппротивления.

Фонштейн был *edel* — хорошо воспитан, это сказывалось во всем, но при том он был из тех евреев, которые сумеют за себя постоять. Порой он выглядел так, словно вырвался вперед в заплыве на сто метров брассом. И теперь хоть его режь, хоть стреляй, а побе-

дит. Чем-то он походил на своих мафиозных спасителей, чьи лица перекашивали обременявшие их тайны.

Пока он плыл через океан, он много думал о человеке, который вызволил его из Италии, его воображению рисовались всевозможные филантропы и идеалисты, готовые отдать последние деньги, лишь бы спасти своих соплеменников от Треблинки.

— Ну как я мог догадаться, что за человек — если это к тому же не комитет или, скажем, не союз Белларозы — меня спас?

Но нет, Билли и впрямь спас его в одиночку, в порыве жалости к своим собратям-евреям, решив потягаться с Гитлером, Гиммлером и натянуть им нос, похитив их жертву. В другой раз он так же страстно возжелает печеной картошки, сосисок с булкой, экскурсии по Кольцу*. Кое-что, однако, свидетельствовало, что поверхностному Билли были ведомы и глубокие чувства. Бог его отцов все еще много значил для него. Билли был пятнастый, все равно как картины Джексона Поллока**, и еврейство было одной из главных в нем струек, а в этой мешанине наблюдались и подтеки потаенного свойства — сексуальная слабость, сексуальная приниженность. И в то же время ему жизнь была не в жизнь, если его имя не мелькало в газетах. Кто-то сказал, что он так же неодолимо тянется к публичности, как росток к свету. И вот же

* Популярная экскурсия вокруг Манхэттена на пароходе.

** Джексон Поллок (1912–1956) — американский художник, глава абстрактного экспрессионизма, покрывал большие полотна узором из красочных пятен.

на-поди — свое участие в спасательных операциях в Европе он от всех утаил.

Затерявшись в толпе беженцев, плывущих в Нью-Йорк, Фонштейн думал: скольких, интересно, из них еще спас Билли. Чуть не все пассажиры по большей части помалкивали. Люди с опытом в итоге приучаются жить своим умом и не очень-то откровенничают. Фонштейн не знал покоя — все воображал, чем займется в Нью-Йорке. По ночам, рассказывал он, когда пароход качало, его — точно веревку с подвешенным грузом — то скручивало, то раскручивало. Он предполагал, что раз уж Билли спас такую уймищу народу, он наверняка позаботится о них. Фонштейн отнюдь не рассчитывал, что они соберутся вместе и будут лить слезы наподобие Иосифа и его братьев. Ничего похожего. Нет, их разместят в гостиницах, а не в гостиницах, так в старых санаториях, а не в санаториях, так в каких-то добросердечных семьях. Кое-кто наверняка пожелает податься в Палестину; большинство же отдаст предпочтение США, выучит английский, найдет себе работу на фабрике или поступит в техникум.

Но Фонштейн застрял на Эллис-Айленде. В ту пору беженцев в страну не пускали.

— Кормили нас хорошо, — сказал он. — Спал я в зарешеченном бункере, на верхних нарах. Оттуда был виден Манхэттен. Но мне сказали, что хочешь не хочешь, а придется уехать на Кубу. Я все еще не знал, кто такой Билли, но надеялся на его помощь. И через несколько недель «Роз продакшнз» прислало одну

тетку — переговорить со мной. Одеты она была на манер молоденькой — губы накрашены, высоченные каблочки, сережки, шляпка. Ноги как палки, с виду актриса из еврейского театра, которую вот-вот переведут на возрастные роли, жалкая, убитая. Себя она именovala *dramatisten**, ей шел по меньшей мере шестой десяток. Она сказала, что мое дело передано в Еврейское общество помощи иммигрантам. Они обо мне позаботятся. И чтобы я больше не рассчитывал на Билли Роза.

— Вас, должно быть, это выбило из колеи?

— Еще бы. Но меня так разбирало любопытство, что оно пересилило огорчение. Я спросил у нее, кто он такой, этот человек, который меня спас. Сказал, что хотел бы лично выразить благодарность Билли. Она отмахнулась. Вот уж решительно ни к чему. Сказала: «Разве что после Кубы». Я увидел — она не верит, что такое возможно. Я спросил: «Наверное, он печется не обо мне одном?» — «Печется-то он печется, но в первую очередь о себе самом: из-за цента удавится. Он очень знаменитый, несметно богатый, купил театр у Зигфелда**, его имя не сходит со страниц газет. Что он за человек? Плюгавый, жадюга, ушлый. Платит нищенское жалованье своим служащим, они его смертельно боятся. Пижон каких мало, просиживает ночи напролет в кафе. Может звонить губернатору Дьюи, когда ему заблагорассудится».

* драматической актрисой (*идиш*).

** Флоренц Зигфелд (1867—1932) — американский продюсер.

Так она сказала. И еще сказала:

«Он платит мне двадцать две монеты в неделю, и если я только заикнусь о прибавке, выставит меня в два счета. Ну и что я буду делать, что? Второй авеню* пришел конец, на еврейском вещании талантов пруд пруди. Если бы не хозяин, сгинуть бы мне в Бронксе. А так по крайней мере я работаю на Бродвее. Но ты ж здесь без году неделя, ничего в наших делах не смыслишь».

«Если бы он не спас меня от депортации, я бы погиб вслед за всеми моими родственниками. Я обязан ему жизнью».

«Похоже на то», — согласилась она.

«Но разве не естественно было бы проявить интерес к человеку, которому ты спас жизнь? Ну хоть взглянуть на него, пожать ему руку, сказать пару слов?»

«Было бы то оно было, да быльем поросло», — сказала она.

— Мне постепенно стало ясно, — сказал Фонштейн, — что она очень больна. Скорее всего туберкулезом. И белая она была не от пудры, а сама по себе. Ну все равно как лимон — желтый. Я-то думал, это она так набелилась, а это смерть так оповещала о себе. Туберкулезники часто бывают нетерпеливые, раздражительные. Звали ее миссис Хамет — *khomet*, на идиш это значит хомут. Она, как и я, родилась в Галиции. Мы и говорили похоже. Бубнили наподобие китайцев. У тети Милдред был такой же выговор — потеха для других евреев, а в еврейском мюзик-холле и вовсе умора.

* Улица в Нью-Йорке, где помещались еврейские театры.

«Хиас* достанет вам работу на Кубе. Они о вас, ребятах, пекутся дай Бог всякому. Билли считает, что война вступает в новую фазу. Рузвельт стоит за короля Сауда**, а арабы на дух не переносят евреев и не пускают их в Палестину. Вот почему Билли переменял тактику. Он с друзьями теперь фрахтует пароходы для беженцев. Румынское правительство будет брать за места на них по пятидесяти долларов с головы, а евреев там аж семьдесят тысяч. Деньжищ огребут — страшная сила. Но надо торопиться: нацисты вот-вот захватят Румынию».

Фонштейн рассуждал весьма здраво:

— Я объяснил ей, что могу быть полезным. Я говорю на четырех языках. Но ей осатанели просители, пытающиеся влезть без мыла со своей паршивой благодарностью. Что и говорить, приемчик не из новых. — Фонштейн встал, каблук на его зашнурованном башмаке был высоченный, сантиметров в десять. Он красноречиво передернулся — и обошелся при этом без рук: не вынул их из карманов. Лицо его на миг приобрело сходство с лицом великого человека за стеклом музейной витрины, подсвеченным в полутемном зале так, что его восковая бледность кажется шероховатой, будто по камню пошли мурашки, — неожиданный эффект. Вот только славных дел Фонштейн не совершал, и выставлять напоказ его было не за что. Ничего примечательного в нем не наблюдалось: мужчина как мужчина.

* Еврейское общество помощи иммигрантам.

** Ибн Сауд (1880—1953) — король Саудовской Аравии (1932—1953).

Билли не желал его благодарности. Сначала проситель обхватывает твои колени. Потом умоляет одолжить малую толику денег. Ему нужны подаяние, штаны, угол, где приклонить голову, талон на обед, небольшой капитал, чтобы открыть свое дельце. Благодарность — нож острый для благодетеля. Вдобавок Билли был очень привередлив. В принципе он был расположен к людям, но приходил в ярость, если его хотели употребить в своих целях.

— Я в жизни не был в Манхэттене, что я тут мог понять, что? — говорил Фонштейн. — Я давал волю самым диким фантазиям, но что в них толку? Нью-Йорк — плод коллективной фантазии миллионов. И своим умом много ты в нем поймешь.

Миссис Хомут (не иначе как ее предки были даже не кучерами, а извозчиками на той, бывшей родине) предупредила Фонштейна:

«Билли не хочет, чтобы вы упоминали его в разговорах с Хиасом».

«В таком случае как же я очутился на Эллис-Айленде?»

«Сочините любую байку, скажите, что одна итальянка втюрилась в вас, стащила у мужа деньги и купила вам документы. Но они никоим образом не должны выйти на Билли».

Вот тут отец и сказал Фонштейну:

— Я тебе поставлю мат в пять ходов.

Не увлекай моего отца так людские дела, из него бы вышел математик. Но напряженно думать он готов

был лишь ради победы. Если же не надо было одолеть противника, отец не стал бы и стараться.

У меня тоже есть свой способ пробы сил. Для меня поле боя — память. Однако память у меня уже не та, что прежде. Я не страдаю болезнью Альцгеймера* — *absit omen!*** или *nicht da gedacht!**** Клетки памяти у меня не склерозировались. Но мозг мой стал более неповоротлив. К примеру, как звали того типа, на которого Фонштейн работал в Гаване? Когда-то мой мозг мгновенно выдавал подобную информацию. Ни одной электронной системе было не сравниться со мной. Сейчас на меня временами находит затмение, я двигаюсь на ощупь. Ага, слава Тебе, Господи, всплыло, фамилия кубинского хозяина Фонштейна была Залкинд, и Фонштейн собирал материалы для его газеты. По всей Южной Америке открывались еврейские газеты. Евреи разыскивали уцелевших родственников в западном полушарии, изучали публикуемые в газетах списки. Перемещенных лиц часто сплавляли в район Карибского моря и в Мексику. Фонштейн к польскому, немецкому, итальянскому и идишу, которыми владел, быстро добавил испанский. По вечерам он не торчал в барах и облюбованных беженцами кафе, а ходил на курсы механиков. Гавана была курортом — туристы съезжались туда резаться в карты, пить, блудить, — а плюс к тому еще и абортариум. Бедные брошенные девчонки стекались сюда со

* Предстарческим слабоумием.

** Да не послужит дурным знаком! (*лат.*)

*** Да минует это тебя! (*идиш*)

всех Соединенных Штатов, чтоб освободиться от нежелательных последствий своих романов. Другие, более дальновидные, прилетали приглядеть себе среди беженцев мужа или жену. Найти себе пару — основного человека европейского опыта, закаленного в страданиях и лишениях. Чудом спасшегося от смерти. Женщины, на которых не было спроса ни в Балтиморе, ни в Канзас-Сити, ни в Миннеаполисе, благонравные девицы, которым никто никогда не предлагал руки и сердца, подыскивали себе мужей в Мексике, Гондурасе и на Кубе.

По прошествии пяти лет хозяин Фонштейна счел, что он выдержал проверку, и послал за Сореллой — она приходилась ему племянницей. В юности я никак не мог себе представить, чем Фонштейн и Сорелла привлекли друг друга при первом знакомстве. В Лейквуде, когда бы мы ни встречались, на Сорелле неизменно был строгий костюм. Когда она клала ногу на ногу и юбка общелкивала ее окорока, американец вроде меня легко мог нарисовать — и рисовал ее себе — нагишом и в зависимости от жизненного опыта и знакомства с живописью соотносил с излюбленным тем или иным художником типом. Мысленно рисуя Сореллу, я выбрал ориентиром рембрандтовскую Саскию, предпочтя ее рубенсовским обнаженным. Впрочем, и Фонштейн, когда он снимал ортопедический ботинок... тоже был далек от совершенства. Словом, муж и жена должны прощать друг другу недостатки. Мне кажется, я, как и Билли Роз, скорее остановил бы свой выбор на русалках, дорелеях и хо-

ристках. У восточноевропейских мужчин были более трезвые запросы. На месте отца мне, прежде чем лечь в постель с тетей Милдред, пришлось бы сотворить крестное знамение перед ее лицом (пусть это и не вполне уместно в моем случае), произнести какое-то заклятие, иначе б меня заколодило. Но дело в том, что я был не мой отец, а его балованный американский сын. Наши же предки не отступали перед трудностями и ложились в постель, не взирая на лица, понимая, что с лица не воду пить. Что же до Билли, который со спущенными штанами гонялся за девчонками, приходившими к нему на прослушивание, что бы ему остановить свой выбор на миссис Хомут. Он бы простил ей обвисшие буфера и разбегающиеся ручейками вены на ногах, она простила бы ему стыд и срам, а не срамные места, и они могли бы объединить свои юдольные судьбы, быть опорой друг другу в радости и в печали.

Тучность Сореллы, ее высоко взбитая прическа, несуразное пенсне — нарочитая «дамистость» — заставляли меня задаваться вопросом: как трактовать таких особ? Кто они: мужчины в женской одежде, прикидывающиеся женщинами педики?

Вот к какому ложному выводу пришел мальчик из буржуазной семьи, сам себя относивший к просвещенной богеме. Меня увлекал волнующий мир Гринвич-Виллиджа с его изысками.

Я не понял, совершенно не понял Сореллу, но в ту пору моя порочная теория в какой-то степени нашла поддержку в рассказах Фонштейна о его приключении-

ях. Он излагал, как отплыл из Нью-Йорка и отпра-
вился работать на Залкинда в Гавану, зубрил тем вре-
менем испанский, изучал рефрижераторные и
обогревательные установки на вечерних курсах.

— Пока не встретил американскую девушку, она
приехала туда погостить.

— Вы встретили Сореллу. И влюбились в нее?

Когда я заговорил о любви, Фонштейн проткнул
меня колючим, типично еврейским взглядом. Как раз-
граничить любовь, необходимость и расчет?

Люди с опытом — к чему я никак не могу привык-
нуть — не склонны откровенничать. И верно делают, во
всяком случае, те из них, кто не собирается выходить за
рамки опыта. Но Фонштейн принадлежал к еще более
высокому классу — тем, кто не ограничивается опытом,
а способен подняться на следующую ступень; на этой
следующей ступени они задаются целью — перерабо-
тать свои недочеты и тайные слабости в энергию горе-
ния. Человек же высшего класса, подобно звездам, живет
за счет сжигаемого им вещества. Но я удалился от Фон-
штейна, зачем-то отвлекся в сторону. Сорелле нужен
был муж, Фонштейн хотел натурализоваться в США.
*Mariage de convenance** — вот как мне представлялся их
союз.

И почему так: чем больше промахнешься, тем боль-
ше гордишься своими выводами?

Фонштейн поступил работать на завод в Нью-Джер-
си, который взял субподряд на производство деталей
обогревательных приборов. Пошел там в гору — рабо-

* Брак по расчету (*фр.*).

тать он был горазд, быстро выучил английский, свой шестой язык. И в самом скором времени уже разъезжал на новеньком «понтиаке». Тетя Милдред говорила, что «понтиак» — свадебный подарок Сореллиной семьи.

— У них просто камень с души свалился, — рассказывала Милдред. — Еще пару лет, и Сорелла уже не могла бы родить.

Фонштейны успели произвести на свет одного ребенка, сына Гилберта. Говорили, что у него феноменальные способности к математике и физике. Несколько лет назад Фонштейн обратился ко мне за советом — речь шла об образовании его сына. К тому времени у Фонштейна уже водились деньги, и он мог послать мальчика в самую дорогую школу. Фонштейн усовершенствовал термостат, запатентовал его и разбогател, что без Сореллы ему никогда бы не удалось. Сорелла была сумасшедшая жена. Без нее, говорил мне Фонштейн, он бы получил патент после дождичка в четверг.

— Компания как пить дать облапошила бы меня. Сегодня перед вами был бы совсем не тот человек.

Тут я пригляделся к тому Фонштейну, который стоял передо мной. Итальянская рубашка, французский галстук, английский ортопедический ботинок, изготовленный по заказу на Джермин-стрит. Каблук такой, что хоть фламенко отплясывай. Сравнить его и тот польский, грубо стачанный ботинок, в котором Фонштейн прощкандыбал через всю Европу и бежал из римской тюрьмы, — да это же небо и земля. С тем

ботинком Фонштейн, убегая от нацистов, не расстался даже на ночь: если б ботинок украли, его бы тут же поймали и убили на месте. Эсэсовцы не потрудились бы даже загнать его в товарняк.

То-то порадовался бы его спаситель Билли Роз, если б увидел нынешнего Фонштейна: розовая итальянская рубашка с белым воротничком, галстук с улицы Риволи, завязанный под руководством Сореллы, заграничный пиджак небрежного покроя, отличный цвет лица, уже не сероватого, а формой и цветом в спелый гранат.

Однако Билли и Фонштейн так никогда и не встретились. Фонштейн поставил себе цель увидеться с Билли, но Билли никогда не увиделся с Фонштейном. Письма Фонштейну возвращали. Иногда к ним прилагались записки, но ни одна из них не была написана Билли. Мистер Роз желает Гарри Фонштейну всего наилучшего, но принять его в настоящее время не может. А когда Фонштейн послал Билли чек, приложив к нему благодарственное письмо с просьбой передать деньги на благотворительность, чек возвратили, не удостоив Фонштейна ответом. Фонштейн явился к Билли в контору и получил от ворот поворот. А когда Фонштейн попытался было подойти к Билли у «Сарди»*, его перехватил официант. У «Сарди» не разрешали докучать именитым посетителям.

Видя, что к Билли не прорваться, Фонштейн забубнил со своим галицийско-китайским выговором:

* Нью-йоркский ресторан, популярный в театральных кругах.

— Я хочу сказать, что я из тех, кого вы спасли в Италии.

Билли отвернулся к перегородке своей кабинки, а Фонштейна выволокли на улицу.

Год за годом он засыпал Билли длинными письмами: «Я ничего от Вас не хочу, даже пожать Вашу руку не хочу, хочу хоть минуту поговорить и получить ясность».

Об этом еще в Лейквуде рассказала мне Сорелла, пока Фонштейн с моим отцом застыли в трансе над шахматной доской.

— Роз, с его вывертами, не хочет видеть Гарри, — сказала Сорелла.

На что я заметил:

— Хоть убей, не пойму, почему Фонштейну так важно встретиться с Билли Розом. Билли Роз не желает его знать? Не желает, и не надо.

— Потому что Гарри хочет выразить ему благодарность, — сказала Сорелла. — Ему нужно только сказать спасибо.

— А этот взбесившийся пигмей решительно не желает видеть Гарри.

— Ведет себя так, словно никакого Гарри Фонштейна не было и нет.

— Почему, как вы думаете? Боится чувствительных сцен? Считает, что все это — еврейские штучки? Такой, можно сказать, на все сто американец, и это уронит его в собственных глазах? А что думает ваш муж?

— Гарри думает, что причиной всему перемены, которые происходят в отпрысках иммигрантов, — сказала Сорелла.

И сегодня помню — я онемел от ее ответа. Я и сам часто не без неловкого чувства думал об американизации евреев. Начнем хотя бы с внешности. В моем отце было 165 сантиметров роста, во мне — 185. Отцу мой рост представлялся чем-то вроде ненужной роскоши. Возможно, причины такого отношения коренились в Библии, ибо царь Саул, который «от плеч своих был выше всего народа»*, стал *vegtuckt*, то есть безумным, и нашел свою погибель. Пророк Самуил предупреждал израильтян, чтобы не ставили над собой царя, и «Господь от Саула отступил»**. Вот почему еврею надлежало быть не долговязым, а ладно скроенным, сильным, но некрупным. А главное, ловким и сметливым. Таким был мой отец, и ему хотелось, чтобы таким же был и я. К чему такой высоченный рост; грудь и плечи у меня были слишком широкие, ручки слишком большие, рот до ушей, черные усы щеткой, голос слишком громкий, растительность слишком обильная, на нелепых — вырви глаз — рубашках слишком много красных и серых полос. Угораздило же дурака так вымахать. Что такое сын-великан? Это же угроза, это же отцеубийца. Вот Фонштейн, пусть у него одна нога и короче другой, всем удался: складный, подтянутый, рассудительный, смысленый. Гитлеризм подстегнул его развитие. Когда теряешь отца в четырнадцать лет, детству тут же приходит конец. Он похоронил мать на чужеземном кладбище, второпях, даже оплакать не успел, попался с подложными документами, загремел

* Первая Книга Царств, 10:23.

** Первая Книга Царств, 18:12.

в каталажку (как говорят евреи — «Er hat gesessen»). Перенес много горя. У него нет времени на трепотню, дурацкие хиханьки да хаханьки, на глупости и спорт, он не станет лезть в бутылку, раскисать как баба, распускать нюни как младенец.

Я, естественно, не соглашался с доводами отца. Мои сверстники выше ростом, потому что нас лучше кормили. Более того, нас меньше ограничивали, нам предоставляли больше свободы. На нас воздействовал более широкий круг идей, нам, детям великой демократической страны, воспитанным в духе равенства, никакие там черты оседлости не мешали жить в свое удовольствие. О чем говорить, вплоть до конца прошлого столетия римских евреев запирали на ночь; раз в год папа торжественно переступал границы гетто и, согласно ритуалу, плевал на лапсердак главного раввина. Уж не пошли ли у нас здесь головы кругом? Безусловно, да. Зато здесь нас никто не отправит в товарняках в концентрационные лагеря и газовые камеры.

Над этим можно думать и думать, но, сколько ни думай, ни размышляй над историей вопроса — делу не поможешь. Размышления ничего не решают. Идея, какая бы то ни было, не более чем воображаемая сила, грибовидное облако (ничего не разрушающее, но и ничего не создающее), порождение ослепительной вспышки сознания.

Билли Роз тоже был небольшого росточка, примерно с Петера Лорре*. Зато он был американец, и

* Петер Лорре (1904—1964) — немецкий актер, переехавший в годы фашизма в Америку.

еще о-го-го какой! Билли был неотъемлем от лязга ярмарочных автоматов, треска тиров, грохота китайских бильярдов и слабого, совсем человеческого писка гекконов на Таймс-сквер*, немигающих глаз уродцев из дивертисмента. Чтобы увидеть Билли, как он есть, его надо было представить на фоне Бродвея, сверкающего побелкой под утренним солнцем. Но даже и в местах, подобных этим, есть свои гиганты, люди, чьи недостатки можно пустить в оборот. В этой стране нет таких вещей, пусть даже самых диких, которые нельзя было бы сбить, нельзя было бы выбросить на рынок и сколотить на них состояние. А когда у тебя столько недвижимости, как у Билли, и всё капитальные приобретения, не ерунда какая-нибудь, тогда никто и не вспомнит, что ты из тех человекоподобных тварей, которые перекочевали из нижнего Ист-Сайда** в пригороды подкормиться промасленными бумажками из-под бутербродов. Билли? Да, Билли обштопал таких великих безумцев, как Роберт Мозес***. Он приобрел зигфелдовский театр втридешева. Купил для Элеоноры Холм особняк, увешал его стены шедеврами. И не остановился на достигнутом. В феодальной Ирландии говорили, что «гордый человек красив»

* Район Нью-Йорка на пересечении 43-й и 47-й улиц, где сосредоточены театры.

** Еврейский район Нью-Йорка. Здесь расположены еврейские театры, газеты и т. д.

*** Роберт Мозес долгое время заведовал парками Нью-Йорка.

(Парнелл у Йейтса)*, но среди нью-йоркских знаменитостей Билли вполне мог сойти за красавца уже потому, что о его обаянии трубили влиятельные журналисты Джордж Сокольский**, Уолтер Уинчелл***, Леонард Лайонс**** и сам Полночный Эрл, ну и конечно же, его голливудские приятели и завсегдатаи модных ночных клубов. Куда ни сунься в Нью-Йорке, повсюду наткнешься на Билли. Да о чем говорить, он же и сам вел колонку, а агентства печати продавали ее чуть не во все газеты страны. И хотя писали за Билли литературные негры, стратегию определял он, и ни одно их слово не могло проникнуть в печать без его ведома.

Вскоре Фонштейн знал все дела Билли куда лучше, чем знал или хотел знать я. Но в конце концов Билли его спас: освободил из тюрьмы, заплатил за проезд в Геную, поселил в гостинице, добыл место на пароходе нейтральной страны. Самому Фонштейну ничего подобного не удалось бы, да он никогда этого и не отрицал.

* Строка из стихотворения Уильяма Б. Йейтса (1865–1939): «Эй, парни, эй, сюда, о Парнелле споем» (пер. Г. Кружкова). Чарльз Стюарт Парнелл (1846–1891) — вождь движения за гомруль (home rule) в Ирландии.

** Джордж Сокольский (1893–1962) — американский журналист, автор книг о русской революции и революции в Китае.

*** Уолтер Уинчелл (1897–1972) — актер, театральный критик и журналист.

**** Леонард Лайонс (р. 1906) — известный обозреватель, помощник генерального прокурора (1954–1959).

— Конечно, — сказала Сорелла, сопровождая слова жестами, которые бывают лишь у дам весом за центнер: ведь их тонкость базируется на сверхъестественной толщине заде, — хотя мой муж больше не пытается встретиться с Билли, он по-прежнему испытывает к нему благодарность и никогда не перестанет ее испытывать. Ему в высшей степени присуще чувство собственного достоинства, но он человек проникательный и в конце концов уяснил, что представляет собой этот тип, которому он обязан своим спасением.

— Его это расстроило? Огорчило, что его спас от смерти шут гороховый?

— Не стану отрицать, временами его это тяготит.

Что-что, а поговорить с ней, с Сореллой то есть, было интересно. Вскоре я уже с нетерпением ожидал, когда мне предоставится случай побеседовать с ней, и не только из-за того, что узнавал от нее, но и из-за того, что и тема разговоров сама по себе стала меня интересовать. Вдобавок я как-то упомянул, что я — приятель Вольфа, одного из негров Билли, и не исключено, что Сорелла надеялась использовать меня для своих целей. Неровен час, Вольф возьмет да и переговорит с Билли. Я напрямик выложил Сорелле, что Вольфу ничего подобного и в голову не придет.

— Вольф этот, — сказал я, — свихнутый, мозгляк, вечно западает на громадных девах. Умный, и даже очень. День напролет болтается в «Бёрдленде»* и в

* Джазовый клуб, назван в честь знаменитого саксофониста Чарльза Паркера (1920—1955) по прозвищу Бёрд (Тюремная Пташка).

отпаде от бродвейских уродцев. В довершение всего он еще из питомцев Йеля, интеллектуальных бандюг, — во всяком случае, так ему нравится о себе думать; вечно носится со своими закидонами, обожает, что называется, заглянуть в бездну. К примеру, его мамаша прибирается у него за деньги. Недавно я был у него, смотрю, женщина на коленях скребет пол в его закутке, а он вдруг возьми да и скажи: «Знаешь, кто эта старуха, — моя мать».

— Любимый сынок? — спросила Сорелла.

— Единственный, — сказал я.

— Она, должно быть, любит его до смерти.

— Нисколько не сомневаюсь. Но так он понимает, что значит заглянуть в бездну. Хотя вообще-то, в сущности, он вполне приличный парень. Ему все равно приходится ее содержать, так почему бы не сэкономить десятку на уборке? Ну и помимо того заработать себе репутацию человека с вывертами, для которого нет ничего святого. Он хочет стать Томасом Манном научной фантастики. Вот к чему он на самом деле стремится, так он говорит, а на Бродвее он просто халтурит. Он резвится вовсю, когда сочиняет статейки для Билли, всаживает в них фразочки типа: «Я у этого дуба столько дубов выну, что он даст дуба».

Сорелла слушала, улыбалась, но не делала вид, будто ей знакомы эти сомнительные персонажи, их жаргон или обычаи, сексуальная жизнь Гринвич-Виллиджа или неряшество бродвейских нравов. Она повернула разговор обратно к спасению Фонштейна и истории евреев.

У нас с Сореллой нашлось много общего, и вскоре я уже болтал с ней не таясь, как если бы болтал в Виллидже, скажем, с Полом Гудменом* в «Касбе», а не с замшелой толстухой из темного как ночь, закосневшего в мещанстве Нью-Джерси, годной лишь на то, чтобы передать генетическую эстафету и произвести в следующем поколении мужа науки. Она сделала приличную («жалкую») партию. Но так или иначе, она была сумасшедшей женой, сумасшедшей матерью. С особой, которая запатентовала фонштейновский термостат, набрала денег на небольшой заводик (небольшой он был лишь поначалу) и одновременно воспитала сына, притом ни больше ни меньше как математического гения, нельзя было не считаться. Человек сильных чувств, она умела и думать. Эта закованная в английский костюм дама знала на удивление много. Я вовсе не был склонен рассуждать с ней о еврейской истории, поначалу меня от этого корежило, но ей удалось преодолеть мое сопротивление. Она поднаторела в этом вопросе, и помимо всего прочего, можно ли, черт подери, отмахнуться от еврейской истории после того, что случилось в нацистской Германии? Так что я пусть нехотя, но слушал ее. Оказалось, что Сорелла — недаром она жена беженца — задалась целью доскональнейшим образом изучить этот предмет, и я узнал от нее много нового о технике уничтожения, поставленной на индустриальные рельсы. Порой, пока Фонштейн и отец в трансе тарасились на шахматную доску,

* Пол Гудмен (1912–1972) — американский писатель, педагог.

она рассказывала о черном юморе, фарсовой стороне некоторых концлагерных мероприятий. Учительница французского, она изучала и Жарри*, и «Короля Убю», и патафизику**, и абсурдизм, и дадаизм***, и сюрреализм. Кое-где в концлагерях господствовал настолько бурлескный стиль, что подобного рода сопоставления просто-таки напрашивались. Узников заталкивали нагишом в болота, заставляли квакать по-лягушачьи. Детей вешали, а тем временем оголодавших, окоченевших заключенных — рабов, в сущности, — выстраивали перед виселицами под звуки тюремного оркестра, наявивавшего вальсы из венских опереток.

Мне не хотелось этого слушать, я нетерпеливо прервал Сореллу:

— Согласен, не один Билли Роз спец по развлечениям. Значит, немцы тоже их не чуждались, и спектакль в Нюрнберге будет помасштабней того действия, которое

* Альфред Жарри (1873–1907) — французский писатель, драматург, автор сатирического фарса «Король Убю» (1896), написанного для театра марионеток.

** Изложение патафизики, иначе говоря, науки мнимых решений, закрепившее за Жарри репутацию последовательного абсурдиста в посмертно опубликованном произведении Жарри «Поступки и взгляды доктора Фостроля». Жарри оказал влияние на многих писателей от Аполлинера до нынешних драматургов-абсурдистов.

*** Дадаизм — направление в литературе и искусстве Западной Европы (Франция, Германия); возник в 1916 г. Дадаисты любили эпатировать публику скандальными выступлениями, импровизированными спектаклями. К 1923 — 1924 гг. дадаизм раскололся на экспрессионизм (Германия) и сюрреализм (Франция).

Билли Роз поставил в Мэдисон-сквер-гарден, его пре-
словутых живых картин «Мы пребудем вовеки».

Я понял Сореллу: ее изыскания имели цель по-
мочь мужу. Он остался в живых, потому что бзикну-
тому еврейчику, финансировавшему искусство, вдруг
втемяшилось в голову организовать похищение на гол-
ливудский манер. Меня призвали размышлять на при-
мерно такие темы: может ли смерть быть смешной?
Или — кто смеется последним? Но я ни за что не
поддавался. Вот еще, сначала они тебя убивают, а по-
том изволь осмыслий их зверства. Такое может и уду-
шить. Выискивать причины — не слишком ли страшная
нагрузка в придачу к предшествовавшей «селекции»,
смерти в газовых камерах, топках крематориев. Я не
желал думать об исторических и психологических кор-
нях этих кошмаров, о душегубках и топках. Ведь и звез-
ды — тоже не что иное, как ядерные топки. Подобные
размышления не для меня; бесцельные экзерсисы —
вот что они такое.

И еще один совет я дал — мысленно — Фонштей-
ну: забудь все. Американизируйся. Занимайся своим
делом. Торгуй своими термостатами. Предоставь тео-
ретические изыскания жене. У нее есть к этому склон-
ность, у нее соответственный склад ума. Если ей
нравится собирать книги об истреблении евреев во
Второй мировой войне и размышлять о нем, почему
бы и нет? А вдруг она и сама возьмет да и напишет
книгу о нацистах и индустрии развлечений. Смерть и
коллективная фантазия.

У меня же зародилось подозрение, что в Сореллиной толщине тоже отчасти материализовалась фантазия. В плане биологическом валы и загогули ее телес производили сильнейшее впечатление. По сути же своей она была женщина положительная, всецело преданная мужу и сыну. Никто не отрицал таланта Фонштейна; однако мозговым центром деловых операций была Сорелла. Впрочем, Фонштейн и без моих советов догадался американизироваться. Из четы с приличным достатком они объединенными усилиями превратились в настоящих богачей. Приобрели дом к востоку от Принстона*, ближе к Атлантическому океану, пеклись об образовании сына, а летом, когда он уезжал в лагерь, путешествовали. Сорелла, некогда преподавательница французского, любила ездить в Европу. Более того, ей пофартило найти себе мужа родом из Европы.

В конце пятидесятых годов они поехали в Израиль, и волею судеб дела привели в Израиль и меня. Израильтяне — а у них по части культуры чего только не было — пригласили меня открыть у них институт памяти.

И тут-то в вестибюле «Царя Давида» я и столкнулся с Фонштейнами.

— Сто лет тебя не видел, — сказал Фонштейн.

И правда, я переехал в Филадельфию и женился на девице из Мэйн-Лайна**. Мы поселились в рос-

* Принстон — университетский городок в штате Нью-Джерси.

** Фешенебельный пригород Филадельфии.

кошном особняке с садом постройки аж 1817 года за оградой и лестницей, его фотография была даже помещена в журнале «Американское наследство». Мой отец умер; его вдова переехала жить к племяннице. Я почти не виделся со старухой, и мне пришлось справиться о ней у Фонштейнов. За последние десять лет я практически не поддерживал связи с Фонштейнами, если не считать одного разговора по телефону об их одаренном отпрыске.

В этом году они отправили его на лето в лагерь для научных вундеркиндов.

Сорелла в особенности обрадовалась нашей встрече. Она не встала — похоже, при такой толщине вставать ей было трудно, — но чувствовалось: она неподдельно счастлива, что случай свел нас в Иерусалиме. У меня же при виде этой пары промелькнула мысль: перемещенному лицу как нельзя более кстати увесистый балласт в виде жены. Более того, он, по моему, ее любил. Моя собственная жена скорее походила на Твигги*. Попасть в точку, как известно, практически невозможно. Сорелла, назвав меня «cousin», сказала по-французски, что, как была, так и осталась «femme bien en chair»**. Я прикидывал, как Фонштейн исхитрится не заблудиться в этих складках. Впрочем, мне-то что за дело. Они, видимо, были вполне счастливы.

* Лесли Хорнби (р. 1949), по прозвищу Твигги (Хворостинка) — модная в конце 60-х — начале 70-х гг. манекенщица, известная своей худобой.

** В теле (фр.).

Фонштейны взяли напрокат машину. У Гарри были родственники в Хайфе, и они собирались поехать по северу.

— Согласитесь, страна просто невероятная! — сказала Сорелла, понижая голос до театрального шепота. (Из чего, спрашивается, тут делать тайну?)

Евреи — монтеры и каменщики, евреи — полицейские, механики и капитаны. Фонштейн был вынослив в ходьбе. В Европе он прошел без малого две тысячи километров в своем ортопедическом ботинке. Сорелла же, при ее комплекции, была не создана для пеших прогулок.

— Меня бы лучше всего переносить в паланкине, — сказала она, — но израильтянам это не по плечу, где им. — Она пригласила меня выпить с ней чаю, пока Фонштейн навещал людей из своего родного города, соседей по Лембергу.

Перед чаем я поднялся к себе в номер почитать «Геральд трибюн» — в заграничной жизни есть свои радости, и эта, несомненно, одна из них, но за газету я взялся, чтобы поразмышлять о Фонштейнах (вечная моя привычка делать два дела зараз — так, например, использовать музыку как фон для раздумий). Фонштейны были не из породы тех дальних родственников, о которых все знаешь наперед и которых после встречи тут же выкидываешь из головы, потому что различаешь их лишь по одежде, акценту, маркам машин и принадлежности к той или иной синагоге или политической партии. Фонштейн, невзирая на его ботинок с Джермин-стрит и итальянский костюм, оста-

вался человеком, который похоронил мать в Венеции и ждал в камере, когда его освободит Чиано. И хотя он не выдавал своих чувств и держался с пошибом людей более «высокого круга» — иначе обозначить этого не могу, — а вовсе не так, как принято в еврейских общинах Нью-Джерси, я думаю, он неотступно размышлял о своих европейских корнях и американском перевоплощении: части первой и части второй. От меня почти никогда не ускользают признаки, свидетельствующие о цепкой памяти моих знакомых. Но тем не менее я всегда задаюсь вопросом, на что употребляют они свои воспоминания. Зубрежка, машинальное накопление фактов, необычная способность к их запоминанию меня мало интересуют. Таким даром зачастую наделены и идиоты. Ностальгия и неотъемлемые от нее сантименты не слишком меня занимают. А в большинстве случаев вызывают у меня неприязнь. Для Фонштейна прошлое не было мертвым грузом. И это сообщало живой, энергичный вид его спокойному лицу. Но не станешь же заводить разговор на такую тему — это все равно как спросить, доволен ли он своим ладно стачанным ботинком на высоченном каблуке.

Потом, нельзя сбрасывать со счетов и Сореллу. Женщина неординарная, она откинула все признаки ординарности. Сореллина толщина, если предположить, что тут имел место сознательный выбор, тоже указывала на неординарность. Захоти Сорелла; она вполне могла бы похудеть: у нее достало бы силы воли. Но она решила: раз я толстая, буду еще толще — так,

наверное, Гудини* требовал завязать его еще туже, запереть в сундук с еще большим количеством запоров, бросить в пучины еще более глубокие. Она, как нынче говорят, «не укладывалась в рамки», ее кривая вырвалась за пределы таблицы и пошла гулять по стене. В процессе раздумий в номере «Царя Давида» я сделал вывод, что Сорелле пришлось долго ждать, пока гаванский дядюшка не подыскал ей мужа, — она шла по разряду невест с изьянцем, бракованных. Замужество сообщило ей революционный толчок. Теперь никому не различить ни следа былых унижений, какими бы они ни были, ни горького осадка. Как поступаешь с тем, о чем хочешь забыть, — решительно зачеркиваешь. Ты была сырой толстухой. Бледной, нескладной от излишней полноты. Никто, даже самый последний охламон и тот не польстился на тебя. Что делать с этим мучительным, бесславным прошлым? Не утаивать его, не преобразовывать, а стереть и на освободившемся месте возвести новую структуру, куда более впечатляющую. И возвести ее, не стесняя себя никакими ограничениями, не потому, что тебе надо что-то скрыть, а потому, что тебе это по силам. Новая структура, к такому выводу я пришел, была взята не из головы. Та Сорелла, что предстала нынче моим глазам, не соорудила себя, а выявила свою сущность.

Я отложил «Геральд трибюн» и спустился вниз на лифте. Сорелла восседала на террасе «Царя Давида». На ней было светло-бежевое платье. Его корсаж укра-

* Гарри Гудини (1874—1926) — американский иллюзионист.

шал большой, отделанный фестолами квадрат. В нем было что-то военное и одновременно таинственное. На память почему-то пришли мальтийские рыцари, хотя какая связь между ними и еврейской дамой из Нью-Джерси? Впрочем, стена, которой оградил Старый город в средние века, была совсем рядом — через долину. В 1959 году израильтяне еще не допускали в Старый город; там в ту пору было еще небезопасно. Впрочем, я тогда не думал ни о евреях, ни о жителях Иордании. Я пил весьма утонченно сервированный чай с толстенной дамой, при этом определенно и победоносно изящной. От высоко взбитой прически не осталось и следа. Светлые волосы ее были коротко подстрижены, маленькие ножки обуты в турецкие шлепанцы с загнутыми носами и бесхитростно скрещены под столиком-подносом чеканной меди. Долина Енномова, некогда орошавшая всю Османскую империю, зеленела и цвела. Не могу не сказать, что тут я ощутил, мне буквально передалось, как бьется Сореллино сердце: шутка ли, снабжать кровью такую махину. Дерзкая задача, помасштабнее турецких оросительных сооружений. Я чувствовал, как мое сердце в восторге бьется в унисон с ее сердцем, — подумать только, справляться с работой такого размаха!

Сорелла остудила мои восторги.

— Далековато от Лейквуда.

— Вот что значит нынче путешествовать, — сказал я. — Мы что-то сделали с пространством. Как-то его изменили, переворошили.

— А вы приехали сюда открыть отделение вашего института — он и впрямь им очень нужен?

— Так тут считают, — сказал я. — Они задались целью создать своего рода Ноев ковчег. Боятся что-то упустить, хоть в чем-то отстать от передовых стран. Им непременно нужно быть на уровне мировых достижений, быть завершенным микрокосмом.

— Вы не станете возражать, если я по-дружески устрою вам короткий экзамен?

— Валяйте.

— Вы помните, как я была одета, когда мы с вами встретились в первый раз у вашего отца?

— На вас был серый английский костюм, скорее светловатый, в белую полосочку, и гагатовые серьги.

— Вы можете сказать, кто построил «Граф Цепелин»?

— Могу — доктор Гуго Эккнер*.

— Как звали учительницу, которая преподавала у вас во втором классе, пятьдесят лет назад?

— Мисс Эмма Кокс.

Сорелла вздохнула — вздох ее выражал не так восторг, как печаль, сочувствие: ну к чему обременять себя таким количеством ненужной информации.

— Просто удивительно, — сказала она. — Во всяком случае, успех вашего института вполне обоснован. Интересно, помните ли вы, как звали женщину, которую Билли Роз послал на Эллис-Айленд поговорить с Гарри?

* Гуго Эккнер (1868—1954) — немецкий инженер, построил дирижабль «Граф Цепелин», названный в честь изобретателя дирижаблей этого типа графа Фердинанда Цепелина (1838—1917).

— Миссис Хамет. Гарри считал, что она больна ТБЦ.

— Совершенно верно.

— Почему вы о ней спросили?

— Последние годы мы с ней встречались. Сначала она разыскала и навестила нас, потом мы ее. Я поддерживала знакомство с ней. Мне нравилась старуха, да и она мне симпатизировала. Мы часто виделись.

— Почему вы говорите в прошедшем времени?

— Потому что все это принадлежит прошлому. Она недавно скончалась в санатории неподалеку от Уайт-Плейнс. Я навещала ее. Мы, можно сказать, привязались друг к другу. У нее практически не было родственников...

— Она была актрисой еврейского театра, так?

— Все так, но актерство было в ней заложено от природы, а не объяснялось ностальгией по канувшему в небытие искусству: Вильненской труппе, Второй авеню. Ну и еще потому, что она была воительницей от природы. Характер невероятно сложный, целеустремленный. Бездна упорства. И вдобавок ко всему еще и бездна скрытности.

— А что ей было скрывать?

— Она много лет кряду следила за Биллиными делюшками и вела записи. Вела, как умела, его досье — отмечала уходы, приходы, записывала телефонные разговоры с указанием дат, хранила копии писем.

— Личных или деловых?

— Это трудно четко разграничить.

— И на что ей этот архив?

— Точно ответить затруднительно.

— Она ненавидела Билли, старалась его прищучить?

— По правде говоря, думаю, что нет. Она вполне широко смотрела на вещи, насколько это возможно, когда перебиваешься из кулька в рогожку и чувствуешь, что тебя третируют. Но я не думаю, чтобы она хотела пригвоздить Билли, разоблачив его грешки. Для нее он был человек с именем; она его иначе как «имя» и не называла. Она обедала в закусочной-автомате, ему же, с его-то именем, где и есть, как не у «Сарди», Демпси или в заведении Шермана Биллингсли. Она не держала на него зла. В автомате брали по совести, не наживались на тебе, и она часто говорила, что пьется куда разумнее Билли.

— Я смутно припоминаю, что Билли ее третировал.

— И не только ее, а всех, и все служащие Билли уверяли, что не переваривают его. А что ваш приятель Вольф говорил?

— Говорил, что Билли маломерок. Что он вроде бы недоделанный. И все равно Вольф был рад-радехонек, что у него связи на Бродвее. В Гринвич-Виллидже, если ты работал на Билли, тебе были обеспечены почет и уважение. Это давало тебе фору перед конкурентами у стильных девиц из Вассарского или Смитовского колледжа. Вольф не принадлежал к числу интеллектуальной элиты Виллиджа, не был он и прославленным остроумцем, но он хотел расти над собой, а коли так, соответственно, готов был терпеть всевозможные надругательства — и еще какие! — от записных теоретиков, знаменитых мужей науки, лишь

бы получить необходимое в современной жизни образование, предполагавшее умение сочетать Кьеркегора и «Бёрдленд». Он был большой ходок. Но над девочками не измывался и не выставял их. Приступая к обольщению, для начала преподносил коробку конфет. На следующей стадии, не мудрствуя лукаво, всякий раз дарил кашемировый свитер — и конфеты и свитер приобретал у скупщиков краденого. Когда роману приходил конец, Вольф передавал очередную девицу кому-нибудь попроще и пониже его на тотемном столбе...

Тут я мысленно одернул себя, остановился. Тотемный столб — вот что заставило меня остановиться. Еврей в Иерусалиме, да еще такой, который может объяснить, что к чему: как Иисус Навин наследовал закон от Моисея, судьи от Иисуса Навина, пророки от судий, а раввины от пророков. И все для того, чтобы в конце этой цепи еврей из неверующей Америки (этой диаспоры внутри диаспоры) бойко трепался про разгульные нравы Гринвич-Виллиджа, про тотемные столбы, про бродвейских подонков и всякую гнусь. Особенно если учесть, что вышеупомянутый еврей сам не определил бы, какое место принадлежит ему в этом великом историческом ряду. Я давно пришел к заключению, что избранный народ был избран разгадать замысел Божий. Прошла не одна тысяча лет, и оказалось, что мы остались при пиковом интересе.

Но я решил не забираться в эти дебри.

— Значит, старушенция Хамет умерла, — сказал я и погрузился. Я представил себе ее лицо, белое, по описанию Фонштейна, точно сахарная пудра, явственно, как если бы знал ее.

— Ее никак не назовешь бедной старушенцией, — сказала Сорелла. — Хоть ее никто не приглашал, она ввязывалась в игру.

— Она вела его досье — зачем?

— Билли занимал в ее жизни до странности большое место. Она верила, что они должны быть заодно уже в силу своего сходства — оба они люди с изыском. Бракованные, отбросы — и им надо объединиться, чтобы облегчить друг другу бремя жизни.

— Она что, хотела стать миссис Роз?

— Нет, нет, об этом и речи быть не могло. Билли женился только на дамах с именем. А миссис Хамет прессу прельстить было нечем — старая, ни кожи, ни рожи, ни денег, ни положения. Пенициллин ее уже не мог спасти. Но она задалась целью разведать о Билли все. Когда она давала себе волю, она сквернословила почему зря. Сквернословила, о чем бы ни шла речь. Лексикон у нее был обширнейший. Мужу в пору.

— И она сочла, что ей следовало открыться вам? Поделиться результатами своих изысканий?

— Да, именно мне. Познакомилась она с нами через Гарри, но подружилась со мной. Они редко встречались. Почти никогда.

— И она оставила досье вам?

— Да, и записи, и подтверждающую их документацию.

— Ух ты! — сказал я. Чай побурел — его слишком долго настаивали. Лимон осветлил его, да и сахар оказался как нельзя более кстати — к концу дня мне не мешало взбодриться. Я сказал Сорелле: — Вам-то за чем ее записи? Вам ведь от Билли ничего не нужно?

— Нет, конечно. Америка, как говорится, была к нам добра. Однако миссис Хамет оставила прелюбопытные документы. Думаю, вы бы тут со мной согласились.

— Если бы захотел их прочесть.

— Если бы вы в них заглянули, ручаюсь, не оторвались бы.

Она мне их предлагала. Она прихватила их с собой в Иерусалим! Для чего? Ясно, не для того, чтобы показать мне. Не могла же она предвидеть, что встретит меня здесь. Мы давно потеряли друг друга из виду. Дело в том, что у меня испортились отношения с семьей. Я взял в жены девушку из англосаксонской протестантской семьи весьма высокого происхождения, и мы с отцом поссорились. Теперь я жил в Филадельфии и ни с кем в Нью-Джерси связи не поддерживал. Нью-Джерси стал для меня не более чем остановкой на пути в Нью-Йорк или Бостон. Своего рода провал памяти. Поелику возможно, я старался миновать Нью-Джерси. Как бы там ни было, я решил не читать записи.

Сорелла сказала:

— Вы, наверное, задаетесь вопросом, для каких целей я могу их употребить?

Не стану отрицать, у меня, конечно, мелькнула мысль: к чему бы она прихватила записи миссис Хамет с собой. Впрочем, честно говоря, меня не тянуло размышлять о ее мотивах. Но мне было совершенно ясно, что для нее почему-то насущно важно, чтобы я прочел эти записи.

— Ваш муж их проштудировал? — спросил я.

— Ему их не понять — он такого языка не знает.

— А вы постесняетесь изложить их понятным ему языком.

— Примерно так, — сказала Сорелла.

— Выходит, они местами очень забористые? Вы сказали, что лексикон у нее был обширнейший. Миссис Хамет клинические подробности не пугали, так я понимаю?

— В наши дни после трудов Кинси* и других мало что может удивить или потрясти, — сказала Сорелла.

— Личность согрешившего — вот что может потрясти. Если, скажем, он фигура заметная.

— Вот именно.

Сорелла была женщина с устоями. Она никогда не предложила бы мне участвовать с ней в чем-то неприличном. Ничто порочное ей просто не могло прийти в голову. Она в жизни своей никого не совратила — готов поставить на кон годовой доход. Основательность

* Альфред Кинси — американский ученый, под его руководством были изданы многотомные «Отчеты Кинси»: «Сексуальное поведение мужчины» (1947) и «Сексуальное поведение женщины» (1953).

ее характера могла сравниться лишь с ее габаритами. Отороченная фестончиками квадратная вставка на груди говорила об отрицании обыденных грешков. И сами фестоны чудились мне рукописным посланием, предостерегающим от нечистых толкований, от ложных атрибуций.

Она молчала. Казалось, она говорит: «Вы мне не верите?» Что ж, разговор наш происходил в Иерусалиме, а на меня невероятно действует обстановка. Я вмиг подтянулся: приходится соответствовать — крестonosцы все же, Цезарь, Христос, цари Израилевы. Вдобавок и ее сердце (как и мое) билось неотступной преданностью, верой в необходимость нести дальше извечную тайну — только не просите меня ее растолковывать.

В пролетарском Трентоне* я бы ничего подобного не испытал.

Сорелла была слишком крупной личностью и не стала бы затевать злокозненные интриги или пакостить по-мелкому. Глаза ее казались прорезями в небесной сини, а их дно (самега obscura**) можно уподобить космической тьме, где нет предметов, которые отразили бы потоки невидимого света.

Через день-два заметка в газетенке «Пост» прояснила все. В Иерусалим со дня на день ожидался приезд Билли Роза и дизайнера, планировщика и

* Столица штата Нью-Джерси, в ней много заводов.

** Прибор в виде ящика с оптическими стеклами, проходя через которые свет дает на противоположной стенке прибора перевернутое изображение.

скульптора Исаму Ногучи*. Блистательный Роз, который не оставлял Израиль своими попечениями, соби-
рался преподнести в дар городу парк и украсить его
коллекцией шедевров. Разбить парк он уговорил Но-
гучи, ну а если тот сочтет это ниже своего достоин-
ства, пусть хотя бы возьмет на себя общее руководство
планировкой, ибо Билли, по словам репортера, был
силен по части филантропии и слаб по части эстети-
ки. Билли знал, чего хотел; более того, он знал, чего
не хотел.

Предполагалось, что они приедут со дня на день.
Предполагалось, что они встретятся с иерусалимски-
ми чиновниками, ведающими планировкой города, и
отобедают у премьер-министра.

Но обсудить эти новости с Сореллой я не мог.
Фонштейны отбыли в Хайфу. Взяли машину напро-
кат — решили объехать Назарет и Галилею вплоть до
самой границы с Сирией. Их маршрут лежал через
Генисарет, Капернаум и гору Фавор. В вопросах боль-
ше не было нужды: я и так понял, что задумала Со-
релла. Старушенция Хамет (этот сапер, этот крот, этот
фанатичный исследователь) предупредила Сореллу,
что Билли намеревается посетить Иерусалим, а узнать
дату приезда Билли вкупе с прославленным Ногучи
не составляло особого труда. Сорелла, если ей забла-
горассудится, могла прописать Билли пропорцию, ис-

* Исаму Ногучи (р. 1904) — американский скульптор
японского происхождения, в 1965 г. разбил в Иерусалиме
«Парк искусств Билли Роза» и украсил его статуями своей
работы.

пользував вместо рецептурного справочника записки миссис Хамет. Но я прозревал ее намерения лишь в самых общих чертах. Если Билли был изобретателен в умении привлечь к себе внимание (блеском и дуростью, причем неприкрытой, — пополам), если Ногучи был изобретателен по линии красоты аранжировки, нам еще предстояло убедиться, на что способна по части изобретательности Сорелла.

Формально она была домохозяйкой. В любом опросном листке или анкете она пометила бы галочкой графу «домохозяйка». Но ничто, присущее этому роду занятий, — ни квартирное убранство, ни покупка соломенных салфеток, столового серебра, кастрюль, ни контроль за употреблением соли, холестерина, канцерогенами, ни забота о прическе, маникюре, косметике, туфлях, туалетах, ни нескончаемые часы, ухлопанные на посещение торговых центров, универмагов, оздоровительных клубов, ни обеды, коктейли — ничто из всех этих вещей, полномочий или сил (потому что мне они видятся силами, если не духами) не могло поднять такую женщину, как Сорелла. Она была такая же домохозяйка, как миссис Хамет секретарша. Миссис Хамет была безработная актриса, чахоточная, еле-еле душа в теле, а под конец жизни к тому же и бесноватая. Оставив свои записки (бомбу, а не записки) Сорелле, она сделала верный, ошеломительный по точности выбор.

Билли и Ногучи прибыли в «Царя Давида», когда Сорелла и Фонштейн устроили себе передышку на берегу Галилейского моря, и как я ни был занят дела-

ми «Мнемозины», я тем не менее присматривал за вновь прибывшими так, будто Сорелла дала мне наказ вести за ними наблюдение и докладывать ей. Билли, как и следовало ожидать, произвел фурор среди обитателей гостиницы, по преимуществу евреев из Америки. Многим из них было лестно столкнуться с легендарной личностью в вестибюле, ресторане или на террасе. Билли, со своей стороны, на знакомства не шел, желания сойтись с кем-либо не выказывал. Лицо его полыхало, как часто бывает с людьми на виду, притягивавшим взгляды румянцем.

Едва приехав, он закатил скандал прямо посреди вестибюля, сплошь в колоннах и коврах. «Эль-Аль» потерял его багаж. Из секретариата премьер-министра к нему отправили посыльного — сообщить, что поиски багажа ведутся. Не исключено, что багаж отправили в Джакарту. Билли сказал:

— А вам бы, так вас и так, не чухаться, а найти багаж, да поживее. Вот вам мой приказ! Я остался в одном дорожном костюме. Интересно, как я теперь буду бриться, чистить зубы, менять носки, трусы, спать, если у меня нет пижамы?

Правительство взяло бы все хлопоты на себя, но посланцу пришлось выслушать, что рубашки Билли носит исключительно от «Салки»*, костюмы от портного с Пятой авеню, у которого шьют не то Уинчелл, не то Джек Демпси**, не то вся чиновная головка ра-

* Дорогой магазин, где продаются преимущественно шелковые рубашки.

** Джек Демпси (1895—1983) — американский боксер, чемпион мира.

диокорпорации. Их модельер, очевидно, черпал вдохновение в пернатом царстве. Покрой Биллиного пиджака вызывал в памяти нарядных дроздов и малиновок, великолепных не то ходоков, не то пройдох — жирная грудка, заложенные за спину встопорщенные крылышки. Но на этом сходство кончалось. Что же еще я в нем усмотрел: многосложное тщеславие, нравное зазнайство, бестрепетную беспардонность — он чванился напоказ по-мелкому на том основании, что он-де фигура заметная, бродвейская знаменитость, а значит, требует к себе особого почтения и сам считает своим долгом — положение в эстрадном мире, наконец, просто обязывает его — топать, визжать и стращать. Впрочем, если посмотреть вблизи на его румяную, фиглярскую, восточного типа рожицу, видно было, что в нем есть что-то пусть и некрупное, но свое, личное. И оно-то и свидетельствовало о совершенно иных его свойствах. Билли выглядел так, будто Билли как частное лицо ставил перед собой совсем иные задачи, вытекающие из расчетов, которые он вел в тайная тайных своей души. Он поднялся с самых низов. Ну и что — в Америке, где все дороги открыты, это ничему не мешает. Если в нем ощущались следы низкого происхождения, ему не было надобности их скрывать. В США ты мог подняться с самого дна и все равно задирать нос, особенно если у тебя тугая мошна. Попробуй только тронь Билли — он вмиг даст тебе отпор, а кто дает отпор, тот уважает себя. Даже если ты и дешевка, что с того, это тоже не стоило труда скрывать. Плевал он, кто и что про него думает.

С другой стороны, раз уж он решил преподнести Иерусалиму памятный дар, прекрасное место культурного отдыха, забыть, что этот благородный замысел родился у Билли Роза, он не позволит. Именно из-за сочетания таких черт за Билли было так интересно наблюдать. Он зачесывал назад волосы на манер Джорджа Рафта* или этого пижона, пожирателя сердец предыдущей эпохи Рудольфа Валентино (в дни Валентино Билли еще сочинял песенки в Тин-Пэн-Элли**, по-маленьку рифмовал, по-маленьку подворовывал, антрепренерствовал по-крупному; он и по сю пору владел кучей прибыльных копирайтов). В его облике соседствовали сила и слабость. Он не мог себе позволить одеваться в классическом стиле, как одеваются высококородные англосаксы, такие, к примеру, парни, чьи деды учились в Гротоне***, а более дальние предки имели право носить латы и меч. В ту дальнюю пору евреи и помыслить не смели — ни-ни! — ни об оружии, ни о кровных лошадях. Ни о серьезных войнах! Нынче же, будь ты из самой-пресамой привилегированной семьи, в лучшем случае ты мог одеваться дорого и скучно, как предписывали правила хорошего тона, и держаться на допотопный манер потомков родовитых семей Новой Англии или первых голланд-

* Джордж Рафт — американский киноактер, популярный в 1930—1940 гг., эпигон Р. Валентино.

** Квартал Нью-Йорка, где находились музыкальные издательства, студии музыкальной записи и музыкальные магазины.

*** Привилегированная мужская школа типа Итона в городе Гротоне.

ских переселенцев. Впрочем, к нашим дням и то и другое успело выдохнуться и поднадоесть. А вот для Билли, для него гардероб от дорогого портного был необходим не меньше, чем личная уборная при кабинете. Без костюмов он не мог представлять, и это еще усугубляло его злобу на «Эль-Аль» и его отчаяние. Вот какое я составил себе понятие о Билли Розе, пока он качал права. Ногучи с поистине, по моим представлениям, дзэн-буддистской невозмутимостью, в свою очередь, ни слова не говоря, наблюдал, как Билли фиглярствует, бушуя напоказ.

В более мирные периоды, когда Билли пил сок в гостиной или читал почту, он выглядел так, словно без передыху скорбел о страданиях еврейского народа и плюс к тому об уроне, который потерпел сам от своих еврейских соплеменников. Но наиболее чувствительный урон, по моим догадкам, он потерпел от соплеменниц. С мужчинами он управлялся, а вот на женщин, если моя информация меня не обманывает, его не хватало.

Будь он патриархальным евреем из Восточной Европы, урон по сексуальной части был бы ему нипочем. На первом месте у него был бы Бог, и женщине никогда бы не забрать над ним власть. Сексуальные страдания, написанные на лице Билли, были мукой американского происхождения, исключительно американского. Более того, для Билли с Бродвея удовольствия были делом жизни. В его нью-йоркских владениях все разрешалось забавами, шутками, играми, пересмешками, понтом, дрочкой. Его деловые уси-

лия кончились успешно, принесли ему много денег, а конец, как известно, делу венец. И хоть нет покоя голове, коль нет на ней венца такого рода*, у Билли с этим был полный порядок, он мог наслаждаться покоем.

Соедините все эти факторы, и вы поймете, почему в Билли жила невывытравленная тоска, почему он пасовал перед силами, над которыми был не властен. Над тем же, что было в его власти, он властвовал весьма распорядительно. Но он знал, что должен брать в расчет буквально все, — ему ли не знать! И ему ли не знать, что это не в его силах.

Фонштейны вернулись из Галилеи гораздо раньше, чем я ожидал.

— Все это просто дивно, но скорее для христиан, — сказала мне Сорелла. — Взять хотя бы Фавор. — И добавила: — Тамошние лодки оказались недостаточно поместительными для меня. Что же касается купания, то Гарри окунулся, а я не захватила с собой купальник.

О пропаже Биллиных чемоданов она высказалась так:

— Правительство небось не на шутку переполошилось. Билли приехал, чтобы построить им такой аттракцион, на который валом повалят туристы. Поскандаль он чуть подольше, и, я думаю, Бен-Гурион самолично сел бы за швейную машинку шить ему костюм:

Пропавший багаж к тому времени уже отыскался — отличного качества изящные кожаные чемоданы с медной окантовкой, с монограммами, купленные не у «Тиф-

* Переиначенная цитата из «Короля Генриха IV» У. Шекспира: «Но нет покоя голове в венце» (пер. Б. Пастернака).

фани», а у итальянца, фабриканта кожевенной галантереи, который поставлял бы «Тиффани» чемоданы, если бы там ими торговали (раздобыл их Билли через нужных людей — точь-в-точь так же, как Вольф, его литературный негр, добывал конфеты и кашемировые свитера: ну да, если ты мультимиллионер, что уж, теперь и сэкономить нельзя?). Билли дал интервью газетам, отозвался об Израиле с похвалой: он, мол, находится на уровне мировых достижений. От брюзгливых теней, омрачавших его лицо, не осталось следа, и они с Ногучи каждый день выезжали на место, где предполагалось разбить парк. Атмосфера в «Царе Давиде» заметно потеплела. Билли перестал цепляться к портье, они же, в свою очередь, перестали ему пакостить. Билли по приезде совершил промашку и справился, сколько дать на чай швейцару — тот принес ему в номер портфель. Сказал, что не успел разобраться в израильских деньгах. Портье взвился. Вышел из берегов — такой богатый, а тот еще скряга: трясется над каждым центом — и выговорил Билли. Билли проследил, чтобы администрация призвала портье к порядку. Когда Фонштейну рассказали об этом, он заметил, что в Риме портье ни при каких обстоятельствах не позволил бы себе закатить скандал постояльцу.

— А все еврейский гонор, — сказал он. — Какие портье, такие постояльцы: ну, отчитал один еврей другого, что за церемонии между своими.

Я-то думал, Фонштейн будет потрясен, увидев Билли, — он ведь оказался с ним в одной гостинице, и такой дорогой, что по карману лишь самой преуспе-

вающей публике. Кто он такой, Фонштейн, которого Билли спас от смерти, — всего-навсего ничем не примечательный американский еврей, а вот сидит в ресторане за два столика от Билли. Но воля у Фонштейна была железная. Ничто не могло его принудить подойти к Билли, представиться или схлестнуться с ним: «Ваша организация похитила меня из Рима. Вы привезли меня на Эллис-Айленд, после чего умыли руки: что вам за дело до судьбы конкретного беженца? Дали мне от ворот поворот у “Сарди”». Нет-нет, это не для Гарри Фонштейна. Он понимал, что судьбе отдельного человека нельзя придавать чрезмерно большое значение. Нынче мы уже не способны распространить свою доброту на каждого, с кем сталкиваемся, принять участие в его жизни.

«Мистер Роз, я — тот самый человек, с которым вы не пожелали встретиться, не могли выделить для него ни минуты в своем перегруженном расписании. — На лице грозного мстителя Фонштейна убийственная насмешка. — Нынче мы оба стоим в этом Священном городе, где «око Господне над боящимися его»*.

Слова ни к черту, сценарий тоже. Никто не говорит таких слов, а если и говорит, никто не воспринимает их всерьез.

Нет, Фонштейн наблюдал за Билли, не более того. Глаза его загадочно загорались, когда Билли проходил мимо, втолковывая что-то Ногучи. Ногучи же, насколько я помню, не удавалось вставить ни слова. Фонштейн ни разу не упомянул в разговоре со мной о

* Псалмы, 32:18.

том, что Билли здесь, в гостинице. И я лишний раз понял, как важно помалкивать, как это плодотворно и как, пусть и не явно, выигрывает тот, кто держит язык за зубами.

А я вот спросил Сореллу, что испытал Фонштейн, когда они вернулись с севера и обнаружили в гостинице Билли.

— Для него это было полной неожиданностью.

— Но для вас — нет, вот уж нет.

— Вы меня вычислили?

— Особой проницательности тут не потребовалось, — сказал я. — Я чувствую себя, как доктор Ватсон, когда Шерлок Холмс хвалил его за умозаключение, к которому великий сыщик пришел, едва ему обрисовали дело в самых общих чертах. А ваш муж знает про досье миссис Хамет?

— Я ему сказала, но не упомянула, что взяла тетрадь с собой в Иерусалим. У Гарри крепкий сон, меня же мучает бессонница, поэтому я полночи читала старухины записи — они марают этого типа в люксе над нами. Даже не будь у меня бессонницы, тут все равно сна лишишься.

— Все о его делишках, грешках? Компрометирующие материалы?

Сорелла сначала пожала плечами, потом кивнула. По-моему, она и сама была озадачена, не знала, что и думать.

— Выстави он свою кандидатуру на пост президента, ему бы не понравилось, если бы такая информация была обнародована.

— Еще бы. Но он не выставил. И президентом стать не хочет. Он — Билли с Бродвея, не директор женской школы и не пастор Риверсайдской церкви.

— Правда ваша. Но все-таки он на виду.

Я не стал развивать эту тему. Что и говорить — Билли был уникам. По части внешности (да и по характеру) Сорелла тоже была уникам. Она была настолько толще той новобрачной, с которой я познакомился в Лейквуде, что я задумался, почему же ее так разнесло. При виде ее ты поневоле прикидывал ширину дверного проема. Встав на пороге, она входила в проем впритирку, как грузовое судно входит в шлюз. Наше сознание и само по себе — это я о своем собственном сознании — тоже уникам. Ну да что говорить, странность душ — не новость в наши дни, в наш век.

Фонштейн любил ее, что факт, то факт. Он уважал свою жену, уважал ее и я. Предаваясь раздумьям о габаритах Сореллы, я не потешался ни над Сореллой, ни над Фонштейном. Я никогда не позволял себе забыть ни историю Фонштейна, ни того, что значит выжить, когда идет истребление такого масштаба. Не исключено, что Сорелла пыталась возместить жировыми отложениями хоть толику утрат — ведь Гарри утратил всю семью. Кто ее знает — ее не угадать. Точно можно сказать одно: толщину свою (чем бы та ни объяснялась) она носила с шиком, а может, и со вкусом. Певцы-виртуозы умеют заставить нас забыть про свои неохватные окорока. Мало того: Сорелла вполне трезвая умела подать себя так, как упоенным сопрано

удается лишь в состоянии напускного опьянения Вагнером.

И все же подступ к Билли она избрала такой, который никак не назовешь трезвым, впрочем, я сильно сомневаюсь, что трезвый шаг — какой бы то ни было — возымел бы действие на Билли. Вот что она предприняла: послала ему несколько страничек, три-четыре фактика, выписанных из досье бедной туберкулезницы, покойной миссис Хамет. Сорелла самолично удостоверилась, что портье положил ее послание в Биллину ячейку, — как-никак материал взрывоопасный, а попади он в чужие руки, и убойный.

Сказала она мне об этом, лишь когда все стало *fait accompli**, и предостерегать ее уже не имело смысла.

— Я пригласила его выпить со мной, — сказала она.

— Но не втроем же?..

— Нет. Гарри не забыл, как его вышвырнули из «Сарди», — вы, наверное, помните. Билли еще повернулся лицом к стене. После этого Гарри, пока жив будет, не станет навязываться ни Билли, ни любой другой знаменитости.

— И тем не менее Билли может пренебречь вашим посланием.

— Видите ли, я ставлю своего рода опыт, скажем так.

Я раз в кои-то веки отбросил светские приличия, что-что, а их мы все отлично освоили, — дал ей понять, как отношусь к ее опыту. Это своему недорослю-сынку, будущему физику, она может забивать баки «по-научному». Я не ребенок, и меня модными сло-

* свершившимся фактом (*фр.*).

вечками не проведешь. Опыт? Предприимчивая, властная Сорелла плела интриги: хитрила, завлекала, напирала, подстрекала. Схватиться с Билли, сойтись с ним в рукопашной — вот какая у нее была цель. А словечко из лабораторного лексикона она вставила для понта. «Риск», «государственная мудрость», «страсть», «справедливость» — были для нее не пустые слова. Тем не менее я не исключаю, что сама она не вполне отдавала себе в этом отчет: К тому же — подумал я позже — ее противником был Билли Роз с Бродвея. И не могла же она рассчитывать, что он примет бой на ее территории. Что ему до великих для нее отвлеченных понятий? Он мог запросто ей сказать: «Представления не имею, дамочка, что вы тут мне заполаскиваете, и плюю на это с высокой сосны».

Интересно? — и еще как! — человеку американского склада ума, во всяком случае.

Я занимался делами «Мнемозины» в Иерусалиме, раскрывал израильтянам на семинарах свои приемчики. В итоге «Мнемозина» не привилась в Тель-Авиве. (Зато расцвела пышным цветом на Тайване и в Токио.)

Назавтра Сорелла — в отличном расположении духа и очень ко мне расположенная — сказала за чаем:

— Встреча состоится, но Билли настаивает, чтобы я пришла к пяти в его люкс.

— Не хочет обсуждать у всех на виду свои?..

— Вот именно.

Значит, Сорелла умела бить наверняка, вот оно как. Тогда-то я и пожалел, что не воспользовался предоставленной мне возможностью прочесть досье миссис

Хамет. (Сколько пыла, злорадства, ярости, нежности, а я все упустил!) Даже спросить, почему, по мнению Сореллы, Билли согласился поговорить с ней, я и то не считал себя вправе. Рассуждать в своем номере о нравственных категориях Билли ни к чему — в этом у меня сомнений не было. Никаких тебе откровений, признаний, рассуждений от него ждать не приходится. Людей типа Билли не беспокоят их поступки, призывать себя к отчету не в их привычках. Да и, к слову сказать, тех, кто ведет подобного рода отчетность или держит в порядке счетные книги совести, — мало.

В основу того, что я изложу далее, легло сообщение Сореллы, дополненное моими личными замечаниями. Мне нет надобности говорить: «Если память мне не изменяет...» В моем случае она никогда не изменяет, вот так-то. Кроме того, пока Сорелла вела рассказ, я кое-что помечал на последних страницах дневничка (ежегодный дар моего филладельфийского банка своим вкладчикам).

Билли на протяжении встречи держался если не враждебно, то сурово. Сразу начал брюзжать. Что у него за номер в «Царе Давиде», и еще люкс называется: не к таким номерам он привык. Но ничего не поделаешь — быть в Иерусалиме суровый. Впрочем, государство только становится на ноги. Постепенно все наладится. Такие замечания он отпускал, проводя Сореллу в номер. Сесть он ей не предложил, но при ее весе, с ее крохотными ножками она обойдется без приглашения — сядет и все тут, и она не без труда поместилась в полосатом кресле, а садясь, в свое оп-

равдание — все мы человеки! — громким вздохом ответила вздоху кресельных подушек.

Ей впервые представился случай хорошенько разглядеть Билли, и ее многое ошарашило: так вот он какой, Билли, обитатель звездных сфер. Одет он был великолепно: недаром он так бушевал из-за своих костюмов. Порою чудилось, что из его рукавов еще не успели вынуть папиросную бумагу после дорогой химчистки. Я уже говорил, что в покрое его пиджака мне виделось нечто птичье, и Сорелла со мной согласилась, но там, где мне мерещились малиновка и дрозд с жирной грудкой под рубахой, она утверждала (ей ли не знать — в Нью-Джерси у нее была кормушка для птиц), что он больше смахивает на дубоноса, даже колер тот же. Один глаз у Билли располагался ближе другого к переносице, отчего в его внешности сквозило нечто еврейски-скорбное. На самом деле, сказала Сорелла, Билли несколько смахивал на миссис Хамет — на ее мертвенно-белом лице чахоточной актрисы один глаз тоже глядел наособицу печально. И хотя волосы у Билли были ухоженные, в прическе наблюдалась некоторая растрепанность. Взъерошенность, как и подобает дубоносу.

— Поначалу Билли решил, что я явилась к нему с целью вымогательства, — сказала она.

— Деньги?

— Ну да, не иначе как деньги.

Я подбадривал Сореллу, кивал, мычал, пока она описывала их встречу. Ясное дело: шантаж. Человек с закидонами вроде Билли очень точно знал, что к чему,

при его-то опыте; кому и уметь расправляться с подобными типами, как не ему: ведь кто только — и аферисты, и мошенники, и психи — его не осаждал, и каждый хотел хоть что-то да выцыганить.

Билли сказал:

«Просмотрел ваши бумажонки. И много их у вас, и что ж, очень мне надо из-за них расстраиваться или не очень?»

«Дебора Хамет передала мне перед смертью много материалов».

«Она умерла, вот как?»

«Вы же знаете, что умерла».

«Ничего я не знаю», — сказал Билли, намекая, что сведения о ней не больно-то его интересуют.

«Знаете, и очень хорошо знаете, — заседала Сорелла. — Она по вас с ума сходила».

«А мне-то что за дело до ее чувств. Она работала в моей конторе, я платил ей за это жалованье. Когда она заболела, в Уайт-Плейнс посылались цветы. Знай я, что она за мной шпионит, я бы еще сильно подумал: оказывать ей такое внимание или нет, — это ж сколько грязных сплетен старая карга насобираала про меня».

Сорелла сказала, и я безоговорочно ей поверил, что пришла не угрожать ему, а обсудить, выяснить, прощупать. Она не дала втянуть себя в спор. Благодаря одним своим габаритам она казалась воплощением спокойствия. У Билли был количественный склад ума — не редкость среди деловых людей, а что касается габ-

ритов, Сорелла не имела себе равных. Билли же было не совладать и с тонюсенькой девчушкой. Любая из них, хоть самая кроха-раскроха, имела над Билли такую власть, что ей ничего не стоило застрашать его по сексуальной части (напустить мороку) так, чтоб у него не встало. Сорелла сама до этого додумалась. «Если бы он мог превратить меня в мужчину, тогда он сумел бы дать мне бой». Такие колоссальные габариты, как у нее, возможно, заставляли предполагать некоторую мужественность. Зато руки у нее были изящные, ножки крохотные, голос женственный, певучий. От нее пахло духами. Она уселась во всеоружии своей женственности напротив него так, что не сдвинешь. До чего же умная жена была у Фонштейна — просто потрясающе! Он обрел по сию сторону Атлантики защиту, в которой так нуждался, когда бежал от Гитлера.

«Мистер Роз, вы меня не назвали, — сказала ему Сорелла. — Вы прочли мое письмо? Я — миссис Фонштейн. Мое имя вам ничего не говорит?»

«А почему, собственно...» — сказал он, отказываясь признать ее.

«Я вышла замуж за Фонштейна».

«А я ношу рубашку сорокового размера. Так и что?»

«За того самого, которого вы спасли в Риме, — одного из тех. Он вам столько писем написал! Не могу поверить, что вы его не помните».

«Помню, забыл, что мне за разница!»

«Вы посылали Дебору Хамет на Эллис-Айленд поговорить с ним».

«Дамочка, в такой жизни, как моя, подобных случаев было, я знаю, триллион. С какой стати мне его вспоминать?»

То-то оно и есть, что с какой стати, — я его понимаю. Такие подробности, как чешуя неисчислимых рыбьих косяков в кишках скумбрией морских просторах, как поглощающие свет частицы, плотная материя черных дыр.

«Я послал Дебору на Эллис-Айленд, ну, пусть послал...»

«Чтобы она внушила моему мужу ни при каких обстоятельствах к вам не обращаться».

«Это мне ничего не говорит. Так и что?»

«А вас лично совсем не интересует человек, которого вы спасли?»

«Я сделал все что мог, — сказал Билли. — В наше время далеко не всякий может так о себе сказать. Подите устройте сцену Стивену Вайзу*. Закатите скандал Сэму Розенману**. Эти ребята палец о палец не ударили. Они взывали к Рузвельту, Корделлу Халлу***. Те плевали на евреев, а эти ребята были рады-раде-хоньки, что их подпустили к Белому дому. Даже если от них отделявались отговорками, они почитали это для себя за большую честь. ФДР****, когда к нему

* Стивен Самуэль Вайз (1874–1949) — американский раввин, теолог, вождь сионистского движения.

** Сэм Розенман — американский юрист, советник Ф. Д. Рузвельта и Г. Трумэна.

*** Корделл Халл (1871–1955) — американский государственный деятель, государственный секретарь (1933–1934), лауреат Нобелевской премии мира 1945 г.

**** ФДР — Франклин Делано Рузвельт.

явилась депутация знаменитых раввинов, запудрил им мозги. Калека калекой, а так их обошел, любѐ-дорого посмотреть — гений, да и только. Черчилль тоже тут приложил руку. И еще эти паскудные «Белые книги»*. И что вы хотите, что? Нужно было срочно переправлять беженцев, причем сотнями тысяч, в Палестину, иначе никакого государства здесь сегодня не было бы. Вот почему я отказался от операции по спасению одиночек и начал собирать деньги, чтобы прорвать английскую блокаду на проржавевших греческих посудилах, которые болтались по морю как Бог на душу положит... И что вы хотите от меня — ну не принял я вашего мужа! Тоже мне беда! Я вижу, вы неплохо устроились. И теперь вам нужно прямо-таки особое признание!»

Уровень, как поведала мне Сорелла, падал все ниже и ниже, ниже некуда — ведь величию свершений такого масштаба никто соответствовать не может. Порой у Сореллы случались подобные наблюдения...

«Ну, — спросил ее Билли, — для чего вам грязные сплетни этой бзикнутой старой карги? Чтобы скомпрометировать меня в Иерусалиме в то самое время, когда я приехал сюда осуществить важнейший проект?»

Сорелла рассказывала: она воздела руки, чтобы его утихомирить. Сообщила, что явилась в надежде обсудить все разумно. Ни о каких угрозах не было и речи...

* В «Белой книге» (май 1939 г.) английское правительство изложило свое намерение ограничить, а затем и прекратить еврейскую иммиграцию в Палестину.

«Скажите тоже. Если не считать, что Хаметша копила эту отраву, накопила не одну бутылку, и все, что накопила, оставила вам. Но чтобы решиться напечатать этот материал в газетах, надо и вовсе сбрендить! А если вы таки решитесь, все это дерьмо полетит в вас же быстрее, чем жеваная бумага через трубочку. Ну что это за обвинения: я дал взятку ребятам Роберта Мозеса, чтобы поставить мою патриотическую «Водную феерию» на выставке. Или вот еще: я нанял пиромана, чтобы он в отместку поджег какую-то витрину. Или еще вот: я саботировал «Детку Снукс»*, потому что завидовал ошеломительному успеху Фанни и вдобавок пытался ее отравить. Послушайте, закон о клевете у нас еще не отменен. Эта Хаметша, она же в уме повредилась. А вам, вам бы надо хорошенько подумать. Если б не я, что было б с такой женщиной, как вы...»

Намек прозрачный — женщиной, изуродованной непомерной толщиной.

— Неужели он так-таки и сказал? — прервал я Сореллу. Но потрясли меня вовсе не его слова. Оглушила меня Сорелла. Я никогда не слышал, чтобы женщина говорила о себе так откровенно. Она продемонстрировала беспримерную объективность и реалистическую самооценку. Во времена, когда подделки и очковтирательство распространились настолько широко, что их перестали замечать, только личность не-

* Популярная серия радиопередач, героем которой был неисправимый сорванец, Фанни Брайс вела ее с 30-х гг. и вплоть до смерти.

заурядной силы может сделать такое признание — вот что это значит. «Пятитонке и той до меня далеко. Меня не обхватить. Гора горой», — сказала она мне. К этому признанию присовокупилось и другое, невысказанное: она каялась, что потакает своим слабостям. Какое уродство мои вопиющие габариты — они же крест для Фонштейна, а этот храбрец любит меня. Кто, кроме него, на меня бы польстился? Вот что стояло, и притом совершенно ясно, за ее простыми, без прикрас комментариями. Величие — иного слова не подберешь для такой откровенности, таких признаний, притом сделанных с редкой естественностью. В нашем мире лжецов и трусов есть, ей-ей, и такие люди, как Сорелла. И встречи с ними ждешь в слепой вере, что они и впрямь существуют.

— Он напомнил мне, что спас Гарри. Для меня.

Перевод: эсэсовцы уничтожили бы его в два счета. Так что, не вмешайся бы этот чудодей, этот поганец с ист-сайдского дна, этот вечно голодный пострел, который вырос на колбасных обрезках и упавших с лотка яблоках...

Сорелла продолжала:

— Я объяснила Билли: без записок Деборы мне бы никогда к нему не пробиться. Он нас отверг. Вот что он ответил: не желаю, чтобы на меня накладывали какие-то обязательства, — что сделал, то сделал. Я не хочу расширять круг знакомств. Я для вас что-то сделал — пользуйтесь себе на здоровье. Но избавьте меня от своей благодарности и всего прочего тому подобного...

— Это я как раз могу понять, — сказал я.

Невозможно передать, какое удовольствие доставил мне Сореллин отчет о ее встрече с Билли. Ее удивительные откровения, не говоря уж о комментариях к ним. В словах Билли мне послышались отзвуки прощальной речи Джорджа Вашингтона*. Не давать себя втягивать. Билли должен был беречь себя для своих делишек, всецело отдать себя своим растрезвенным на весь мир неудачным бракам; а плюс к ним особнякам, образчикам убогой роскоши, которые он упоенно обставлял; а в придачу еще и колонкам светской хроники, эстрадным текстам и пылкой погоне за обольстительными, очаровательными мордашками, которых он, когда они, прервав бег и покидав все с себя, готовы были ему отдаться, не мог взять. Он не желал ничем себя связывать, чтобы без помех следовать по стезе порока. А теперь он прибыл в Иерусалим, чтобы удобрить еврейским величием и свою чахлую карьеру, и худосочную, убитую нью-йоркскую почву, родную ему почву. (Мне вспомнились тюремного вида дворики размером с носовой платок — редкие темные жердочки, узенькие полоски, которые урывали в самом сердце Манхэттена для листьев и травы**.) В Иерусалиме Ногучи соорудит для него укра-

* В прощальной речи 7 сентября 1796 г., своего рода политическом завещании, Джордж Вашингтон убеждал американцев не давать втягивать себя в союзы с европейскими странами, влекущие за собой обременительные обязательства.

** Здесь обыгрывается переименованное название книги Уолта Уитмена (1819—1892) «Листья травы».

шенный скульптурами парк Роза — в этом уголке, всего в нескольких километрах от сползающей к Мертвому морю обомлевшей пустыни, будет царить искусство.

— Скажите мне, Сорелла, чего вы хотели? Ваша цель?

— Чтобы Билли встретился с Фонштейном.

— Но Фонштейн давным-давно поставил на Билли крест. Они небось встречаются в «Царе Давиде» чуть не каждый день. Уж чего проще: остановить Билли и сказать: «Вы — Роз? Я — Гарри Фонштейн. Вы вывели меня из Египта b'yad hazzakah».

— Что это значит?

— «Рукою крепкой»*. Так Господь описал спасение Израиля — в моем детстве в меня вбивали эту науку. Но Фонштейн уже отступился. Тогда как вы...

— Я твердо решила, что Билли поступит с ним по справедливости.

Как же, разумеется: вас понял, прием. Все мы чем-то друг другу обязаны. Но Билли не услышал и не пожелал слушать эти общие места.

— Если бы вы вжились в чувства Фонштейна так, как я в них вжилась за эти годы, — сказала Сорелла, — вы бы согласились, что он должен получить шанс довести их до логического конца. Избыть их.

Я ответил ей в духе дискуссий на высшем уровне:

— Что и говорить, мысль неплохая, но сегодня никто не рассчитывает довести свои чувства до логического конца. Итоги больше не желают подводить. Это недостижимо.

— Не для всех.

* «Рукою крепкой вывел нас». Исход, 13:3.

Вот так меня вынудили пересмотреть мои умозаключения. И верно, как же быть с историей чувств самой Сореллы? Она прозябала в Ньюарке, где никто на нее не позарился, натаскивала своих учеников по-французски, пока ее дядюшку не осенило: а Фонштейн на что? Они поженились, и благодаря Фонштейну она достигла желанного итога, стала сумасшедшей женой, сумасшедшей матерью, выросла в своего рода биологическую достопримечательность, победоносную личность... фигуру!

Но ответ Билли был такой:

«Ну а я-то тут при чем?»

«Проведите минут пятнадцать один на один с моим мужем», — сказала Сорелла.

Билли ей отказал:

«Я таких вещей не делаю».

«Пожмите ему руку, он скажет вам спасибо».

«Во-первых, я уже предостерег вас относительно клеветы, а во-вторых, вы что думаете, я у вас в руках? Ничего подобного я не стану делать. И не должен делать — вы меня не убедили. Я не хочу, чтобы мне навязывали прошлое. Когда это было — давным-давно, лет сто назад. А сейчас у нас пятьдесят девятый год, и какое эти события имеют к нему отношение? Если ваш муж прилично прожил жизнь — его счастье. Пусть рассказывает про свою жизнь людям, которые любят истории из жизни. Меня они не интересуют. Меня и моя собственная история не интересует. Если бы мне пришлось ее выслушать, меня бы прошиб холодный пот. И пожимать руки всякому встречно-

му-поперечному я стал бы, только если бы выставил свою кандидатуру в мэры. Но вот поэтому я себя и не выставляю. Я заключаю сделку, тогдажимаю руку. А так предпочитаю держать руки в карманах».

Сорелла сказала:

— Дебора Хамет открыла мне подноготную Билли, так что я ожидала от него плохого, и он представлялся мне воплощением всего самого плохого — и репутация у него пятно на пятне, и не человек, а сплошные пороки — и с грязнотцой, и слабак, и дешевка, и извращенец. И вот я увидела его, как он есть: нечистый на руку, пробивной еврейчик, чья жизнь — сплошная цепь постыдных поступков. Посмотрите на него: нет чтобы летать бомбить врага, нет чтобы охотиться на хищных зверей или там тонуть в Тихом океане. Или попытаться покончить жизнь самоубийством — так тоже нет. И этот отброс — знаменитость, имя... Знаете, это слово «имя» Дебора произносила на сто ладов. По преимуществу она принижала Билли, но что ни говори, а имя есть имя, с этим нельзя не считаться! Когда американские евреи решили: миру пора осознать, что против евреев ведется война на истребление, они заполнили весь Мэдисон-сквер-гарден именами первой величины, и те пели и на иврите, и «Америка, прекрасный край». Голливудские звезды дули в shofar*. Но кто же поставил это театрализованное представление, кто обеспечил прессу, конечно же,

* Рог (*иврит*). В библейские времена в рог дули, объявляя начало битвы, сейчас — во время торжественных богослужений в синагоге.

Билли! К нему обратились, и он взял на себя общее руководство... Сколько людей может вместить Мэдисон-сквер? Так вот, туда набилось полным-полно народу — все как один в трауре. Я так думаю, вся площадь плакала. «Таймс» освещала это действие, а так как в «Таймс» все записывают, у них в записях отражено, как американские евреи взялись за это дело — созвали двадцать пять тысяч человек и в лучших голливудских традициях оплакали свое горе прилюдно.

Продолжая отчет об их беседе с Билли, Сорелла сказала, что он, как говорят на торгах, «набивал себе цену». Повел себя так, будто имел основания гордиться своими свершениями, своими успехами в делах, — я думаю, надеялся отстоять себя под прикрытием гордыни. Сорелла пока не выложила, что у нее есть против него. Рядом с ней на кресле — мебельщики назвали бы его козеткой — лежал (и Билли это видел) большой оберточной бумаги конверт. А в нем Деборины документы — что ж ей было брать в Биллин номер, как не их? О том, чтобы рвануться и схватить конверт, не могло быть и речи.

— Не ему со мной тягаться — я и куда ловчее, и куда увесистее, — сказала Сорелла. — Вдобавок я могла его поцарапать и еще завизжать. А ему дурно становилось от одной мысли о сцене, скандале. По правде говоря, вид у него и так был больной. В Иерусалим его привлек расчет сделать широкий жест, войти в еврейскую историю, взмыть в такую высь, куда эстрадникам нет доступа. Он познакомился лишь с одним образчиком из досье миссис Хамет-Хомут. Но

представьте себе, что газеты, желтые листки во всем мире могли бы сварганить из этих материалов? Вот почему он ждал, чего я потребую от него, — объяснила Сорелла.

Я сказал:

— Я все пытаюсь вычислить, чего вы хотели.

— Довести до конца главу жизни Гарри. Ее необходимо было завершить, — сказала Сорелла. — Она составляла часть плана истребления евреев. И именно на нас, на тех, кто жил по сю сторону Атлантического океана, где нам ничто не угрожало, и лежит долг найти какое-то решение...

— Найти решение? И кто же его будет находить — Билли Роз?

— Но он же принял участие в Гарри, и весьма деятельное.

Помню, я покачал головой и сказал:

— Слишком много хотите. С Билли так: где сядешь, там и слезешь.

— Похоже на то, Билли и впрямь сказал, что Фонштейн пострадал меньше других. Он не попал в Освенцим. Ему крупно повезло. На его руке не вытатуировали номер. Ему не пришлось сжигать трупы погибших в газовых камерах. Я сказала Билли, что итальянская полиция наверняка имела указание передавать евреев эсэсовцам и что многих евреев перестреляли в Риме в Ардеатинских пещерах*.

* В марте 1944 г. в Ардеатинских пещерах убили 320 итальянцев в отместку за 32 убитых немца.

— Что он на это сказал?

— Сказал: «Послушайте, дамочка, я-то почему должен ломать над этим голову? Мое ли это дело, тот ли я человек? Такие вопросы не мне решать...»

Я сказала:

«Я не прошу вас умственно перенапрягаться. Прошу лишь посидеть с моим мужем минут пятнадцать».

«Предположим, я соглашусь, — говорит он, — и что я с этого буду иметь?»

«Я передам вам Деборино досье вплоть до последней бумажки. Вот оно тут».

«Ну, а если я не соглашусь?»

«Тогда я передам его другому лицу или лицам».

Вот тогда-то он и взорвался:

«По-вашему, вы меня прищучили? Вы, как говорится, выкручиваете мне руки. Я не хотел бы говорить грубые слова при почтенной даме, но вы хватаете меня за яйца, иначе это не назовешь. Сейчас, учитывая, что привело меня в Иерусалим, у меня особенно щекотливое положение. Я хочу пожертвовать памятный дар. А может, было бы лучше не оставлять никаких свидетельств моей жизни, лучше, чтобы меня совсем забыли. И вот тут-то, в самое неподходящее время, являетесь вы — мстить за ревнивую женщину, которая хочет достать меня из могилы. Представляю, какое досье понасобирала на меня эта психопатка; что касается моих сделок, так она — кому это и знать, как не мне, — ничего в них не смыслила, ну а взятки и поджоги тоже мне не пришить. И что там еще у вас? Медицинские пустяки, которые никого, кроме меня,

не касаются, выведенные у актрисуль, клепавших на меня. И еще одно разрешите вам сказать, дамочка: даже выродок имеет право, чтобы с ним обращались по-человечески. И последнее: не так уж много тайн у меня осталось. Все мои тайны уже известны».

«Почти все», — сказала я.

Я заметил:

— А вы, однако, нешуточно на него давили.

— Ваша правда, — призналась Сорелла. — Но он отбивался изо всех сил. Насчет того, что он подаст в суд за клевету, — это чистой воды блеф. Я ему так и выложила. Указала, что прошу о самой малости. Даже написать записку Гарри и то не прошу, только позвонить по телефону и поговорить с ним минут пятнадцать. Он обмозговывал мое предложение стоя — очи долу, ручонки на спинке дивана: сесть не захотел, опасался, наверное, что я сочту это уступкой, — и снова ответил мне отказом. Сказал, что не желает встретиться с Гарри и от слова своего не отступится.

«Я уже сделал для него все, что мог».

«Тогда вы не оставляете мне выбора», — сказала я.

Не поднимаясь с полосатой козетки, Сорелла открыла сумочку, поискала платок, промокнула виски, складки на руках, на сгибе локтей. Белый платок казался не больше бабочки-капустницы. Промокнула под подбородком.

— Он, должно быть, орал на вас, — сказал я.

— Он сразу перешел на крик. Но я предвидела, что он закатит истерику. Он сказал: что ни делай, всегда кто-то только и ждет, чтобы тебя порезать, плеснуть

кислотой в лицо или разодрать на тебе платье и оставить в чем мать родила. Эту старую курву Хамет он держал из милости — у нее глаза и так со швихом, а она еще нацепляла на нос кривые окуляры-блюдца. Выкапывала девчонок, которые уверяли, что в смысле полового развития он на уровне десятилетнего мальчишки. Ему на все в высокой степени наплевать, его всю жизнь унижали, и унижить больше его невозможно. У него даже груз с души свалился — теперь ему больше нечего скрывать. Ему все равно, что там понаписывала Хаметша, эта старая стервозина, которая совала свой нос куда не надо, плевала кровью, а последний свой плевок приберегла для самого ненавистного ей человека. Меня же он обозвал жирной кучей дерьма!

— Совсем необязательно все повторять, Сорелла.

— Тогда не буду. Но я вышла из себя. Он подорвал во мне чувство собственного достоинства.

— Вы что, хотели его ударить?

— Я запустила в него конвертом. Сказала: «Не желаю, чтобы мой муж разговаривал с таким человеком, как вы. Вы недостойны...» Я метила Дебориным конвертом в него. Но с непривычки промахнулась, и конверт угодил в открытое окно.

— Вот это да! И что тогда сделал Билли?

— Вмиг перестал кипятиться. Кинулся к телефону, набрал номер портъе, сказал: «У меня из окна выпал важный документ. Я требую, чтобы его незамедлительно доставили ко мне. Вы поняли? Немедленно. Сию же секунду». Я направилась к двери.

Не то чтобы мне хотелось сделать какой-то жест, но в глубине души я все же девушка из Ньюарка. И я сказала: «Сами вы дерьмо. Знать вас не желаю», и — как итальянцы в уличных драках — стукнула себя ребром ладони по руке.

И без аффектации, посмеиваясь, стиснула кулачок и ребром другой руки провела по бицепсу.

— Чисто американский финал.

— Ой, эта история вся от начала до конца на сто процентов американская, — сказала она, — и притом характерная для нашего поколения. У наших детей все будет иначе. Паренек вроде нашего Гилберта, с его летними математическими лагерями? Пусть он всю свою жизнь не знает ничего, кроме математики. Что может быть дальше от ист-сайдских многоквартирных домов и ньюаркских задворок.

Разговор наш случился, когда пребывание Фонштейнов в Иерусалиме близилось к концу, и теперь я жалею, что не отменил кое-какие встречи ради них: что бы мне покормить их обедом в «Дагим Бенни», хорошем рыбном ресторане. При желании я мог разделаться с обязательствами. Но мыслимо ли ухлопать столько времени в Иерусалиме на чету из Нью-Джерси по фамилии Фонштейн! Да, вот именно, что мыслимо. Сегодня я жалею, что не сделал этого. Чем больше я думаю о Сорелле, тем более обаятельной представляется она мне.

Помню, я ей сказал:

— Жаль, что вы не попали в Билли этим конвертом.

Но мне было ясно, что при ее жирах где уж ей попасть в цель, она и поднимала-то руки с трудом.

Она сказала:

— Едва я выпустила конверт, как мне стало ясно, что я жажду освободиться от него и от всего с ним связанного. Бедная Дебора, миссис Хомут, как вы предпочитаете ее называть! Я поняла: напрасно я примкнула к ее делу, делу всей ее трагической жизни. Тут призадумался о возвышенном и низменном в человеке. Предполагается, что любовь — чувство возвышенное, но вообразите, что вы влюбились в типа вроде Билли. Мне от Билли не нужно было ничего — ни для себя, ни для Гарри. Дебора завербовала меня и теперь через меня вела свои баталии с Билли, не давала ему житья и из могилы. Тут Билли был прав.

Таков был наш последний разговор. Мы стояли на обочине подъездной дорожки «Царя Давида», ждали, когда Фонштейн сойдет вниз. Багаж уже погрузили в «мерседес», к этому времени каждая вторая машина в Иерусалиме была «мерседес». Сорелла сказала:

— Как вы объясняете эту историю с Билли?

Тогда я еще не избавился от столь свойственного обитателям Гринвич-Виллиджа пристрастия к теоретизированию — этой глубокомысленной забавы, популярной среди мальчишек и девчонок из буржуазных семей в недозрелую, отданную богеме пору. Стоило затеять с кем-нибудь разговор по душам, и, по душе это тебе или не по душе, тебя наставляли на ум, пока ум за разум не зайдет.

— Для Билли все происходящее в мире своего рода эстрадный спектакль, — сказал я. — Спектакли для него реальность, жизнь — нет. Почему он не захотел играть роль в вашей постановке: да потому что он продюсер, продюсеры же руководят постановками, а не исполняют роли.

Но Сореллу мои соображения не впечатлили, и я поднатужился.

— Не исключено, что Билли прежде всего интересен своим упорным нежеланием встретиться с Гарри, — сказал я. — Билли понимал, что никак не соответствует Гарри. Ему до Гарри далеко.

Сорелла сказала:

— Вот это уже ближе к делу. Но если хотите знать, как я вообще смотрю на это, вот вам мои соображения: чего только не обрушила на евреев Европа, но они выжили. Я говорю о тех немногих, кому посчастливилось уцелеть.

Но теперь им предстоит новое испытание — Америкой. Удастся ли им выстоять, или США их подомнут?

Это была наша последняя встреча. Больше я никогда не видел Гарри и Сореллу. Как-то в шестидесятых Гарри позвонил мне — обсудить Калифорнийский политех*. Сорелла не хочет, чтобы Гилберт учился так далеко от дома. Единственный ребенок и всякая такая штука. Гарри был горд донельзя — у мальчика блестящие результаты тестов. Мое сердце родители

* Калифорнийский государственный политехнический колледж, основан в 1901 г.

вундеркиндов не трогают. Я им не сочувствую. Они роют себе яму, кичась успехами детей. Вот почему я сухо обошелся с Фонштейном. В ту пору время было мне невероятно дорого. До ужаса дорого, как я теперь вижу. Не самый привлекательный этап на пути вынашивания (вызревания) успеха.

Не скажу, что мои отношения с Фонштейнами прекратились. Если не считать Иерусалима, мы и вообще-то не поддерживали отношений. Я тридцать лет кряду лелеял надежду, что мы снова будем видеться. Они были просто замечательные. Я восхищался Гарри. Положительнейший человек и какой мужественный! Сорелла же обладала на редкость мощным умом, а в наше демократическое время, отдаете вы себе в этом отчет или нет, вас вечно тянет к людям классом выше. Но зачем я вам буду объяснять, что и как. Всем известно, что такие стандартные изделия и взаимозаменяемые детали, все понимают, как воздействуют ледники на общественный ландшафт, как сравнивают с землей возвышенности, сносят неровности. Не буду впадать в занудство. Сорелла была женщиной редкой, из ряда вон (или, как говорит один из моих внуков, «вон из ряда»). Поэтому я, конечно же, намеревался почаще встречаться с ней. Но не встречался вовсе. Да, благими намерениями... Я думал как-нибудь выбрать время для Фонштейнов, написать, пригласить на День благодарения, на Рождество. А может, и на еврейскую пасху — праздник Исхода. Но насчет этого праздника тут дело такое — его на нашей улице не будет.

Наверное, во всем виновата моя редкостная память. Раз я их так хорошо помнил, зачем мне было с ними встречаться? Я держал их в уме в подвешенном состоянии — разве этого недостаточно? Они неизменно присутствовали в списке действующих лиц, неизменно *in absentia**. У меня для них как-то ничего не подыскивалось.

Следующее событие из этой серии случилось в прошлом марте, когда зима, хоть и не без воркотни, выпустила Филадельфию из своих тисков и начала отступать, истекая ручьями слякоти. И тогда на городской грязи расцвела весна — пришла ее пора. Во всяком случае, в моем огороженном миллионерском садочке эта пора породила на свет крокусы, подснежники и новые почки. Я потаскал туда-сюда лестницу по библиотеке, снял с полки томик стихов Джорджа Герберта, отыскал те, где говорится «Столь чист и свеж. Господь, восстань»** или что-то в этом роде; пока я спускался вниз, на моем столе, за которым не постыдился бы сидеть и высокородный англосакс нешуточного достатка, зазвонил телефон. И затеялся типично еврейский разговор:

— С вами говорит раввин Икс (или Игрек). Мой приход... — ну и ну, словечко из лексикона протестантов: не иначе как реформист, а в лучшем случае

* в отсутствии (*лат.*).

** Строка из стихотворения «Цветок» Джорджа Герберта (1593–1633), английского поэта-метафизика, последователя Джона Донна, автора религиозных стихотворений (пер. А. Величанского).

консерватор; ни один ортодоксальный раввин не сказал бы «приход», — в Иерусалиме. Ко мне обратился некто по фамилии Фонштейн.

— Не Гарри? — спросил я.

— Нет. Я для того и звоню вам, чтобы попросить найти Гарри. Иерусалимский Фонштейн говорит, что Гарри доводится ему племянником. Он родом из Польши, сейчас находится в психиатрической больнице. Он с большими отклонениями, живет в мире фантазии. У него частые галлюцинации. Ужасно неряшливый, вернее, даже грязный. У него нет никаких средств к существованию, он известный побирушка, городской сумасшедший, пророчествует на улицах.

— Картина ясна. У нас тоже есть такие бродяги, — сказал я.

— Совершенно верно, — сказал раввин Икс или Игрек тем человеколюбивым тоном, который так трудно переносить.

— Может быть, перейдем к делу? — спросил я.

— Наш иерусалимский Фонштейн утверждает, что приходится Гарри родственником, а Гарри очень богат...

— Мне не привелось видеть его финансовую декларацию.

— Но помочь он может...

Я продолжал:

— Ваше соображение ни на чем не основано. Говоря предположительно...

Впадаешь в напыщенность. Холостяк, живешь в особняке, пыжишься, чтобы соответствовать обстанов-

ке. Я переменял пластинку, отбросил «предположительно» и сказал:

— Мы с Гарри давно потеряли друг друга из виду. Вы не можете его найти?

— Я уже пытался. Я пробуду здесь всего две недели. В данный момент я в Нью-Йорке, но цель моей поездки Лос-Анджелес. Адресовать на... — (он произнес какой-то незнакомый мне набор букв). Дальше он сказал, что иерусалимский Фонштейн нуждается в помощи, бедняга с большим приветом, но при том, что он совершенно подорван как в смысле физическом, так и в умственном (я передаю его текст своими словами), он весьма достойный человек. Лишившись рассудка вследствие гонений, утрат, смертей и ужасов истории, он в умоисступлении обращается за помощью к людям, к Богу — пусть помогут, а кто сколько — не важно. Может быть, в равнине и чувствовалась фальшивинка, но я поверил ему — с такими случаями и с такими людьми я сталкивался.

— Ведь вам он тоже родственник? — спросил раввин.

— Скорее свойственник. Вторая жена моего отца приходилась Гарри теткой.

Я так и не сумел полюбить тетю Милдред, уважать и то не уважал. Но, видите ли, она занимала свое место в моей памяти, и, наверное, не без причин.

— Могу ли я просить вас разыскать Гарри Фонштейна и дать ему номер моего телефона в Лос-Анджелесе? У меня с собой список фамилий его родственников, и по нему Гарри Фонштейн мог бы признать, определить иерусалимского Фонштейна. Или

не признать, если этот человек ему не дядя. Вы сделаете mitzvah*.

Избави меня Господь от этих добрых дел.

Я сказал:

— Хорошо, рабби. Я отыщу Гарри ради этого несчастного безумца.

Иерусалимский Фонштейн дал мне повод связаться с Фонштейнами. (Или по крайней мере стимул.) Я записал телефон раввина в книжку, под последним из значащихся там адресов Фонштейна. В ту пору на меня навалилось множество других неотложных дел и обязательств, кроме того, я был не готов к разговору с Сореллой и Гарри. Сперва мне надо было провести кое-какую работу над собой. Едва моя шариковая ручка вывела эти слова, как мне вспомнился заголовок знаменитой книги Станиславского «Работа актера над собой», — опять-таки конкретный факт возвратил меня к памяти — моему занятию, призванию — ее развитию я отдал жизнь, но до чего же она отягощает меня на старости лет.

Потому что именно тогда (то есть теперь: «Теперь, теперь, когда как не теперь») у меня имелись и имеются трудности с ней. Минувшим утром у меня произошел провал в памяти, и я едва не спятил (не считаю возможным утаить такой существенный случай). Я ехал к зубному врачу в центр. Вел машину сам — я опаздывал, а на такси по вызову не полагался. Я поставил машину на стоянке за несколько кварталов, в суматошное будничное утро ничего другого мне не оставалось: все ближние

* доброе дело (*идиш*).

стоянки были забыты. Выйдя от зубного врача, я заметил, что в голове у меня (в такт шагов, очевидно) вертится мелодия. Ее слова всплыли в моей памяти:

На берегу...
На берегу...
...на берегу... реки

Но как же название реки! Песню эту я пою с детства, лет семьдесят с гаком, она вошла в мое сознание. Классическая песня, ее знают все американцы. Моего поколения, во всяком случае.

Я остановился у витрины спортивного магазина, торгующего, как оказалось, сапогами для верховой езды, лоснящимися сапогами, мужскими и женскими равно, клетчатыми попонами, красными фраками и всевозможными причиндалами для охоты на лис, вплоть до медных рожков. Все выставленные на обозрение предметы настырно лезли в глаза. Клетки на пополах, наособицу яркие, чередовались четко, с четкостью, завидной для человека, в чьем уме воцарился хаос.

Как же название этой реки?

Остальные слова вспомнились сами собой:

Сердце мое томится,
Там живут мои старики.
Мир стал печальным и тусклым,
И всюду мне не житье.
Черномазые, отчего же,
Устало сердце мое?*

* Песня «Старики в родном краю» Стивена Фостера (1826–1864), автора многих известных американских песен, в том числе прославленной «Сюзанны».

И так далее.

Мир стал тоскливым и тусклым. Точнее не скажешь, чтоб тебе... Отказал какой-то винтик, шпунтик в мыслительном аппарате. Первый звонок? Начало конца? Забывчивость объясняется психическими причинами, тут двух мнений быть не может. Я сам этому учил. Надо ли говорить, что не каждый примет подобные погрешности памяти так близко к сердцу. Мост рухнул: я не мог перейти реку, как ее там... Меня так и подмывало разбить витрину ручкой зонтика, а когда из магазина повыскакивают люди, закричать: «Господи! Напомните мне слова. Я застрял на берегу... берегу!.. — и хоть ты что». И тогда бы они — я живо это себе представил — набросили красную, ослепительно красную попону — нити огнем горят — мне на плечи и уволокли бы в магазин, ждать, пока не приедет «скорая».

На стоянке я все порывался спросить кассиршу — в таком я был отчаянии. Когда она бросила в круглое отверстие стеклянной перегородки: «Семь долларов», я едва удержался, чтобы не напеть ей мелодию. Но она была чернокожей — кто ее знает, еще обидится: ведь в песне упоминаются черномазые. И какие, спрашивается, основания были у меня предполагать, что и она выросла на Стивене Фостере? Решительно никаких. По тем же причинам я не мог спросить и тамошнего служителя.

Но стоило мне сесть за руль, как сцепление сработало, и я завопил:

— Сванни... Сванни... Сванни... — и стал колотить кулаком по рулю. У себя в машине, если закрыть окна, можно делать все что хочешь. Это одна из тех вольностей, которые обеспечивает владение машиной.

— Ну конечно же! Сванни. Или Сувонни (так предпочитают называть ее на Юге). — Но этот случай обозначил кризис в моей умственной жизни. Я заглянул в Джорджа Герберта не только для того, чтобы почитать о соответствующей поре года, была тому и другая причина — проверить свою память. Точно так же и мои воспоминания об иске Фонштейна к Розу — не только проверка памяти, но и более общее исследование ее же; ведь если вспомнить утверждение, что память — это жизнь, а забвение — смерть («блаженное», такое прилагательное чаще всего присовокупляют писатели к существительному «забвение», — разве оно не отражает господствующее мнение, что горе в жизни преобладает), я как минимум доказал, что еще могу бороться за существование.

В надежде победить? Ну и что же это будет за победа?

Я принял на веру слова раввина Икс (Игрек), что Фонштейны переехали и их невозможно разыскать. Не исключено, что они, как и я, отошли от дел. Я по-прежнему кантуюсь, как говорят, в Филадельфии, а они, вероятнее всего, оставили угрюмый Север, где идет борьба за существование, и перебрались в Сарасоту или Палм-Спрингс. Они вполне могли себе это позволить. Америка как-никак была добра к Гарри Фонштейну и свои сказочные обещания овецествовала. На его долю не выпала самая тяжкая здесь участь —

необходимость тянуть ляжку на заводе, в конторе или государственном учреждении. И так как я желал Фонштейнам добра, я радовался за них. За моих высокоценимых *in absentia* друзей, которым я отвел уютное местечко в своем сознании.

Не получая от меня вестей, они, по моим предположениям, решили — тридцать лет все-таки прошло — поставить на мне крест. Фрейд постановил, что подсознание не признает смерти. Но как видите, сознание тоже выкидывает фокусы.

Итак, я засел за работу, стал выкапывать из памяти, как картошку, позабытые имена родственников: Розенберг, Розенталь, Соркин, Свердлов, Бляйштиф, Фрадкин. Еврейские фамилии тоже любопытная тема — большинство из них навязано немецкими, польскими или русскими властями, другие — творение еврейской фантазии. И до чего же часто она обращалась к имени Роза, что имело место и в случае с Билли. Иных названий цветов в черте оседлости не ведали. Таких, как маргаритка, скажем. Ромашка. Из таких названий фамилии не сделать.

О тете Милдред, моей мачехе, последние годы жизни пеклись ее родственники из Элизабета* — Розеншафты, и я начал поиски с них. По телефону они сначала разговаривали со мной сухо и неприветливо: я редко посещал Милдред перед смертью. Она, как мне казалось, повалилась утверждать, что воспитала меня и, более того, помогла мне окончить колледж. Денги на мое образование обеспечил страховой по-

* Город в штате Нью-Джерси.

лис «Благоразумие», выплаченный моей родной матерью.) Обиды несмертельные, но они дали мне повод отдалиться от Милдред, что и требовалось. Да и Розеншафтов я недолюбливал. После смерти моего отца они присвоили себе его часы и цепочку. Но в конце концов, хоть часы и цепочка были мне дороги как память, я мог обойтись и без них. Старая миссис Розеншафт сказала, что потеряла Фонштейнов из виду. Ей кажется, скорее всего могут знать, куда переехали Гарри с Сореллой, Свердловы из Морристауна.

Справочная дала мне телефон Свердловых. Я набрал номер и наткнулся на автоответчик. Голос миссис Свердловой, старательно выговаривающий слова на манер, свойственный скорее верхушке буржуазного Морристауна, чем ее родимому Ньюарку, попросил меня назвать мое имя, номер телефона и когда мне можно позвонить. Я терпеть не могу автоответчики, так что я повесил трубку. Кроме того, я избегаю давать номер своего телефона — он и в телефонном справочнике не значится.

Этим вечером, когда я поднимался в свой кабинет на втором этаже, держась за перила в классическом стиле и предаваясь раздумьям о том, до чего мне опостылел этот великолепный особняк, где я один как сыч, мне снова подумалось о Сарасоте и компанейских Флорида-Кис*. Слоны и акробаты, цирки на зимних квартирах** — куда занимательнее. О том, чтоб

* Острова к югу от полуострова Флорида (США).

** В Сарасоту переезжают на зимние квартиры знаменитые цирки братьев Ринглинг и Хагенбека.

перебраться в Палм-Спрингс, не могло быть и речи. И хотя во Флорида-Кис кишмя кишат гомы, я куда свободнее чувствую себя с голубыми — даром, что ли, я столько прожил в Виллидже, — чем с калифорнийскими дельцами. В любом случае мне обрыдли и девятиметровые потолки, и одиночество среди мебели красного дерева. Особняк предъявлял ко мне непомерные требования, и они явно стали мне невмоготу. Я давным-давно достиг всего — смог позволить себе такой особняк и содержал его на уровне. А теперь заберите его, думал я, переиначивая старую мелодию: «До чего надоели мне розы, заберите вы их себе». Я решил завести разговор на эту тему с моим сыном Генри. Жена его недолюбливала мой особняк; она тяготела к современности и к тому же весьма язвительно высказывалась о соревновании новоиспеченных американских богатеев по сю сторону океана с титулованными богачами викторианского Лондона по ту сторону его. Когда я попытался передать дом им, она и слушать не захотела.

Я что думал: найди я Гарри и Сореллу, почему бы мне не присоединиться к ним и не доживать остаток дней вместе с ними на покое, если они примут меня в компанию (простив, что я так долго пренебрегал ими). Я задавался вопросом — что очень для меня характерно, — не преувеличил ли я (в тоске по женщине более глубокого склада) Сореллины достоинства в воспоминаниях, и стал и дальше думать об этой необычайной личности. Я никогда не забывал ее слова о проверке американским опытом, которая ждет евреев. Ее раз-

говор с Билли Розом сам по себе был типично американским. И опять же Билли: слабак? Слабак! Суетный? Еще какой! И мелкотравчатый, что есть, то есть. Подонковатый Билли. Все так. И вместе с тем подетски великодушный, широкий, а это не просто-напросто лестное определение из «Америка, прекрасный край» (вроде «широких просторов») — ведь откинул же он двадцать миллионов наличными на парк культуры и отдыха в Иерусалиме, этом средоточии еврейской цивилизации, пупе Земли. Швихнутая щедрость, поистине американского толка. Американского и восточного разом.

И даже если в конце концов я и не поселюсь около Фонштейнов, я могу к ним навеститься. Я неотвязно думал, почему я отдалился от такой потрясающей пары, Сореллы с ее загадочной грузностью, Фонштейна с его красноватой от загара кожей (некогда иссера-белой), его похожим на плод граната лицом. Почему бы не войти к ним в компанию третьим долговязому старику со странной загогулиной хохла на макушке?

Вот отчего я пустился на поиски Гарри и Сореллы. Не только потому, что я обещал равнину Икс (Игрек), и не ради старого безумца в Иерусалиме, которому не на что жить. Если ему нужны были всего лишь деньги, мне ничего не стоило выписать ему чек или поручить это моему банкиру. Банкиры берут за подобную услугу восемь долларов, и один телефонный звонок решил бы вопрос. Но я предпочел взяться за дело лич-

но, сам звонил из дому, из своего кабинета, в обход института «Мнемозина» и его секретарш.

Вооружившись старыми записными книжками, я обзвонил чуть не всю страну. (Что бы на кладбище быть коммутаторам: «Алло, девушка, мне нужен код 000».) Я не хотел впутывать институтских секретарш в свои дела, а в свои поиски и подавно. Когда же мне удавалось дозвониться, разговор принимал странный характер и заставлял основателя «Мнемозины» сильно напрягать память.

— Быть того не может, как поживаете? — обычно спрашивала меня собеседница, которую я уже лет тридцать в глаза не видел. — Помните Макса, моего мужа? А Зою, мою дочку?

Найду ли я, что на это сказать?

Да, найду. Но опять же встает вопрос: а зачем? Забвение в таких случаях было бы приятнее всего — я мог бы сказать:

— Макса? Зою? Нет, пожалуй что нет.

Когда ты отбился от семьи, перебрался в удаленные от нее социальные сферы так давно, что она для тебя как в тумане, беспорядочные воспоминания могут стать своего рода проклятием. Обращая взор вспять, видишь в первую очередь психов, уродов, дешевок, жадюг, мнимых больных, семейных зануд, гуманоидов и тиранов. Они умеют оставить по себе неизгладимое впечатление. Куда труднее восстановить в памяти добрые глаза, кроткие лица комиков, которые бескорыстно старались развеять тебя, отвлечь от неприятностей. Существенная часть моего метода осно-

вана на том, что логические цепочки, помогающие запоминанию, выстраиваются по тематическому принципу. Там, где ощущается нехватка тем, не удается вспомнить почти, а то и вовсе ничего. Так, к примеру, Билли, наш приятель Беллароза, никак не мог определить, откуда ему известен Фонштейн, из-за того, что темы чисто человеческие, увы, довольно невещественны, вот дела, реклама или секс — это совсем другой коленкор. Прибегну к в высшей степени отрицательному примеру: встречаются убийцы, которые начисто забывают о своих преступлениях, потому что их решительно не интересует — будут жить их жертвы или нет. Итак, дорогие слушатели, лишь темы, имеющие отношение к делу, позволяют вспоминать в полном объеме.

Кое-кто из стариков, до которых я дозванивался, с жаром обрушивался на меня:

— Если ты столько всякого обо мне помнишь, как же так получилось, что ты с самой корейской войны к нам носу не казал!..

— Нет, не могу ничего сказать тебе о Залкиндовой племяннице Сорелле. Залкинд вернулся в Нью-Джерси после того, как к власти пришел Кастро. Он умер в жалком доме для престарелых в конце шестидесятых.

Один старик заметил:

— Календарные страницы осыпаются. Перхоть времени — вот что они такое. Чего вы хотите от меня?

Я звонил им из филадельфийского особняка, и это ставило меня в невыгодное положение. Когда человек моего ранга сталкивается с людьми из Пассейка,

Элизабета или Патерсона*, ему открывается, какие преграды он возвел против пошлости или, скажем, недалекого склада ума. Я не желал беседовать ни о государственной медицинской помощи престарелым, ни о бесплатных талонах для пенсионеров, ни о слуховых аппаратах, ни об электрокардиостимуляторах, ни об обходном шунтировании.

Кое-кто из моих информаторов поругивал Сореллу:

— Залкинд был холостяк, бездетный, ей бы следовало как-то о нем позаботиться.

— Он никогда не был женат?

— Нет, — сказала желчная дама на другом конце провода, — но Сорелле он нашел мужа — пожалел своего брата. Только они все равно съехали, так что вам за разница?

— Вы не можете сказать, где найти Сореллу?

— И мне это очень нужно знать.

— Нет, — сказал я, — вам это не очень нужно знать.

Так, значит, Залкинд сватал других, а сам прожил жизнь холостяком. Он бескорыстно нашел мужа братней дочери, свел двух ущербных людей.

А другая дама высказалась о Сорелле так:

— Она ни с кем не сходилась. Много о себе понимала. Ей знай подавай знаменитостей. Как-то раз я предложила включить ее в туристическую поездку в Европу. Сестры нашей синагоги составляли комплексное турне, чартерный рейс — первый класс. Так Сорелла сказала мне, что французский ее второй язык и переводчик в Париже ей не нужен. Что бы мне ей

* Небольшой город в штате Нью-Джерси.

тогда сказать: «Я тебя знала еще тогда, когда ни один мужик на тебя не то что не посмотрел бы, а об тебя и не высморкался бы». Вот как оно было. Сорелла не считала себя нам ровней...

Я понял, чем были недовольны дамы (причем все — одним и тем же). Они ставили миссис Фонштейн в вину, что она заносилась, была больно гордая. Чуть не все они были уязвлены. Она предпочла им общество миссис Хамет, старой актрисы с восковым лицом туберкулезницы. Больно гордой Сорелла была также и с Билли — швырнуть в него смертоносное досье могла только женщина высшего толка, женщина умная и утонченная. Царственная, властная и оттого одинокая. Вот какой вывод я сделал из показаний старых сплетников, которых обзвонил из моих троекратно изолированных филадельфийских владений.

Мы с Фонштейнами были предназначены друг для друга. Они тем не менее не хотели навязывать мне свое общество. Сочли, что я выше их по положению, вращаюсь в изысканных филадельфийских кругах и не нуждаюсь в их дружбе. Не думаю, чтобы моей покойной жене Дейдрре пришлось по вкусу Сорелла: и пенсне, и надменность, и склад ума, и проблемы с габаритами — она бы, к примеру, с трудом втиснулась в хепплуайтовское кресло в нашей столовой — все обернулось бы против нее. С Фонштейном же Дейдрре чувствовала бы себя сравнительно легко. А я хоть и не поклонник ассимиляции, все же не любитель малоподходящих сочетаний — и вот вам результат: у меня двадцать комнат — и все пустуют.

Помню, как мы ехали с моим покойным отцом по западной Пенсильвании. Он все поражался — столько земли, и ни одного человека. Какие просторы! Долго молчал, смотрел на проносящийся пейзаж, застыв в характерном для путешественников трансе — точь-вточь так же он застывал над шахматной доской, — потом сказал:

— Эх, сколько евреев здесь можно бы расселить! И всем бы хватило места.

Временами я ощущаю себя чем-то вроде лунки, тоскующей по выдернутому зубу.

Я набирал один номер за другим, а сам представлял себе свое воссоединение с Фонштейнами. Я мысленно поселил их в Сарасоте (штат Флорида) и рисовал себе, как в солнечные деньки мы гуляем по кварталам, куда переезжают на зиму цирки Ринглингов и Хагенбека, беседуя о делах давно минувших дней, «Царе Давиде», запропастившихся чемоданах Билли Роза, по-восточному невозмутимом Ногучи. В потрепанных оберточной бумаги конвертах отыскивались цветные фотографии из Иерусалима, и среди них фотография Фонштейна и Сореллы на фоне Иудейской пустыни и Иезекииловых горящих камней, еще (и по сей час) отдающих жаром, тех самых пылающих камней, меж которыми ступали херувимы. И посреди этой обители ярости двое моих современников — мужчина в деловом костюме и женщина в развевающемся белом платье, супружеская чета держится за руки, ее пухлую ладонь сжимают его пальцы изобретателя. Я невольно подумал, что у Сореллы не было биографии

до тех пор, пока в ее жизнь не вошел Фонштейн. У него, Гарри, которого Гитлер решил убить, биография тоже была, лишь поелику Гитлер выбрал его в жертвы, поелику он бежал, был спасен Билли, добрался до Америки, усовершенствовал термостат. И вот они, запечатленные в цвете, а на заднем плане Иудейская пустыня — так, наверное, на Кони-Айленде былых времен супружеские пары фотографировались на фоне размалеванного задника или верхом на молодом месяце. Они приехали туристами на Святую землю — интересно, было ли это вехой в их биографии? Вспоминают ли они об этом путешествии или нет? Этот вопрос, который снова заставил меня заглянуть в себя, вместо ответа, чисто по-еврейски, повлек еще один вопрос: что там было такого, о чем стоило бы вспоминать?

Когда я поднялся наверх — дело было позапрошлой ночью, — я никак не мог заставить себя пойти спать. Уж очень надоедает пещься об этой кукле в человеческую величину, пожилom отставнике, пичкать его таблетками, натягивать на него носки, зачерпывать для него корнфлекс, брить его, следить за тем, чтобы он выпался. И, миновав спальню, я прошел в гостиную на втором этаже.

Борясь с рассеянностью, я отвел для разного рода дел разные кабинеты — счетами, банковской, юридической перепиской я занимаюсь на нижнем этаже, трудам более возвышенного свойства предаюсь наверху. Дейдре такой порядок одобряла. Он ставил перед ней задачу — подобрать для каждого кабинета соот-

ветствующую его назначению обстановку. У меня среди прочих есть и такой способ рассеяться — я обхожу антикварные лавки, отыскиваю утварь, похожую на нашу, разглядываю ее, прицениюсь и всякий раз убеждаюсь, что по части покупок Дейрдре не знала ошибок. Этими обходами я настраиваю себя против Филадельфии — как можно жить в городе, где, если заскучаешь под вечер, больше нечем себя занять.

Телефон в моей комнате на втором этаже, тот французский с раструбом сине-белого кемперского фарфора*, Дейрдре купила его на бульваре Гаусманна — не исключено, что барон Шарлю** флиртовал по нему со своими дружками и, тихо журча в этот самый телефон, плел хитроумные интриги. Если бы призрак барона Шарлю вселялся в предметы домашнего обихода, то-то бы он позабавился, глядя, как я снова и снова набираю номер Свердловых, упорствуя в розысках Фонштейнов.

Этот образчик *art nouveau****, изготовленный на потребу тем, кто прячет свое невежество в вопросах науки (а как, кстати, работает телефон?) с помощью высокохудожественных безделок, снова соединил меня с Морристауном — и на этот раз ответил сам Хаймен Свердлов. Стоило мне услышать его голос, и он возник передо мной, а вслед за ним в моей памяти возроди-

* Кемпер — город во Франции, прославившийся своими керамическими изделиями.

** Герой эпопеи Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».

*** Буквально: нового искусства (*фр.*).

лась и его жена и встала рядом с ним. Свердлов — он с Фонштейном в близком родстве — занимается тем, что советует вкладчикам, как помещать капиталы. Возвращенный на Уолл-стрите, он поселился в модном Нью-Джерси. Почтенный, обтекаемый, выдержанный, «приглушенный», если охарактеризовать его словом из обихода специалистов по интерьеру. В его внешности угрюмость соседствовала с сознанием своей правоты. Он, возможно, понимал, что плохо распорядился своей жизнью, но пересматривать ее было уже поздно. И он решил соблюдать хороший тон — держался чрезвычайно вежливо, одевался в серые и бежевые костюмы от «Брукс бразерс» — и тем довольствоваться. Он ни к чему не проявлял особенного интереса. Нынче, чтобы ассимилироваться, вовсе не обязательно креститься. Нет нужды делать выбор между Иеговой и Иисусом. Я знал старого Свердлова. Сын унаследовал его исконно еврейское, смуглое, корявое лицо. Но каким-то образом умудрился убрать с него еврейскую целеустремленность. Ее сменило выражение исключительной надежности. Он умел вести разговор. Ему вполне можно было доверить ваши пенсионные сбережения. Он бы никогда не рискнул необдуманно поместить ваш вклад. Дети его пошли — первый по биохимии, второй по молекулярной биологии. Его жена могла теперь всецело посвятить себя своим акварелям.

На мой взгляд, Свердловы были люди очень умные. Не исключено, что и незаурядно умные. То, что произошло с ними, было неотвратимо.

— Не могу ничего сообщить вам о Фонштейне, — сказал Свердлов. — Я потерял его из виду...

Я понял, что, как и Фонштейны, Свердлов с женой живут обособленно. Не то чтобы они пошли на это сознательно. Просто ты следовал себе своей дорогой, а глядь — и ты уже в Большом Нью-Йорке, но не в каких-нибудь затрушенных кварталах, а устроен вполне прилично. Биография теперь стала делом выбора. Иметь биографию или не иметь теперь всецело зависит от тебя.

Невозмутимый Свердлов — он, конечно же, меня помнил (человек состоятельный, я мог бы быть ему выгодным клиентом; тем не менее я не различил в его голосе и намек на укор) — теперь спрашивал, зачем мне нужен Гарри Фонштейн. Я сказал, что сумасшедший старик в Иерусалиме нуждается в помощи Гарри. Свердлов тут же прекратил расспросы.

— Собственно, у нас никогда не было близких отношений, — сказал он. — Гарри достойнейший человек. Но жена у него несколько деспотичная.

Слова Свердлова, если их расшифровать, означали, что Эдна Свердлова невзлюбила Сореллу. Очень скоро понимаешь, как дополнять простейшие высказывания, которыми ограничиваются люди типа Свердлова. Они держатся замкнуто и чуждаются (а может быть, и не выносят) психологических сложностей.

— Когда вы в последний раз виделись с Фонштейнами?

— Еще в лейквудский период, — сказал тактичный Свердлов, он не упомянул о смерти моего отца: зачем

касаться болезненной темы. — Мне кажется, еще в ту пору, когда у Сореллы не сходил с языка Билли Роз.

— Да, они чувствовали, что между ними существует связь. Билли не желал с этим считаться... Значит, они и при вас разговаривали о Билли?

— Даже люди вполне разумные и то теряют голову из-за знаменитостей. Ну разве Гарри мог притязать на Билли Роза: Билли много для него сделал, чего еще он хотел? К такому человеку, как Роз, рвется столько людей — ему приходится положить этому какой-то предел.

— Чем не табличка в лифте: «Больше полутора тонн не поднимает»!

— Если хотите, да.

— Когда я думаю о коллизии Фонштейн — Билли, — сказал я, — для меня она неотрывна от вопроса о европейском еврействе. О чем это нам говорит? Возьму в качестве рабочего термина «справедливость». Нам раз и навсегда продемонстрировали, что уповать, а может, и рассчитывать на нее напрасно. О справедливости следует забыть... но, поскольку мы так долго относились к ней всерьез, почему бы нам и не относиться к ней по-прежнему.

Свердлов не дал мне закончить. Такого рода разговоры были не по нем.

— Можете давать любые толкования, но при чем тут Билли? Чего они от него ждали?

По правде говоря, я не предполагал, что Билли возьмет на себя восстановление справедливости, да и вообще что-либо. Свердлов дал мне понять: чтобы зате-

вать разговоры о справедливости, надо быть не только без такта, но и без царя в голове. И если бы призрак барона Шарлю, витая в телефоне с кемперским рас-трубом, услышал наш разговор, он поспешил бы заткнуть уши. Я не очень виню себя и вовсе не считаю, что поступил глупо. На худой конец, было несколько некстати позвонить Свердлову, чтобы навести справки, а потом ни с того ни с сего переключиться, начать рассуждать на отвлеченную тему, и еще и Свердлова пытаться втянуть. Над этими вещами я размышлял наедине — кому какое дело, чем увлекается человек, который живет бобылем в огромном филадельфийском особняке, где ему не по себе, и который перестал понимать разницу между мрачными раздумьями и приличествующей случаю беседой. Не стоило ни с того ни с сего заводить со Свердловым разговор ни о справедливости, ни о чести, ни об идеях Платона, ни об упованиях евреев. Во всяком случае, по его тону я почувствовал, что он спешит отделаться от меня, и тогда сказал:

— Этот раввин Икс (Игрек) из Иерусалима, хоть он более чем прилично говорит по-английски, взял с меня обещание разыскать Фонштейна. Сказал, что не сумел его найти.

— А вы проверяли, Фонштейна нет в справочнике?

Нет, не проверял — или проверял? Я не посмотрел в справочник. Правда, очень похоже на меня?

— Я решил, что раввин смотрел, — сказал я. — И поделом мне. Зря я принял его слова на веру. Он же

должен был посмотреть в справочник. Я думал, это само собой разумеется. Наверное, вы правы.

— Я могу быть вам еще чем-нибудь полезен?..

Продемонстрировав, как бы он повел розыск Фонштейна, Свердлов указал мне на мою однобокость. Что и говорить, было глупо не посмотреть в телефонный справочник. Умный, умный, а дурак, как говорят старики. Потому что Фонштейны в справочнике числились. Узнать их номер телефона ничего не стоило. Их имена были внесены туда, как и миллионы других имен, мелким шрифтом, ряд за рядом, строчка за строчкой — конца-краю им не видно.

Я набрал номер Фонштейна, скрепясь душой перед разговором, загодя обдумывая, с чего начну, с каким неподдельным чувством извинюсь за то, что пренебрегал ими. Если они не удержатся от упреков — что ж, я их заслужил.

Но Фонштейнов не оказалось дома, а может быть, они отключили телефон. Люди пожилые, они, наверное, рано ложились спать. Набрав номер раз десять, я пал духом и сам пошел спать. А когда лег — без особой опаски, хоть и остался один в громадном особняке, при том что в городе нет недостатка во взломщиках, готовых и на мокрое дело, — взял книгу и настроился почитать подольше.

Книги, которые Дейрдре держала у изголовья, перешли ко мне. Мне было любопытно, что помогало ей уснуть. Стало необходимо понять, о чем она думала. В последние годы ее потянуло к книгам типа «Когé

Косму»*, «Hermetica»**, отрывкам из «Zohar»***. Подобно Морелле, героине рассказа По****. Странно, что Дейдрре почти никогда об этом не упоминала. Она была не из скрытных, но и свои воззрения, и свою веру — и здесь она не исключение — предпочитала ни с кем не обсуждать. Я любил смотреть на нее, когда она читала, — книга всецело поглощала ее, она застыла под одеялами мумия мумией на своей половине нашей антикварной кровати, слова от нее не добьешься. Парные канделябры по обе стороны походили на обронзовевший терновник. Я вечно приставал к Дейдрре с просьбой купить такие лампы, при которых можно читать. Но никакие доводы на нее не действовали: во всем, что касалось вкуса, ее было невозможно переубедить, — и вот уже три года, как она умерла, а я все еще рыщу в поисках ламп: эту отлитую в бронзе куманику мне никогда не заменить.

Кое-кто любит прикорнуть на диване после обеда и расплывается за это бессонницей, а так как я терпеть не могу бодрствовать по ночам, я взял за правило читать в постели до двенадцати, особое внимание уде-

* «Дева мира» — фрагмент греческой герметической литературы в эклогах Иоанна Стабея (V в.), восходит к мифу, лежащему в основе книги Еноха.

** Собрание религиозных и философских трактатов, в которых посвященным от имени Гермеса Триждывеличайшего открываются все тайны мира.

*** «Зогар» (Сияние) — анонимная книга (конец XIII в.), в основном посвященная мистическим толкованиям «Пятикнижия».

**** Морелла — героиня одноименного рассказа Э.А. По (1809—1849) — любила читать мистические трактаты.

ляя подчеркнутым Дейрдре абзацам и пометкам в конце книги. Для меня это своего рода сентиментальный обряд.

Но в эту ночь не успел я прочесть нескольких предложений, как меня сморило и я уснул.

Сны мне снятся самые разные. Ночью я не знаю покоя. Тревожные сны, сны-желания, сны-символы. Случаются, однако, и сны по делу, которые бьют прямо в точку. Наверное, мы видим такие сны, которых заслуживаем, и — кто знает — может быть, их предают втайне от нас.

Я с ходу оказываюсь в яме. Ночь, темная равнина, котлован — я пытаюсь выкарабкаться из него, с этого все начинается. Вернее, все мои усилия уже давно направлены на это. Яма эта кем-то вырыта, причем это не могила, а западня, поставленная кем-то, кто неплохо знал меня и предвидел, что я в нее провалюсь. Я могу выглянуть из котлована, но выбраться из него не могу: ноги мои связаны, опутаны не то корнями, не то веревками. Я шарю по земле, ищу, за что бы ухватиться. Нужно подтянуться на руках — только в них мое спасение. Если бы мне удалось перевалить через край, я выпростал бы и ноги. Но я уже до того измотан, запален, что, даже если б мне и удалось выбраться, я бы уже не мог дать отпор. За моими потугами следит человек, который подстроил эту ловушку. Мне видны его сапоги. Чуть поодаль, в такой же ямине, выбивается из последних сил кто-то еще. Ему тоже не суждено выбраться. Не скажу, чтобы отчаяние или страх смерти возобладали во мне над ос-

тальными чувствами. Сон этот обращали в кошмар моя глубокая убежденность в ошибке, неверной оценке своих возможностей и осознание того, что я полностью истощен. Все мое существо было подорвано. Я напряг мускулы — впервые в жизни я ощущал каждый из них, вплоть до самомалейшего: они служили мне верой и правдой, но этого было недостаточно. Я не мог заставить себя сделать усилие, не соответствовал обстановке, не мог собраться. У меня нет никаких оснований просить вас разделить мои чувства, и я не стану вас винить, если вы от этого уклонитесь: я и сам так всегда поступал, я всегда уклонялся от крайностей, даже во сне. И потом, все мы понимаем, насколько отяготителен мой сон: жизнь так многолика, а тут грандиозный маскарад рода людского низведен до масштабов дыры в земле. Но смысл сна не сводится только к этому, он вдобавок существенно помогает истолковать все, что я поведал о Фонштейне, Сорелле и даже о Билли. Иначе я не стал бы его описывать. Ведь это даже не так сон, как весть. Мне продемонстрировали — я и во сне это понимал, — что я допустил ошибку, ошибку длиною в жизнь: оступился, сфальшивил, и теперь она явлена мне вполне.

В преклонном возрасте откровения способны сокрушить все, на что ты делал ставку с ранних лет: и изворотливость, результат жизни, отданной ловкости и трудам, которая помогает тебе истолковывать все то так, то сяк, — надо же как-то заделывать бреши в бастионах твоих заблуждений, и работу бесчисленных отрядов обороны, без устали возводящих все новые и новые пороч-

ные (а то и безумные) заграждения. В таком сне, как сегодняшний, все препоны обходятся. Когда тебе посылают такой сон, остается только одно — склониться перед неизбежностью его выводов.

В твоём воображении сила неотъемлема от боязни жестокости, ибо где, как не в нём, жестокость явлена в полную меру, если не преобладает. Я придерживаюсь общепринятых в Новом Свете взглядов на реальность. И поверьте, при этом допускаю, что они имеют весьма отдаленное к ней отношение. В Новом Свете хочешь не хочешь, а изволь быть сильным. Вот почему наши родители, выходцы из Европы, наши старики, кормили нас на убой в этой стране молодых. Их приучали к покорности, но ты-то был свободен, не испытал на себе гнета. Здесь ты был на равных, был полон сил, здесь тебя не могли уничтожить, как уничтожали евреев там.

Но душа твоя донесла до тебя правду с такой убедительностью, что ты проснулся в своей широченной кровати, полуеврейской-полуанглосаксонской, ведь благодаря могучей памяти ты стал владельцем филадельфийского особняка (ни с чем не соразмерная плата), и тут сон оборвался. Старик очнулся, открыл глаза — испуг из них еще не ушел — и увидел лампы, горящие в обрамлении шипов обронзовевшей ежевики. Шея его — он подложил под голову две подушки, чтобы удобнее было читать, — скрючилась наподобие пастушьего посоха.

И не только сон сам по себе поверг меня в ужас, хотя, что и говорить, подействовал тяжело; сопутству-

ющие ему откровения — вот что было невыносимо. И не смерть испугала меня, испугало открытие: я совсем не тот, каким себя представлял. Мне и впрямь не дано понять не знающую пощады жестокость. И кому теперь я поведаю о своем открытии? Дейдрре не стало, говорить на такие темы с сыном я не могу — он до мозга костей администратор, руководящий работник. Оставались Фонштейн и Сорелла. То ли оставались, то ли нет.

Сорелла сказала — это я запомнил, — что Фонштейн не Дуглас Фербенкс, где ему в его ортопедическом ботинке перемахивать через стены и уходить от погони. В фильмах врагам никогда не удавалось справиться с Дугласом Фербенксом. Они не могли его одолеть. В «Черном пирате»* он в одиночку вывел из строя парусник. С кинжалом в зубах съехал вниз по грот-мачте, разрубив ее пополам. Такого человека в товарняк не запрешь; он оттуда вырвется. Сорелла вела речь не о Дугласе Фербенксе, да и замечание ее касалось не одного Фонштейна. В конечном итоге оно предназначалось мне. Да, она говорила обо мне, а также о Билли Розе. Потому что Фонштейн Фонштейном, но он-то тут при чем — он же из Mitteleuropa**. Я же, напротив, с Восточного побережья — родился в Нью-Джерси, учился в Вашингтонском Сквер-колледже***,

* «Черный пират» — первый цветной фильм, поставлен в 1926 г. режиссером А. Паркером. В нем рассказывается о приключениях благородного юноши, ставшего предводителем шайки пиратов.

** Центральной Европы (нем.).

*** Сквер-колледж искусств и наук основан в 1913 г.

покорил своей памятью Филадельфию. Я еврей совершенно иной породы. Вследствие чего (да-да, не останавливайся, от этого тебе не уклониться) мне был ближе Билли Роз с его спасательной операцией, личным подпольем, слизанным из «Алого цветка», то есть Голливуд Лесли Хоуарда, исполнителя роли этого самого Цветка, который пришел на смену Голливуду Дугласа Фербенкса. Значит, мне никоим образом не дано было постичь, каковы реальные обстоятельства фонштейновского дела. Я не понял, на чем основывался иск Фонштейна к Розу, и теперь рвался сказать об этом Гарри и Сорелле. Раз ты дитя Нового Света, приходится за это платить.

Я решительно выключил лампу — она мимолетно напомнила мне о зарослях, где Авраам-avinu* нашел запутавшегося в ветвях рогами барана, видите: откуда только в меня не метили. Теперь меня обстреливали частицами еврейской истории в картинках.

Стариков жизнь учит справляться с ночными страхами. Что бы я ни представлял собой (а это, хоть я и на склоне лет, предстоит еще выяснить), утром мне потребуются силы — продолжать расследование. Поэтому необходимо принять меры, иначе я промакуюсь ночь без сна. Возможно, души возвышенные ничего против бессонницы не имеют — они счастливы предаваться мыслям о Боге ли, науке ли в глуши ночей, но я был в таком смятении, что мои мысли разбежались. Тем не менее одно из основных правил «Мне-

* Наш отец (*иврит*). Авраам принес в жертву вместо Исаака барана. Бытие, 22:9 — 13.

мозины» учит: прежде всего надо очистить сознание от всего лишнего. Принудить себя ни о чем не думать. Исключить все отвлекающее. Но сегодня меня отвлекали вещи крайне серьезные. Мне открылось, как долго я гнал от себя все, что мне было тяжело вообразить, да нет, какое там вообразить, признать: убийство, сладость мучительства, жестокость, неотступно, непрерывно, как в *basso ostinato**, вплетающуюся в любую музыку, когда бы ее ни сочиняло человечество.

Итак, я применил свой прославленный метод, принудил себя ни о чем не думать. Отогнал все мысли. Когда ни о чем не думаешь, сознание выключается. А едва оно перестает работать, засыпаешь.

Я вырубился. Какая благодать.

К утру я пришел в норму. Прополоскал рот в ванной — он запекся (у стариков такое — не редкость). Побрился, причесался, поупражнялся на тренажере (нельзя дать себе одрябнуть), потом оделся, а одевшись, подставил ботинки под вращающиеся щетки. И вновь законным владельцем роскошного особняка, по соседству с которым жил некогда Фрэнсис Биддл** и куда приходила на чашку чая Эмили Дикинсон*** (список можно продолжить), спустился вниз завтракать. Моя экономка принесла из кухни сдобренную орехами и изюмом овсянку, клубнику и черный кофе. Пер-

* Буквально: упрямый, упорный бас (*ит.*). Произведение многоголосного склада, в котором бас непрерывно повторяет одну и ту же тему.

** Фрэнсис Биддл (1886–1968) — главный прокурор США.

*** Эмили Дикинсон (1830–1886) — американская поэтесса.

во-наперво — кофе, причем куда больше моей обычной утренней порции.

— Как вам спалось? — спросила Сара, моя патриархальная экономка. Сколько рассудительности, процизательности, житейской мудрости — и все в одной осанистой чернокожей даме. Чтобы общаться, нам не нужны слова, мы и без них обменивались сообщениями, притом отнюдь не примитивного свойства. По тому, сколько я выпил кофе, она мигом поняла, что я лишь делаю вид, будто все идет нормально и даже лучше. Со своей стороны, не исключая, что я наделяю Сару слишком большими достоинствами, оттого что тоскую по жене, тоскую по участию умной женщины. Признаю также, что я начинаю связывать свои надежды и нужды с Сореллой Фонштейн, которую нынче мне так не терпится повидать. Мысленно я упорно поселяю Фонштейна в Сарасоте, в районе зимних квартир, рядом с отпрысками ганнибаловых слонов, посреди пальм и сирийских мальв. В идеализированной Сарасоте, где сердцу моему явно предстоит томиться вечно*.

Сара принесла еще чашку кофе в кабинет. Очевидно, на моем челе за ночь пролегли новые морщины — знаки, предупреждающие о том, что так долго простоявшее строение вот-вот рухнет. (Ну как я мог быть таким подонком!)

Наконец — я названивал уже полчаса — номер Фонштейнов ответил.

* Переиначенная строка из упоминавшейся выше песни Стивена Фостера.

Молодой человек сказал:

— Алло, кто говорит?

Ну какая умница этот Свердлов — посоветовал мне позвонить по телефону, значащемуся в старом справочнике.

— Это дом Фонштейнов?

— Попали в точку.

— Вы, случайно, не Гилберт Фонштейн, их сын?

— Случайно, нет, — сказал юнец развязно, но приветливо. Он, как говорят, взъерошился. Но ни тени намека на то, что ему некстати моя интервенция. (И тут не обошлось без Сореллы — она любила обыгрывать иностранные слова.) — Я друг Гилберта, сторожу дом. Гуляю с собачкой, поливаю цветы, включаю свет, чтоб отпугивать воров. А вы кто такой?

— Старый родственник, друг семьи. Мне им надо кое-что передать, я так понял, что придется попросить об этом вас. Скажете, что речь идет об одном из Фонштейнов. Он живет в Иерусалиме, так вот он утверждает, что приходится Гарри то ли дядей, то ли дальним родственником. Мне позвонил раввин Икс-Игрек, раввин считает, что надо что-то сделать для старика: он без царя в голове.

— В каком смысле?

— Он с причудами, опустился, склонен пророчествовать, психопатичен. Еле-еле душа в теле, но все еще неистовствует, клокочет...

Я сделал паузу. Никогда нельзя понять, с кем говоришь, независимо от того, видишь собеседника или не видишь. Более того, я из тех внушаемых субъектов,

которые настраиваются на собеседника, перенимают его манеру говорить. Я почувствовал некое раскованное обаяние в этом парне на другом конце провода и решил обаять его — так сказать, баш на баш. Не стану скрывать, мне хотелось возбудить в молодом человеке интерес к себе. Короче говоря, подстроиться под него, законтачить и выведать кое-какие сведения.

— Этот иерусалимский старикан утверждает, что он Фонштейн, и просит под это денег? — спросил он. — Судя по всему, вы бы и сами могли ему помочь, так чего бы вам не перевести ему деньги?

— Все верно. Однако Гарри мог бы опознать его, проверить сведения о нем, ну и, конечно же, был бы рад узнать, что старик жив. Может быть, он у них числился погибшим. Вы ведь не просто сторожите их дом? Судя по всему, вы — друг семьи?

— Вижу, нам с вами не избежать разговора. Погодите, я сейчас разыщу платок. Весна начинается, аллергический сезон, и у меня из носу течет... Вы кто, какой из их родственников?

— Я руковожу институтом в Филадельфии.

— А, ходячая память. Слышал о вас. Вы — из эпохи Билли Роза — тот самый пласт. Гарри не любил о нем говорить, Сорелла и Гилберт, напротив, частенько говорили... Не вешайте трубку, я поищу сморкалку. Терпеть не могу утираться бумажными салфетками — они рвутся, застревают в бороде.

Пока он ходил за платком, я воспользовался перерывом, чтобы представить его себе подостовернее. В моем воображении сложился образ грузноватого

юнца — копна волос, пузцо любителя пива, майка с эмблемой или призывом. Самый популярный нынче был «Пошевеливайся!». Я вообразил себе характерного представителя молодежи — таких встречаешь на любой улице по всей стране, вплоть до самых захолустных городков. Грубой кожи сапоги, джинсы-варенки, небритые щеки — ни дать ни взять прошловековой горняк из какого-нибудь там Ледвилла или Силверадо, с одной разницей: эти молодые люди никогда не брали в руки кайло и не возьмут. Он старался разговорить меня — какое-никакое, а развлечение. Старик из Филадельфии, более или менее известный, денег куры не клюют. У него просто не хватило бы воображения представить мой особняк, роскошь покоя, откуда я говорил с ним по переоборудованному за большие деньги французскому телефону, некогда принадлежавшему потомку аж самих Меровингов*. (Ни за что не отступлюсь от барона Шарлю.)

Юнец этот был не заурядный — хоть день, да мой — хипарь на подхвате, не обремененный умом, да и ничем иным. Это я сразу понял. Он мог мне много чего рассказать. А вот был ли он зловредный — это я определить не мог. Вертеть людьми он тем не менее умел: он уже успел задать тон нашему разговору. Но он обладал информацией о Фонштейнах, а мне была нужна информация.

— Я и впрямь из очень далекой эпохи, — сказал я. — Я много лет назад потерял Фонштейнов из виду. Как они живут на покое? Уезжают ли порой из Нью-

* Династия, правившая в Галлии и Германии с 500 по 751 г.

Джерси к теплу? Я иногда представляю себе их в Сарасоте.

— Перемените астролога.

Тон у него был не ехидный, скорее покровительственный. Он обращался со мной как с представителем старшего поколения. Успокаивал меня.

— Недавно я изумился — прикинул даты и понял, что последний раз виделся с Фонштейнами лет тридцать назад, в Иерусалиме. Но в смысле эмоциональном наша связь не прерывалась — такое случается.

Я хотел, чтобы он поверил мне, впрочем, именно так все и обстояло.

Любопытно, что он не стал меня оспаривать.

— Чем не тема для диссертации, — сказал он. — С глаз долой вовсе не означает из сердца вон. Люди уходят в себя и в отрыве от всех придумывают привязанности. В Америке это распространеннейшее явление.

— Вы думаете, причиной тому масштабы североамериканского континента — его колоссальные расстояния?

— Пенсильвания и Нью-Джерси соседствуют.

— Я, видно, и впрямь мысленно закрыл для себя Нью-Джерси, — согласился я. — Вы, по всей вероятности, учились в...

— Мы с Гилбертом ходили в одну школу.

— Разве он не изучал физику в Калифорнийском политехе?

— Он переключился на математику — теорию вероятности.

— В математике я полный профан.

— Не вы один, — сказал он и добавил: — А с вами, оказывается, интересно поговорить.

— Всегда хочется встретить человека, с которым можно найти общий язык.

Он, похоже, согласился. Сказал:

— В мои намерения входит при малейшей возможности улучшить для этого время.

Про себя он сказал, что сторожит фонштейновский дом, о других своих занятиях не упоминал. В некотором смысле я сам сторожил дом, хоть он и принадлежит мне. Вполне возможно, что мой сын с женой также смотрят на меня в этом разрезе. Из этого следует прелюбопытный вывод: моя душа сторожит мое тело.

У меня все же промелькнула мысль, что разговорчивость юнца не вполне бескорыстна. Что он то ли испытывает, то ли оценивает меня. До сих пор я практически ничего не узнал от него о Фонштейнах, если не считать того, что они не живут зимой в Сарасоте и что Гилберт переключился на математику. Учился ли юнец сам в Калифорнийском политехе — этого он не сказал. А когда он сказал: «С глаз долой вовсе не обязательно означает из сердца вон», — мне подумалось, что его диссертация, если он написал ее, скорее всего из области психологии или социологии.

Я сознавал, что побаиваюсь спрашивать о Фонштейнах напрямик. Я пренебрег ими, а значит, лишился права свободно расспрашивать о них. Кое о чем мне и хотелось и не хотелось услышать. Юнец уловил это и, чтобы позабавиться, стал меня подначивать. Он был

не груб, за словом в карман не лез, но во мне назревало ощущение, что тип он малоприятный.

Хватит ходить вокруг да около, решил я и спросил:

— Как мне связаться с Гарри и Сореллой, или вы по какой-то причине не можете дать мне их телефон?

— У меня его нет.

— Пожалуйста, не говорите загадками.

— С ними нельзя связаться.

— Что вы говорите! Может, я слишком долго откладывал нашу встречу?

— Боюсь, что да.

— Они умерли, вот оно что.

Я был потрясен. Во мне надломилось, рухнуло что-то очень существенное. В мои годы человек вполне подготовлен к известиям о смерти. А пронзило меня остро, вмиг, совсем другое: я забросил двух удивительных людей, которых, как я неизменно говорил, высоко ценил и нежно любил. Я обнаружил, что составляю перечень имен: Билли умер; миссис Хамет умерла; Сорелла умерла; Гарри умер. Все главные действующие лица умерли.

— Они болели? У Сореллы был рак?

— Они погибли с полгода назад на Джерсийском шоссе. Говорят, что грузовик и трейлер потеряли управление. Но мне не хотелось бы рассказывать вам об этом, сэр. Вы же их родственник, вам будет тяжело. Они тут же умерли. И, слава Богу, потому что их смяло машиной — пришлось вызывать сварщиков: иначе их было оттуда не вынуть. Человеку, который их хорошо знал, наверное, тяжело такое слушать.

Он как бы между прочим старался ранить меня побольнее. В какой-то мере я получил по заслугам. Но ведь за эти тридцать лет каждый из нас мог в любую минуту умереть. Мог умереть и я. Он, видно, счел, что я еврей старого склада и от известия такого рода расчувствуюсь.

— Вы, по вашим словам, представитель старшего поколения. Если судить по датам, так оно и получается.

Голос мой звучал еле слышно. Я сказал, что так оно и есть.

— А куда ехали Фонштейны?

— Они ехали из Нью-Йорка в Атлантик-Сити.

Мне представились извлеченные из машины и разложенные на поросшем травкой откосе окровавленные тела, полицейские мигалки, скопище отправленных в объезд машин, зыблущийся, мутный загазованный воздух, захлебывающийся вой «скорой помощи», сброшенные на парашютах врачи с мешками для перевозки трупов. Прошлым летом жара стояла изнурительная. Мертвые, можно сказать, исходили кровавым потом.

Если вы гадаете, какая из наших скоростных автомагистралей самая отвратительная, первое место можете смело присудить Джерсийскому шоссе. Не в таком месте должна была умереть Сорелла — она же любила Европу. Сорок лет в Америке — воздаяние Гарри за его погибшую в Польше семью — кончились вмиг.

— Зачем они ехали в Атлантик-Сити?

— К сыну, он попал в переплет.

— Играл в карты?

— Об этом многие знают, так что никакой тайны я не выдам. Он же написал математическое исследование о том, как выиграть в очко. Математические доки считают, что это стоящая работа. Ну а как дошло до проверки теории на практике, тут-то он и попал в переделку.

Они погибли, когда мчались на выручку своему американскому сыну.

— Вам, наверное, очень грустно это слышать, — сказал юнец.

— Мне не терпелось снова их увидеть. Я обещал себе восстановить наши отношения.

— Наверное, смерть — не худшее... — сказал он.

Я не собирался углубляться с этим малым в эсхатологию по телефону, заниматься определением различных оттенков зла.

Хотя, Господь свидетель, телефон способствует всяческого рода откровенности, и по междугородному тебе скорее, чем лицом к лицу, откроют душу.

— Кто из них вел машину?

— Миссис Фонштейн, не исключено, что она лихачила.

— Понимаю, дело срочное, она страшно спешила — мать ведь. Она была все такая же необъятная?

— Такая, как всегда, с трудом садилась за руль. Но Сорелла Фонштейн женщина редкостная. И осуждать ее не стоит.

— Я и не осуждаю, — сказал я. — Я обязательно пошел бы на их похороны — отдать дань уважения.

— Жаль, что вы не пришли, не сказали прощальное слово. Похороны были так себе.

— Я мог бы рассказать тем, кто пришел на похороны, историю с Билли Розом.

— Никто не пришел, — сказал юнец. — А вот когда помер Билли, так его, говорят, долго не могли похоронить. Он лежал-полеживал, пока суд решал, как потратить миллион, который он завещал себе на могилу. Между юристами завязалась настоящая баталия.

— Ничего об этом не слышал.

— Потому что вы не читаете ни «Ньюс», ни «Миррор». Даже «Пост» — и тот не читаете.

— Неужели так и было?

— Его положили на лед. Фонштейны об этом много говорили. Все рассуждали, как это согласуется с еврейским погребальным обрядом.

— У Гилберта есть интерес к еврейским темам... например, к истории своего отца?

Притель Гилберта малость поколебался — ровно столько, чтобы я заподозрил, не еврей ли он. Не скажу, что он отрешивался от своего еврейства. Очевидно, просто не хотел принимать его в расчет. Хотел жить как американец, и только так.

Она поглощает тебя целиком, эта задача. Поглощает тебя так, что одной жизни на нее не хватает. На нее можно ухлопать сто жизней, если б ты мог их отдать, а себе раздобыть еще.

— Вы меня о чем спросили — перевожу: не из тех ли Гилберт научных головастиков, в которых почти полностью отсутствует человеческое начало, — сказал

он. — Но вы не должны забывать, что для него значит игра. Сам я этому увлечению не подвержен. Озолотите меня, все равно не поеду в Атлантик-Сити, а после этой катастрофы с двухэтажным автобусом и подавно. Они пустили туда двухэтажный автобус, пассажиров в него набилось под завязку — все ехали в казино. Один из виадуков оказался слишком низким — автобус врезался в него, да так, что верх снесло.

— И много людей погибло? Им срезало головы?

— Чтобы узнать подробности, вам следует посмотреть «Таймс».

— Да нет, что-то не хочется. Но где сейчас Гилберт? Он, я так полагаю, унаследовал деньги родителей?

— А как же иначе, и напрямиком рванул в Лас-Вегас. Прихватил с собой крошку. Натаскал ее по своему методу — по нему требуется запоминать карты, остающиеся в колоде после каждой сдачи. Вы составляете в уме список всех карт, которые вышли, и применяете всевозможные коэффициенты теории вероятности. Говорят, с точки зрения математики работа просто гениальная.

— Его система основана на запоминании?

— Да. Это по вашей части. Живет ли Гилберт с этой девчонкой? Это уже другой вопрос. Одно скажу, без секса тут дело не пойдет. Долго ли удержишь молодую женщину одной игрой? Нравится ли ей Лас-Вегас? Разве он может не нравиться? Крупнейший зрелищный центр в мире — средоточие американской индустрии развлечений. Какой город мог бы скорее всего выполнить роль священного города типа Лхасы, типа Калькутты, типа Шартра или Иерусалима? Вы-

бор мог бы пасть на Нью-Йорк — там капиталы, на Вашингтон — там власть или на Лас-Вегас — зря, что ли, он притягивает миллионы людей. Ничего даже отдаленно похожего мировая история не знала.

— Угу, — сказал я. — Он походит больше на Билли Роза, чем на Гарри Фонштейна. Но как у него обстоят дела?

— Я хочу добавить пару слов о сексе, — сказал язвительный юнец. — Вопрос в том: игра ли распяляет секс, или секс разжигает азарт? А игра воспринимается как своего рода сублимация. Предположим, что для Гилберта абстракции превыше всего. Но за известным пределом склонность к абстракциям определенно ведет к безумию.

— Бедная Сорелла, бедный Гарри! Возможно, их смерть сбила Гилберта с панталыку.

— Не возьму на себя ответственность ставить диагноз. Я — типичный эгоцентрик: мне бы со своими делами разобраться. Признаюсь, я рассчитывал получить от них на память небольшое наследство — ведь я без пяти минут член семьи, приглядывал за Гилбертом.

— Понимаю.

— Ничего вы не понимаете. Моя вера в чувства столкнулась лицом к лицу с реальной жизнью.

— В ваши чувства к Фонштейну и Сорелле?

— В чувства, которые, как меня заверяла Сорелла, она питала ко мне.

— В расчете, что вы позаботитесь о Гилберте?

— Что ж... мы потрясно поболтали. Приятно было поговорить с представителем минувшей эпохи, да еще так любившим Фонштейнов. Нам всем будет их недо-

ставать. Гарри отличало удивительное чувство собственного достоинства, зато в Сорелле была бездна жизненной энергии. Я понимаю, почему вы так убиты — вам отказало чувство времени. Но не сокрушайтесь уж чересчур.

Ничего себе соболезнавание — я положил раструб, он покоился на высоких рычагах телефона — этот курьез, вечная тема для разговоров, стоял передо мной, человеком, который так стосковался по разговору. Уязвленный словами юнца, я вдруг понял, что Фонштейны, со своей стороны, также уклонялись от встреч со мной из-за Гилберта: их ребенок, этот феномен — надо же, чтобы им выпало счастье произвести на свет такое чудо, — по таинственным причинам (Фонштейны сочли бы эти таинственные причины причинами исключительно американского происхождения) сбился с пути. Им не хотелось, чтобы я узнал об этом.

Что же насчет того, сокрушаться мне или не сокрушаться — так это юнец меня заводил. Он был одним из тех мелких бесов, которые лезут из всех пор общества. Надавите посильнее почву общественной жизни — и убедитесь сами. Он издевался надо мной, над моей еврейской чувствительностью. Бог ты мой! Еще двое старинных друзей умерло в тот самый момент, когда я, промолчав тридцать лет, собрался вдруг распахнуть им объятия: давайте-ка сядем рядком, вспомняем минувшее, поговорим снова о Билли Розе — «пусть нам расскажут грустные преданья о смерти королей»*. А «сторож» старался навести меня на размышления экзистенциаль-

* У. Шекспир. «Король Ричард III», акт 3, сцена 2 (пер. Н.А. Холодковского).

ного плана. Примерно в таком духе: разлука с кем приведет вас в отчаяние, сэр? Без кого вам жизнь не в жизнь? По ком вы мучительно тоскуете? Кого из дорогих вам усопших не забываете ни на миг? Покажите, где и как изувечила вас смерть. Где ваши раны? За кем вы пойдете и за смертный порог?

Ну и кретин же этот юнец! Как он не догадался, что мне это и без него известно?

Меня подмывало снова позвонить мальчишке, отчитать его за низкопробный, мелкофасованный нигилизм. Но раз уж я задался целью способствовать лучшему взаимопониманию (взаимопониманию между нами) — это было бы просто глупо. Нынешние умственные построения еще никому и никогда не удавалось демонтировать. Их до того много, что они обступают тебя подобно огромному городу без конца и края.

Сказать бы мне ему, что корни памяти берут начало в чувствах, что есть такие темы, которые помогают организовать и сохранить память; объяснить бы ему, что на самом деле означает запечатлеть в памяти прошлое. Соображения вроде таких: если сон — это забвение, то и забвение — тоже сон, и сон относится к сознанию, как смерть к жизни. Вот почему евреи даже к Богу обращаются с просьбой помнить: «Yiskor Elohim»*.

Господь ничего не забывает, но в молитве ты особо просишь его не забывать твоих усопших. Впрочем, чем я мог пронять такого малого? И я решил и не пытаться, а записать все, что вспомнил в связи с Белларозой, и изложить с шиком, достойным «Мнемозины»!

* «Вспомнит Господь» (*иврит*) — поминальная молитва, читается по большим праздникам.

На память обо мне*

Моим детям и внукам

Когда на тебя обрушивается много всего, больше, чем ты в силах вынести, ты, может статься, предпочтешь делать вид, будто ничего особенного не происходит и твоя жизнь как катилась, так и катится по проторенной дороге. Но в один прекрасный день обнаруживается: то, что ты принимал за проторенную дорогу, ровную, гладкую, без ям и рытвин, на самом деле трясина, топь. Мое первое знакомство с подспудной работой безбурных дней восходит к февралю 1933-го. Точная дата тебе мало что скажет. Тем не менее хотелось бы думать, что тебе, моему единственному ребенку, будет интересно узнать, как эта подспудная работа сказалась на мне. В раннем детстве тебя занимала семейная история. Не надо объяснять, почему я не мог рассказать малышу то, что расскажу сейчас. С детьми не говорят о смертях и топях, во всяком слу-

* Something to Remember Me By. ©1990 by Saul Bellow.

чае, в нынешние времена. В моем детстве мои родители ничтоже сумняшеся говорили о смерти, об умирающих. Вот о чем они почти никогда не упоминали, так это о вопросах пола. У нас все наоборот.

Моя мать умерла, когда я был подростком. Я тебе не раз говорил об этом. Но вот о чем я умолчал: я знал, что она умирает, и не позволял себе думать об этом — вот тебе и проторенная дорога.

Стоял, как я уже упомянул, присовокупив, что точная дата тебе ничего не скажет, февраль. Должен признаться, я намеренно запомнил ее.

Зимний Чикаго, скованный серым льдом, низко нависшее небо, скверные дороги.

В старших классах средней школы я учился ни шатко ни валко, не пользовался никакой популярностью, никак не выделялся. Если чем и обращал на себя внимание, так только прыжками в высоту. Ни о каком спортивном мастерстве в моем случае говорить не приходится: в последний момент какая-то пружина или судорога — кто знает? — подкидывала меня вверх, и я перелетал через планку. Но только тогда меня и замечала высыпавшая во двор школа.

Учиться я не хотел, а читать любил. О своей семейной жизни я помалкивал. По правде сказать, не хотел говорить о маме. Сверх того, я просто не сумел бы рассказать о своих увлечениях — до того они были диковинные в своей необычности.

День начался, как всякий школьный день в зимнем Чикаго, уныло и обыденно. Температура на несколько градусов ниже нуля, окна в морозных растительных узорах, сметенный в кучи снег, шеро-

ховатый от песка лед, квартал за кварталом улиц, схваченных железным обручем неба. Завтрак — овсянка, поджаренный хлеб, чай. Как водится опаздывая, я держался, чтобы заглянуть к маме — она болела. Наклонился над ней, сказал: «Это Луи, я в школу». Она кивнула. Веки у нее были совсем темные, гораздо темнее лица. Я выскочил из комнаты, на плече — связка стянутых ремнем книг.

Когда я приблизился к бульвару рядом с парком, из дверей дома выскочили два мужичонка с ружьями, нацелили их на небо, крутанулись и пульнули в парящих у крыши голубей. Несколько птиц рухнули на землю, мужичонки подобрали обмякшие тушки и скрылись в дверях, смуглые субъекты в пузырящихся рубашках. Охотники кризисной поры и их городская дичь. Только что на скорости пятнадцать километров в час мимо проползла полицейская машина. Мужичонки переждали, пока она проедет.

Никакого касательства ко мне они не имели. Я упоминаю о них только потому, что так было. Я обогнул пятна крови, пересек бульвар и вошел в парк.

Справа, за оголившимися кустами сирени, снежный наст был порушен. Вечерами в непроглядной тьме мы со Стефани там обнимались, ласкались, я запускал руки под ее енотовую шубку, под свитер, под юбку, мы целовались без удержу — подростки они и есть подростки. Ее енотовая шапка с хвостом сползала на затылок. Она распахивала отдающую мускусом шубу, я прижимался к ней поплотнее.

На подходе к школе мне пришлось набавить шагу, чтобы проскочить до последнего звонка. Дома меня строго предупредили: никаких неприятностей с учителями, никаких вызовов к директору — не то сейчас время. Так что правил я не нарушал, хотя уроками манкировал. При том что все деньги, какие мне удавалось раздобыть, тратил в книжном магазине Хаммерсмарка. Я прочел «Манхэттенскую переправу»*, «Огромную камеру»**, «Портрет художника»***. Был членом Cercle Français**** и Дискуссионного клуба старшеклассников. Сегодня в клубе предполагали обсудить, правильно ли поступил фон Гинденбург, поручив Гитлеру формирование нового правительства. Но теперь я не мог больше посещать заседания клуба: после школы я работал. На этом настоял отец.

После уроков по дороге на работу я зашел домой перехватить кусок хлеба с висконсинским сыром и посмотреть, не проснулась ли мама. Перед смертью ей давали сильные снотворные, и с ней почти не удавалось поговорить. У ее изголовья стояла высокая квадратной формы бутылка с прозрачно-красным нембуталом. Цвет его не менялся — казалось, он никогда не замутится. Мама уже не могла сесть, чтобы ей помыли голову, и волосы ее были коротко остри-

* «Манхэттенская переправа» — роман Джона Дос Пасоса (1896–1970).

** «Огромная камера» — основанный на автобиографическом материале роман Эдуарда Э. Каммингса (1894–1962).

*** «Портрет художника в юности» — роман Джеймса Джойса (1882–1941).

**** Французского кружка (*фр.*).

жены. От этого казалось, что черты ее лица заострились, губы стянулись. Дыхание у нее было хриплое, сухое, затрудненное. Шторы приподняли до половины. По их низу шли обшитые белой бахромой фестоны. Лед на улицах был грязно-серого цвета. У деревьев высились сугробы. Стволы мертвенно чернели. Ограждавшая их от зимы шершавая, точно крокодилий панцирь, кора собирала на себе всю копоть.

Мама, даже когда не спала, говорила с трудом — она задыхалась. Иногда она объяснялась жестами. Дома не было никого, кроме сиделки. Отец ушел по делам, сестра была на службе, братья занимались своими шахер-махерами. Старший, Альберт, работал у юриста в «Петле». Брат Лен достал мне работу на пригородных поездах Северо-Западной железной дороги, и какое-то время я торговал там вразнос шоколадками и вечерними газетами. Потом мама положила этому конец, так как я возвращался домой уже затемно, и я нашел другую работу. Сейчас я доставлял цветы клиентам цветочного магазина на Норт-авеню — развозил на трамваях венки и букеты по всему городу. Беренс, владелец магазина, платил мне пятьдесят центов за половину дня; вместе с чаевыми мой заработок доходил до доллара. У меня еще оставалось время приготовить тригонометрию, а уже за полночь, после свидания со Стефани, почитать. Когда все засыпали и дом затихал, я устраивался на кухне — под окнами мела поземка, скребла по бетону, лязгала о дверцу котла лопата дворника. Читал запрещенные книги — полити-

ческие брошюры, «Пруфрока»* и «Моберли»**; их передавали из рук в руки мои одноклассники. Штудировал и книги настолько темного смысла, что их даже обсудить было не с кем.

Я читал в трамваях. Читал вместо того, чтобы смотреть по сторонам. Впрочем, смотреть было не на что — все то же самое и опять то же самое. Витрины, гаражи, склады, одноэтажные кирпичные домишки, жмущиеся друг к другу.

Город был разбит на клетки — на каждые полтора километра по восемь кварталов, по каждой четвертой улице ходит трамвай. Дни были короткие, фонари тусклые, и ближе к вечеру источником света становились снежные наносы. Деньги на билет я засовывал в перчатку, монеты смешивались с катышками шерсти от подкладки. Сегодня мне предстояло доставить лилии в один из северных районов. Лилии были обернуты плотной бумагой, сколотой булавками. Беренс, бледный, с узким лицом, в пенсне, объяснял, в чем состоит мое поручение. Среди буйства красок он выделялся своей бесцветностью — уж не этой ли ценой купил он право принадлежать к роду человеческому? Беренс был скуп на слова:

— При таком движении на дорогу в один конец уйдет час, так что на сегодня у тебя одно поручение. Эти клиенты значатся в моих книгах, и все равно пусть распишутся на счете.

* «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока» — поэма Томаса С. Элиота (1888–1965).

** «Хью Селвин Моберли» — поэма Эзры Паунда (1885–1972).

Не могу объяснить, почему для меня было таким облегчением уйти из магазина — подальше от влажного запаха разогретой земли, пышных мхов, колючих кактусов, стеклянных ящиков со льдом, где хранились орхидеи, гардении и розы, неизменные спутники болезни. Я предпочитал кирпичную скукотищу улиц, плиты тротуаров, железные перила. Натянув поглубже на лоб, на уши конькобежную шапочку, я вынес нескладный сверток на Роуби-стрит. Наконец, преодолев подъем, подъехал трамвай, и я отыскал свободное место на длинной скамье рядом с дверью. Пассажиры не расстегивали пальто. Продрогшие, настороженные, притихшие, подавленные. У меня было что почитать — останки книги без переплета, которой не давали распастыся обрывки ниток и чешуйки клея. Эти пятьдесят — шестьдесят страниц я носил в кармане овчинного полушубка. Управляться с книгой одной свободной рукой было трудно. Читать же на линии Бродвей — Кларк и вовсе невозможно: приходилось загоразживать лилии и от тех, кто висел на поручнях, и от тех, кто проталкивался к выходу.

Я сошел на Эйнзли-стрит, подняв над головой сверток, по форме напоминающий разбухшего воздушного змея. У дома, куда я вез цветы, был обнесенный железной оградой двор. Самый что ни на есть обычный подъезд: просевший посередине пол, кафельные ромбы плиток, въевшаяся в щели грязь, стена с рядами латунных почтовых ящиков, снабженных наушниками и микрофонами. Я нажал на кнопку — ответа не последовало; вместо этого замок зажужжал, заскрежетал,

заялзгал, и из холодного преддверия я ступил в затхлую теплынь вестибюля. На втором этаже одна из двух дверей, ведущих на площадку, была распахнута — у стены громоздились кучи калош, бот, резиновых сапог. Меня тут же окружила толпа людей со стаканами. Хотя до темноты оставался еще добрый час, горели все лампы. На стульях, на диванах были навалены пальто. Виски в ту пору, ясное дело, покупали исключительно у бутлегеров. Высоко вздымая букет над головой, я разрезал толпу скорбящих. Я был лицом чуть ли не официальным. Из уст в уста передавали: «Пропустите парня. Валяй, браток, проходи!»

В длинном коридоре тоже теснился народ, зато в столовой не было ни души. Здесь лежала в гробу покойница. Над ней на обмотанной скотчем перекрученной жиле провода, вылезавшей из потрескавшейся штукатурки, висела хрустальная люстра. Я, к своему собственному удивлению, стал смотреть в гроб.

Она представала перед тобой такая, как есть, — без прикрас похоронщика: девчушка постарше Стефани, но не такая пухленькая, светлая, с прямыми, разложенными по мертвым плечам волосами. Былой энергии нет и следа — тяга, рухнувшая без опор, не столько покоящаяся на сером прямоугольнике, сколько утонувшая в нем. На щеке девчушки я увидел, как мне показалось, вмятины от пальцев. Была она привлекательной или нет, не имело значения.

Грузная женщина в черном (по всей очевидности, мать), толкнув вращающуюся дверь, вышла из кухни, увидела, что я склонился над покойницей. Она сделала

мне знак сжатой в кулак рукой — мол, не задерживайся; не иначе как рассердилась, подумал я. Когда я проходил мимо нее, она прижала кулаки к груди. Велела положить цветы в раковину, вытащила булавку, зашуршала бумагой. Толстые руки, оплывшие щиколотки, пучок на затылке, остренький красный нос. Беренс всегда укреплял стебли лилий тонкими зелеными палочками. Поэтому стебли никогда не ломались.

На свечилке стояло блюдо, на нем запеченный окорок, вокруг — ломти хлеба, банка французской горчицы и деревянный шпатель, чтобы ее намазывать. Я глядел, глядел во все глаза.

С женщиной я вел себя так скромно и вежливо, как только умел. Я смотрел в пол, не желая отягощать ее своим состраданием. Но что ей за дело до моей предупредительности; при чем тут я — всего лишь посыльный, слуга? А если ей безразлично, как я себя веду, для кого, спрашивается, я стараюсь? Ей всего-то и нужно — расписаться на счете и отправить меня восвояси. Она взяла кошелек, прижала его к груди тем же движением, каким прижимала кулаки.

— Сколько я должна Беренсу? — спросила она.

— Он сказал, вы можете расписаться на счете.

Она, однако, не желала пользоваться чужой добротой.

— Нет, — сказала она. — Не хочу, чтобы на мне висел долг.

Дала мне бумажку в пять долларов, прибавила пятьдесят центов на чай, и не ей, а мне пришлось расписаться на счете, кое-как накорябав свою фамилию на краю желобчатой эмалированной раковины. Я сложил

бумажку в несколько раз, нашарил под полушубком кармашек для часов — брать деньги в присутствии ее покойной дочери мне было неловко. Не я был причиной ее суровости, и тем не менее ее лицо отчего-то пугало меня. Точно так же она смотрела на стены, на дверь. Но как бы там ни было, эта смерть меня не касалась: я был здесь человек сторонний.

По пути к выходу я, словно надеясь еще что-то прочесть на неприкрашенном лице девушки, снова заглянул в гроб. А потом уж, на лестнице, вытащил книжные листки из кармана полушубка и в вестибюле стал разыскивать прочитанный накануне вечером абзац. Ага, вот он:

Законы природы не распространяются на телесную оболочку человека. Отдаваясь попечению природы, человек обращается в прах. Совершеннее человека нет ничего на земле. Покуда жизнь нас не покинет, видимый мир служит нам оградой, затем ему надлежит полностью уничтожить нас. Откуда в таком случае, из какого мира, телесная оболочка человека?

Если ты что-то съел, а потом умер, пища, поддерживавшая в тебе жизнь, после смерти лишь ускорит твое разложение.

Это означает, что природа не рождает жизнь, а лишь дает ей приют.

В те дни я читал подобные книги во множестве. Но та, которую я прочел вчера вечером, затронула меня сильнее остальных. Тебе, моему единственному ребенку, даже слишком хорошо известна моя неизменная то ли поглощенность, то ли одержимость потусторон-

ним. Я, бывало, донимал тебя разговорами о духе или душе, а также о континууме духа и природы. Ты слишком хорошо воспитан, благопристойно рационалистичен и относился к подобным понятиям не без предубеждения. Я мог бы присовокупить слова знаменитого ученого: то, что очевидно, не нуждается в подтверждениях. Но я не намерен продолжать эту тему. И тем не менее в истории, которую я хочу тебе рассказать, был бы пробел, если бы я не упомянул об этой сыгравшей такую роль книге; да и в конце концов это рассказ, а не поток доказательств.

Как бы там ни было, я засунул листки в карман полушубка; что делать дальше, я не знал. Четыре часа, поручений больше нет, идти домой у меня не хватало духу. И, увязая в снегу, я побрел к Аргайл-стрит, где у моего зятя был зубо врачебный кабинет, в надежде поехать домой вместе с ним. Я заранее обдумал, как объясню, почему заявился к нему на работу: «Отвозил цветы в Норт-Сайд*, видел мертвую девушку в гробу, понял, что твой кабинет поблизости, ну и зашел». Почему я считал необходимым дать отчет в совершенно невинных поступках, если они и впрямь были невинными? Возможно, потому, что я вечно умышлял что-то недозволенное. Потому, что меня вечно подозревали во всех грехах. Потому, что я был врун, каких мало, — однако самокопание, некогда так увлекавшее, стало меня тяготить.

Кабинет моего зятя — «Филип Хаддис, Д.О.**» — помещался на втором этаже без лифта. Из трех эркеров,

* Престижный район Чикаго.

** Доктор одонтологии.

кругливших угол дома, открывался вид на улицу от начала до самого конца и на озеро на востоке, где плавали зазубренные льдины. Дверь кабинета была открыта, и, миновав крохотную, с глухими (без окон) стенами приемную и не увидев Филипа возле громоздкого, откинутого назад зубоврачебного кресла, я решил, что он не иначе как в лаборатории и скоро вернется. Филип был мастер своего дела — он чуть не все работы выполнял сам, что давало большую экономию.

Рослым Филипа не назовешь, но он был крупный, кряжистый. Рукава белого халата едва не лопались на его голых мощных предплечьях. Сильные руки оказались как нельзя более кстати. К нему часто переправляли пациентов рвать зубы.

Если у Филипа не было срочных дел, он обычно устраивался в зубоврачебном кресле, между паучьей ногой бормашины, газовой горелкой и зеленой стеклянной плевательницей, где бежала по кругу струйка воды, и изучал «Рейсинг форм». В воздухе неизменно витал густой запах сигар. Посреди кабинета стояли часы под стеклянным колпаком. В их основании вращались четыре золоченые гирьки. Подарок моей матери. Вид из среднего окна разрезала надвое цепь, навряд ли тоньше той, что некогда остановила Британский флот на Гудзоне. Цепь держала вывеску аптекаря — ступку и пестик, обрамленные электрическими лампочками. Дневной свет отступил. В полдень он заливал улицы, к четырем — оттек. С одной стороны снежные сугробы все больше синели, с другой их подогревал свет витрин.

Лаборатория размещалась в чулане. Ленивый Филип мочился в раковину. До уборной в дальнем конце дома путь был неблизкий, а коридор — две голые стены, оштукатуренный туннель, по которому бежала ковровая дорожка, отороченная по бокам полосками меди, — никак его не привлекал, Филип не любил туда ходить.

В лаборатории тоже никого не оказалось. Возможно, Филип пошел выпить кофе у стойки, в аптеке внизу. Не исключалось также, что он коротал время с Марчком, врачом, который занимал смежный с ним кабинет. Дверь между кабинетами никогда не закрывалась, и я не раз сиживал во вращающемся кресле Марчека, штудирова цветные иллюстрации в книге по гинекологии и пополняя свой запас латинских терминов.

За испещренной звездочками стеклянной дверью кабинета Марчека не горел свет, и я решил, что кабинет пуст, но, войдя, увидел на смотровом столе голую женщину. Она не спала — по всей видимости, отдыхала. Заметив меня, она шелохнулась, затем неспешно, даже не повернувшись, потянула к себе одежду, сваленную грудой на конторке доктора Марчека. Извлекла из кучи комбинацию, бросила на живот — именно бросила, а не положила. Она что, не в себе, одурманена? Нет, просто не желала торопиться, в ее жестах была волнующая вялость. От ее соблазнительных запястий шли провода к медицинскому аппарату на колесиках.

Что бы мне попятиться... впрочем, с этим я уже опоздал. Кроме того, женщина, судя по всему, никак на меня

не реагировала. Она не накинула комбинацию на грудь, ляжки и те не сдвинула. Хохолок волос на лобке распался, пахло чем-то солоноватым, едким, сокровенным, приторным. Запахи эти незамедлительно подействовали на меня. Я страшно возбуждился. Лоб женщины лоснился, в глазах сквозила усталость. Я, как мне казалось, догадался, чем она занималась, но комната тонула в полумраке, и я решил не доводить свою мысль до конца. Сомнение или неопределенность, как мне представлялось, куда предпочтительнее.

Я вспомнил, что Филип в своей небрежной, флегматической манере упомянул об «изысканиях», которые проводились в смежном кабинете. Доктор Марчек изучал реакции партнеров в процессе совокупления.

— Он зазывает людей с улицы, присоединяет их к аппарату — делает вид, что вычерчивает диаграммы. Развлекается таким образом; насчет науки это он заливает.

Значит, голая женщина была объектом научного исследования.

Я готовился рассказать Филипу о молодой покойнице с Эйнзли-стрит, но гроб, кухня, окорок, цветы уплыли далеко-далеко — они были теперь ничуть не ближе льдин на озере и его убийственно холодных вод.

— Ты откуда явился? — сказала женщина.

— Из зубоврачебного кабинета за стеной.

— Врач вот-вот должен был меня отпустить, я хочу высвободиться. Может, ты сообразишь, как отсоединить провода.

Если Марчек в проходной комнате, он, услышав наш разговор, не войдет сюда. Женщина приподняла

руки, чтобы я мог отстегнуть ремни, груди ее качнулись, я нагнулся к ней, ее тело от пояса и выше издавало запах, напоминавший запах шоколадной коробки, когда в ней остались одни гофрированные коричневые бумажки, — тот же отзвук сладкого аромата, смешанный с едким картонным духом. Перед моими глазами, как я ни старался отогнать это видение, всплыла изуродованная ножом онколога грудь моей матери. Исполосовавшие ее узластые швы. Вызвал я в памяти и смеженные ресницы и поцелуйное личико Стефани — все шло в ход, только бы устоять перед чарами голой женщины. Отстегивая ремни, я подумал, что не так высвобождаю ее, как прикрепляю себя. Мы были одни в комнате, где все сгушался сумрак, и мне до смерти хотелось, чтобы она засунула руку под мой полушубок и сама расстегнула мне пояс.

Но когда я высвободил ее руки, она стерла с них гель и принялась одеваться. Начала она с лифчика, укладывала груди в чашки то так, то сяк, а заведя руки за спину, чтобы застегнуть крючки, пригнулась, словно проходила под низко свисающей веткой. Каждую клетку моего тела, точно пчелу, все сильнее и сильнее пьянил сексуальный мед. (Надеюсь, эта сцена внесет некоторые изменения в образ деда Луи, старикана, который кем только не предстает в воспоминаниях, но уж никак не роем разохотившихся пчел.)

Тем не менее насчет поведения той женщины я уже и тогда не обманывался. Она вела себя довольно откровенно, даже несколько пережимала. Я видел ее в профиль, и, хотя она опустила голову, было заметно,

что она улыбается. Как выражались в тридцатые: она брала меня в оборот. Почуяла, что я сдамся без боя. Она застегивала пуговку за пуговкой с нарочитой медлительностью, а на ее блузке было по меньшей мере двадцать пуговок, при том что ниже пояса она оставалась голой. Хотя мы с ней, школяр и проститутка, были не бог весть кто, нам предстояло играть на инструментах — дай Бог всякому. И если мы двинемся дальше, что бы ни случилось здесь, не выйдет за пределы этой комнаты. Все останется между нами, и никто никогда об этом не узнает. Впрочем, не исключено, что Марчек, этот мнимый экспериментатор, в соседней комнате и вот-вот нагрянет. Старый семейный врач, он, вероятно, и растерян, и недоволен. Мало того, с минуты на минуту мог вернуться Филип, мой зять.

Соскользнув с кожаного стола, она схватилась за щиколотку и сказала, что растянула связку. Подняла ногу на кресло и, тихо чертыхаясь, стала тереть щиколотку; ее подернувшиеся влагой глаза бегали по сторонам. Потом натянула юбку, пристегнула чулки к поясу, сунула ноги в лодочки и, опираясь на подлокотники и прихрамывая, обошла кресло.

— Будь так добр, достань мою шубу. Накинь ее мне на плечи — и все.

У нее тоже была енотовая шуба. Что бы ей носить какой-нибудь другой мех, посетовал я, снимая шубу с вешалки. Правда, у Стефани шуба была поновее и раза в два потяжелее. У этой мездра пересохла, шерсть повытерлась. Женщина уже направлялась к двери; когда я накинул шубу ей на плечи, она пригнулась. У Марчека был отдельный выход в коридор.

На лестничной площадке она спросила, не помогу ли я ей спуститься. Я сказал, что помогу — о чем речь, но сначала мне нужно заглянуть еще раз к зятю: вдруг он вернулся. Завязывая шерстяной шарф под подбородком, она улыбнулась, сощурила глаза и стала похожа на китаянку.

Не показаться Филипу было бы ошибкой. Я рассчитывал, что он уже возвращается — идет по узкому коридору к себе своей грузной, неспешной, с развалцем походкой. Ты, разумеется, не помнишь твоего дядю Филипа. В колледже он играл в футбол, его бугристые, литые предплечья выдавали бывшего полузащитника. (В наши дни на Солджер-Филд* он смотрелся бы шибздиком; в те годы, однако, считалось, что ему в пору быть чуть ли не цирковым силачом.)

Но посреди пустынного коридора лишь бежала ковровая дорожка, и некому было прийти мне на помощь. Я направился к кабинету Филипа. Сиди у него в кресле пациент и заглядывай Филип ему в рот, я бы вернулся на путь истинный — мог бы, не обнаружив, что сробел, отказать этой женщине. Имелся и другой выход: сказать, что я не могу проводить ее, так как Филип рассчитывает вернуться вместе со мной в Норт-Вест-Сайд. Опустив голову, чтобы не видеть часов с их беззвучно, равномерно вращающимися гирьками, я обдумывал этот вымысел. Потом вырвал листок из блокнота Филипа, черкнул: «Луи, мимоходом». И положил его на сиденье кресла.

Женщина продела руки в рукава своего молодежно-студенческого енота и пристроила укутанный ме-

* Большой стадион в Чикаго.

хом зад на перилах. Она поворачивала зеркальце пудреницы то так, то сяк, но, увидев меня, защелкнула пудреницу и бросила ее в сумочку.

— Нога не прошла?

— Нет, еще и ниже пояса вступило.

Мы стали спускаться — медленно, становясь обеими ногами на каждую ступеньку. Я все гадал: если я ее поцелую, как она к этому отнесется? Скорее всего поднимет на смех. Мы ведь уже не в четырех стенах, где можно позволить себе все что угодно. Мы на улице без конца и без края. Я понятия не имел, как далеко лежит наш путь, как далеко мне удастся зайти. Хотя, по ее утверждению, плохо чувствовала себя она, худо было мне. Она попросила меня поддерживать ее под крестец, и тут-то мне и открылось, какие невероятные выкрутасы она умеет выделывать бедрами. На вечеринке я однажды слышал, как немолодая женщина сказала другой: «Я знаю, как их распалить». Эта фраза мне все объяснила.

Чтобы распалить семнадцатилетнего юнца, особого искусства не требовалось, можно было даже не просить меня поддерживать ее под крестец — я и без того ощутил бы, как ловко, как зазывно она вихляет бедрами. Ведь я уже видел ее на смотровом столе Марчека, ощутил ее всю, когда она налегла на меня, прильнула ко мне своим женским естеством. Мало того, она до тонкости знала, что у меня на уме. Она была предметом, непрестанно занимающим мои мысли, а часто ли случается мысли встретить предмет, ее занимающий, в подобных обстоятельствах — и вдобавок чтобы предмет сознавал это? Ей были ведомы мои чаяния. Она сама

была этими чаяниями во плоти. Я не стал бы утверждать, что она шлюха, проститутка. Она вполне могла оказаться обычной девушкой из приличной семьи, не без шлюховатости, которая куролесит, забавляется, выкидывает сексуальные кунштюки смеха ради — в ту пору люди нередко вели себя так.

— Куда мы направляемся?

— Если тебе некогда, я доберусь сама, — сказала она. — Мне идти-то всего до Уинона-стрит, по ту сторону Шеридан-роуд.

— Нет, нет, я вас провожу.

Указав на листки, торчащие из моего кармана, она спросила, учусь ли я еще в школе. Когда мы проходили мимо освещенной витрины фруктового магазина, в которой мой сверстник вываливал апельсины из ящиков, я заметил, что, несмотря на кожу цвета густых сливок, глаза у нее азиатского разреза, черные.

— Тебе, должно быть, лет семнадцать, — сказала она.

— Угадали.

В эту снежную погоду на ней были лодочки, и она не ставила ногу как попало, а выбирала, куда ступить.

— Ты кем хочешь стать, ты уже остановился на какой-нибудь профессии?

Профессия — вот уж что меня не интересовало. Ни в коей мере. Люди с профессиями, бухгалтеры, инженеры, стояли в очередях за супом. В мире, охваченном кризисом, от профессии не было никакого проку. А раз так, можно и посягнуть на нечто из ряда вон выходящее. Не будь я возбужден так, что меня даже поташнивало, я мог бы сказать, что разъезжаю по городу на

трамваях не ради того, чтобы зашибить доллар-другой или там помочь семье, а ради того, чтобы постигнуть суть этого унылого, обнищавшего, безобразного, бескрайнего, разлагающегося города. Теперь — в ту пору такие мысли не приходили мне в голову — я понимаю, что у меня была одна цель: постигнуть, в чем его предназначение. В нем чувствовалась невероятная силища. Но она была — потенциально — и во мне. Тогда я решительно не желал верить, что люди здесь занимаются тем, чем они, как им кажется, занимаются. За видимой жизнью улиц таилась подлинная жизнь, за каждым лицом — подлинное лицо, за каждым голосом, каждым произнесенным словом — подлинная интонация и истинный смысл. Разумеется, я не собирался говорить ни о чем подобном. В ту пору я еще не дозрел до этого. При всем при том я был юнец с идеалами. «Показушник» называл меня мой ехидный, критически настроенный братец Альберт. В юности, если ставить перед собой высокие цели, не миновать такого рода насмешек.

Но сейчас меня тянула за собой роскошная охочая девица. Я понятия не имел, ни куда меня ведут, ни как далеко завлекут, ни чем огорошат, ни чем это для меня обернется.

— Значит, зубной врач — твой брат?

— Зять, он муж моей сестры. Они живут с нами. Спрашиваете, что он за человек? Отличный парень. По пятницам он обычно закрывает кабинет и отправляется на скачки. Берет меня с собой на бокс. И еще играет в покер в комнате за аптекой...

— Небось он не расхаживает с книжками в кармане.

— Ваша правда. Он говорит: «Что толку? Столько упущено, что уже не нагнать, не наверстать. Тут и тысячи лет не хватит, так чего надрываться?» Сестра хочет, чтобы он открыл кабинет в «Петле», но для этого ему пришлось бы поднапрячься. Он предпочитает плыть по течению. Жить как живется, не хочет выкладываться.

— Что ты читаешь, о чем твоя книжка?

Я не намеревался ничего с ней обсуждать. Был на это просто не способен. На уме у меня было совсем другое.

Но предположим, я сумел бы что-то объяснить ей. От вопросов, задаваемых не из праздного любопытства, уклоняться нельзя: «Я что хочу сказать, это видимый мир, мисс. Мы живем в нем, дышим его воздухом, питаемся его материей. Однако, когда мы умираем, материя возвращается к материи, и мы исчезаем с лица земли. Так вот, к какому миру мы принадлежим — к этому, материальному, или к другому, которому материя подвластна?»

Желающих обсуждать такого рода темы почти не находилось. У Стефани — и у той недоставало терпения. «Ты умираешь, и всё тут. Мертвец он мертвец и есть» — так говорила она. Стефани любила развлекаться. Когда я не мог съездить ее в «Ориентал», она ходила в театр с другими ребятами. Приносила оттуда сомнительные водевильные шуточки. «Ориентал», как я понимаю, принадлежал Национальному синдикату развлекательных заведений. Там выступали Джимми Сейво, Лу Хольц и Софи Такер*. Для Стефани я по-

* Джимми Сейво — один из самых известных эстрадных актеров, играл также в театре и в кино; Лу Хольц — водевильный актер; Софи Такер — комедийная актриса.

рой бывал слишком глубокомыслен. Когда она изображала, как Джимми Сейво поет «Река, не затопляй мой порог», сжимая коленки руками, я, обманывая ее ожидания, не хватался за бока.

У тебя могло сложиться впечатление, что книгу, вернее, пачечку листков в моем кармане, я принимал чуть ли не за талисман из волшебной сказки, способный отворить ворота замка или перенести на вершину горы. Тем не менее, когда женщина спросила, что это за книга, я не сумел ответить ей — такой разброд царил у меня в голове. Не забудь, что я все еще держал, как она велела, руку на ее крестце и был вконец измочален раззадоривающим вихлянием ее бедер. Я на опыте открывал, что имела в виду та дама на вечеринке, сказавшая: «Я знаю, как их распалить». Словом, я был в не состоянии говорить ни об Эго и Воле, ни о тайнах крови. Да, я верил, что каждому без исключения человеку досталась своя доля высшей мудрости. Что же еще может объединять нас, как не эта сила, крошущаяся за будничными соображениями? Но о том, чтобы связно беседовать на такую тему, сейчас не могло быть и речи.

— Ты что, не можешь ответить? — сказала она.

— Я купил ее за пять центов на развале.

— Так вот на что ты тратишь деньги?

Она, как я понял, намекала, что на девчонок я их не трачу.

— А твой зубной врач — славный увалень, — продолжала она. — Чему, спрашивается, он может тебя научить?

Я попытался мысленно обозреть наши разговоры. О чем говорил Фил Хаддис? Он говорил, что у члена на взводе нет совести. В эту минуту больше ничего не приходило мне в голову. Филипа развлекали разговоры со мной. Он держался по-приятельски. Проявлял понимание, в то время как от моего брата Альберта, твоего покойного дяди, от того пощады не жди. Если бы Альберт мне доверял, он мог бы меня кое-чему научить. В ту пору Альберт посещал вечернюю юридическую школу и служил у Роуланда, конгрессменарэкетира. У Роуланда он был порученцем — Роулэнд нанял его не для того, чтобы толковать законы, а для того, чтобы собирать деньги у тех, кто у него на откупе. Филип подозревал, что Альберт и себя не забывает: уж очень он франтил. Носил котелок (их тогда называли набалдашниками), пальто верблюжьей шерсти и узконосые ботинки — в ту пору в таких ходили все гангстеры. Меня Альберт третировал. Говорил: «Ты ни хрена не понимаешь. И никогда не поймешь».

Мы приближались к Уинона-стрит; когда мы дойдем до ее дома, она меня отошлет — на что я ей? Я увижу, как блеснет стекло, посмотрю, как она открывает дверь, — и только. Она уже нашаривала в сумочке ключи. Я снял руку с ее копчика, готовясь буркнуть «пока-пока», но тут она кивнула, пригласив меня, вопреки моим ожиданиям, войти. Я, как мне кажется, питал надежду (подмоченную похотью надежду), что она оставит меня на улице. Я прошел следом за ней через еще один также выложенный кафелем вестибюль вовнутрь. Раскаленные батареи нещадно нагрее-

вали лестничную клетку, стеклянный фонарь тремя этажами выше подрагивал, обои отклеивались, заворачиваясь и вспучиваясь. Я затаил дыхание. Боялся, что раскаленный воздух обожжет мне легкие.

Когда-то это был дом типа люкс — его построили для банкиров, брокеров и преуспевающих специалистов. Теперь его заселили всякие перекаати-поле. В просторной комнате с высоченными окнами шла игра в кости. В следующей комнате люди пили, валялись на диванах. Она провела меня через комнату, где прежде помещался бар, от которого остались кое-какие приспособления. Я проследовал за ней через кухню — да я бы пошел за ней куда угодно, даже не спросив, куда меня ведут. В кухне, судя по всему, не стряпали — не видно было ни кастрюль, ни мисок. Линолеум протерся, коричневые волокна основы стояли дыбом, как волосы. Она провела меня в коридор поуже, параллельный главному.

— Я живу в комнате для горничных, — сказала она. — Она выходит на задворки, зато при ней есть ванная.

Наконец мы у нее — в почти пустой комнате. Так вот в каких условиях работают проститутки, если только она проститутка: голый пол, узкая койка, стул у окна, скособоченный гардероб у стены. Я остановился под лампочкой, она отступила — осмотреть меня, что ли, ей вздумалось. Затем приобняла меня со спины, легонько коснулась моей щеки губами — поцелуй не так много давал в настоящем, как сулил в будущем. То ли ее пудра, то ли помада распространяла запах незрелых бананов. Никогда еще мое сердце так не колотилось.

Она сказала:

— Что, если я ненадолго уйду в ванную, а ты пока разденься и ложись в постель. Ты, похоже, приучен к порядку — сложи свои вещички на стуле. Не на пол же их бросать.

Дрожмя дрожа (сдается, во всем доме это была единственная холодная комната), я стал раздеваться, начав с покоробленных зимней непогодой ботинок. Полушубок я повесил на спинку стула. Запихнул носки в ботинки и поджал ноги — пол был давно не метен. Снял с себя все — не иначе как в надежде, что так ни рубашка, ни исподнее не будут иметь касательства к тому, что там со мной ни произойди, и вся вина падет на мою плоть. Без нее тут уж никак не обойтись. Залезая под одеяло, я подумал: наверное, такие же койки стоят в исправительных заведениях. На подушке не было наволочки, моя голова лежала на напернике. За окном я не видел ничего, кроме проводов на столбах, напоминающих нотные линейки, только провисшие, и стеклянных изоляторов, напоминающих россыпь нотных значков. О деньгах она и не заикнулась. Ясное дело, я ей приглянулся. Я не верил своему счастью - - счастью с привкусом беды. Меня не насторожила тюремная койка, где не уместиться двоим. Вдобавок я боялся спечься раньше времени, если она задержится в ванной слишком долго. И какими такими женскими делами она там занимается — раздевается, моется, душит, меняет белье?

Она рывком открыла дверь. Ждала — только и всего. Она не сняла ни енотовой шубы, ни даже перчаток. Не глянув в мою сторону, стремительно, едва ли не бегом,

кинулась к окну, открыла его. Рама поднялась, в комнату ворвался ветер, я привскочил, но остановить ее не успел. Она схватила мои вещи со стула и швырнула в окно. Они упали на задворки. Я возопил: «Что вы делаете?» Она так и не повернула головы. Обматывая на ходу шею шарфом, убежала, не закрыв за собой дверь. Я слышал, как барабанят по коридору ее лодочки.

Я не мог пуститься за ней вдогонку — как я мог? — и появиться на люди нагишом. Она на это и рассчитывала. Когда мы вошли, она, должно быть, подала условный знак своему сообщнику, и он ждал под окном. Когда же я подскочил к окну, моих вещей уже и след пропал. Я увидел, как человек с узлом под мышкой торопливо юркнул в проход между двумя гаражами. Я мог бы подхватить ботинки — их она не взяла — и выпрыгнуть в окно: комната была на первом этаже, но сразу я бы его не догнал и, голый, закоченевший, вскоре выскочил бы на Шеридан-роуд.

Однажды я видел, как по улице брел пьянчуга в одном нательном белье с разбитой в кровь головой — его обчистили и избили; он шатался из стороны в сторону и истошно вопил. А у меня даже рубахи и трусов не имелось. Я был совсем голый — так же как она в кабинете доктора, — у меня стибрили все, включая пять долларов за цветы. И овчинный полушубок, который мама купила мне в прошлом году. Плюс книгу, листки книги без названия неведомого автора. Не исключено, что это была самая серьезная потеря.

Теперь мне предстояло самостоятельно поразмыслить о том, к какому миру я на самом деле принадлежу — к этому или к другому.

Я опустил окно, затем закрыл дверь. Комната выглядела нежилой, но если все же — чем черт не шутит — в ней кто-то живет, что, как он ворвется и изметелит меня? Хорошо еще, что на двери засов. Я задвинул его и обошел комнату — не найдется ли чем прикрыться. В скособочившемся гардеробе ничего, кроме проволочных вешалок, в ванной только полотенце для рук. Я сорвал с койки покрывало: если сделать в нем прорезь для головы, оно могло бы сойти за пончо, но уж слишком оно тонкое — от такой холодины не спасет. Придвинув к гардеробу стул, я встал на него и за резным выступом обнаружил женское платье и стеганую ночную кофтенку. А в бумажном пакете — коричневый вязаный берет. Пришлось напялить это тряпье. Что еще мне оставалось?

Сейчас, по моим подсчетам, было около пяти часов. Филип работал не по расписанию. Он не торчал в кабинете в надежде, что вдруг объявится какой-нибудь бедолага, у которого разболелся зуб. Приняв последнего назначенного пациента, он запирает кабинет и уходил. И далеко не всегда держал путь домой: его не очень-то туда тянуло. Если я хочу его застать, надо припустить. Я вышел — ботинки, платье, берет, кофтенка. Никто не обратил на меня ни малейшего внимания. В комнаты набилось еще больше народу; вполне вероятно, что парень, подхвативший мою одежду, уже вернулся и сейчас среди них. Подъезд натопили так, что трудно было дышать, от обоев попахивало паленым — казалось, они вот-вот загорятся. На улице на меня налетел ветер напрямиком с Северного полюса —

платье и сатиновая кофтенка от него нимало не защищали. Впрочем, я мчал во весь дух и даже не успел почувствовать холод.

Филип скажет: «Кто эта шлюшка? Где она тебя подцепила?» Невозмутимого, неизменно добродушного Филипа я забавлял. Анна вечно тыкала ему в глаза своими честолюбивыми братцами: они занимаются шахермахерами, они читают книги. Неудивительно, что Филип обрадовался бы. Я предвидел, что он скажет: «Ты ее поймел? Ну что ж, зато не подцепил трипака». Сейчас я зависел от Филипа, потому что у меня не было ничего — даже семи центов на трамвай. При всем при том я не сомневался, что он не станет читать мораль, а постарается одеть меня — выпросит свитер у знакомых, живущих по соседству, или отведет в лавку Армии спасения на Бродвее, если она еще не закрылась. И все это — неспешно, тяжеловесно, размеренно. Его даже танцы не могли расшевелить — отплясывая фокстрот с Анной, щека к щеке, он не подчинялся музыке, а навязывал ей свой темп. Углы его губ растягивала бесстрастная ухмылка. Велиарова мохнатка — такое название я ей дал. Филип был в моем восприятии толстым, и притом сильным, сильным, и притом покладистым, вкрадчивым, и притом довольно язвительным. Собираясь тебя поддеть, он присасывал угол рта — и тут-то и оборачивался Велиаровой мохнаткой. Назвать его так вслух я и помыслить не мог.

Я пронесся мимо витрин фруктовой лавки, кулинаруи, портновской мастерской.

На помощь Филипа я мог рассчитывать. Отец мой в отличие от Филипа был человеком нетерпимым, взрывчатым. Более subtilный, чем его сыновья, красивый, с мускулами, точно высеченными из белого мрамора (так, во всяком случае, мне казалось), безапелляционный. Появись я ему на глаза в таком виде, он бы рассвирепел. Меня и правда ничто не остановило: ни смертельная болезнь мамы, ни скованная морозом земля, ни близость похорон, ни разверстая могила, ни кулек с песком из земли обетованной, который сыплут на саван. Заявись я домой в этом замызганном платье, старик — а он и так держится лишь чудом: столько на него навалилось — обрушит на меня свой слепой ветхозаветный гнев. Эти приступы ярости я воспринимал не как жестокость, а как истинное, дарованное ему навек право. Даже Альберт — а он уже был юристом, работал в «Петле», — и тот терпел стариковские колотушки, он клокотал от злобы, глаза у него бешено выкатывались из орбит, и тем не менее он их сносил. Никто из нас не считал отца жестоким. Зарвался — получай свое.

В кабинете Филипа свет не горел. Когда я взлетел по лестнице, дверь с непрозрачным звездным стеклом оказалась заперта. Стекло в морозных узорах тогда было редкостью. В уборных и прочих подобного рода местах в окна вставляли замутненные звездочками стекла. Марчек — сегодня его сочли бы вуайеристом — тоже в сердцах ушел. Я сорвал его эксперимент. Я подергал двери, одну, другую в надежде — вдруг мне повезет и я проведу ночь на обитом кожей смотровом столе, где еще недав-

но возлегала обнаженная красавица. Вдобавок из кабинета я мог позвонить. Нельзя сказать, чтобы у меня не было друзей, но таких, которые могли бы мне помочь, среди них не имелось. Да я и не сумел бы объяснить им, в какую передрыгу попал. Они решили бы, что я представляюсь, разыгрываю их. «Это Луи. Тут одна шлюха стащила мою одежду, и я застрял в Норт-Сайде без гроша в кармане. На мне женское платье. Ключей от квартиры нет. Добраться домой не на что».

Я добежал до аптеки — посмотреть, не там ли Филип. Он иногда играл пять-шесть партий в покер в комнате за аптекой — пытал счастье перед тем, как сесть в трамвай. Я знал Кийяра, аптекаря, в лицо. Он меня не помнил — да и с какой стати ему меня помнить? Кийяр сказал:

— Чем могу служить, барышня?

Неужели он и впрямь принял меня за девчонку, побродяжку или цыганку из тех, что раскидывают таборы перед магазинами, пристают к прохожим, предлагая погадать? Они сейчас разбрелись по всему городу. Но даже цыганка не обрядилась бы в такую погоду вместо пальто в стеганую ночную кофтенку из синего сатина.

— Скажите, не у вас ли доктор Фил Хаддис?

— Зачем вам доктор Хаддис — у вас зуб болит или что?

— Мне необходимо его увидеть.

Аптекарь был низенький крепыш, его круглая как шар лысая голова производила впечатление болезненно незащищенной. Благодаря этому, казалось мне, он способен учуять малейшие признаки смятения. Вмес-

те с тем глаза Кийяра за стеклами очков хитро поблескивали, и, судя по наружности, если ему что втемашится, его нипочем не переубедить. Но вот странность — ротик у него был крошечный, губки ребячьи. Он провел на этой улице — сколько-сколько? Сорок лет? За сорок лет можно такого навидаться, что тебя уже ничто не удивит.

— Вы записались на прием к доктору Хаддису? Вы у него лечитесь?

Он знал, что у меня дело частного свойства. И я не лечусь у Филипа.

— Нет. Но раз уж я здесь, доктор Хаддис наверняка захочет меня увидеть. Могу я поговорить с ним минутку?

— Его здесь нет.

Кийяр удалился за решетчатую перегородку рецептурного отдела. Необходимо во что бы то ни стало удержать его. Куда мне кинуться, если он уйдет? И я сказал:

— Это очень важно, мистер Кийяр.

Он ждал, чтобы я раскрыл карты. Я не хотел ставить Филипа в неловкое положение, дав повод для сплетен. Кийяр молчал. Должно быть, ждал, что я скажу дальше. Он, надо думать, гордился тем, что из него лишнего слова не вытянешь — могила. Чтобы пронять его, я сказал:

— Я попал в передрыгу. Я оставил записку доктору Хаддису, но по возвращении разминулся с ним.

И тут же понял, что дал маху. Аптекарей вечно осаждали просители. Пилюли, снадобья, блеск огней, реклама лекарств притягивали чокнутых бродяг и по-

прошаек. И каждый из них говорил, что с ним приключилась беда.

— Вы можете обратиться в участок на Фостер-авеню?

— В полицию, что ли?

Я уже думал об этом. Я, разумеется, мог бы рассказать полицейским, в какую переделку попал, и они задержали бы меня до тех пор, пока не проверят мой рассказ и кто-нибудь не явится забрать меня. Скорее всего это будет Альберт. То-то он порадуется. Скажет: «Ну ты и блудливый щенок». Будет подлизываться к полицейским, смешить их.

— Мне до Фостер-авеню не дойти — я замерзну. — Так я ответил Кийяру.

— А полицейская машина на что?

— Что ж, раз Филя Хаддиса в аптеке нет, может, он где-нибудь по соседству. Он, как правило, не сразу идет домой.

— Иногда он ходит на бокс в заведение Джонни Кулона. Но матчи так рано не начинаются. Попробуйте счастья в забегаловке дальше по улице, на Кенмор. Она в полуподвале, вход с торца. На дверях парень по кличке Лось.

Он не предложил мне ни цента из кассы. Скажи я ему, что со мной стряслась беда и что Филип — муж моей сестры, не исключено, он и дал бы мне денег на трамвай. Но я не открылся ему, а раз так — расхлебывай свои неприятности сам.

На выходе я обхватил себя руками, толкнул плечом дверь. С таким же успехом я мог бы выйти и нагишом. Ветер хлестанул меня по ногам, и я припустил изо всех сил. К счастью, бежать было недалеко. По-

среди квартала торчал железный обрезок трубы с лампочкой на конце. Он бросился мне в глаза, едва я пересек улицу. Отыскать незаконные заведения, где торговали спиртным, было проще простого: на это и рассчитывали. По бетонным ступенькам — сколько их было: четыре, пять? — я спустился к двери. Окошечко открыли прежде, чем я постучал, — вместо глаз привратника в нем показались зубы.

— Вы Лось?

— Угу. А ты кто?

— Я от Кийяра.

— Входи.

Ощущение было такое, словно я проваливаюсь в просторный, теплый, выложенный плиткой погреб. Какое-то подобие бара, немногочисленные полки, краны, несколько столиков, позаимствованных из кафе-мороженого, стулья с проволочными спинками. Если выглянуть из полуподвального оконца, глаза оказались бы вровень с землей. Но оконце здесь было замазано варом. Впрочем, смотреть тут было бы и вовсе не на что: двор, деревянное крыльцо, бельевая веревка, про- вода, задворки с грудями золы.

— Откуда путь держишь, сеструха? — сказал Лось.

Впрочем, кто здесь был Лось? — никто. Бармен — а он-то всем и заправлял — подозвал меня и спросил:

— В чем дело, голуба? Тебя послали что-то передать?

— Не совсем так.

— Вот оно что. До того приспичило выпить, что ты прямиком из постели, даже не одевшись, мотанула к нам?

— Нет, сэр. Я ищу одного человека... Филя Хаддиса здесь нет? Зубного врача?

— У нас всего один посетитель. Это не он?
Это был не он. Сердце мое упало ниже некуда.

— А он не пьянчуга, тот, кого ты ищешь?

— Нет.

Пьянчуга восседал на высоком стуле, свесив ноги-палки, уронив руки, приклеившись щекой к стойке бара. Бутылки, стаканы, пивная бочка. За спиной бармена красовалась панель, отодранная от стены какой-то квартиры. В нее было вделано высокое зеркало — положенный на бок овал. С трубы свисали закрученные штопором ленты серпантина.

— Вы знаете этого зубного врача?

— Может, знаю. А может, и нет, — сказал бармен.

Это был неопрятного вида верзила с длинным лицом — чем-то он походил на кенгуру. Длинным лицом в сочетании с брюхом — вот чем. Он сказал:

— К нам в это время мало кто ходит. Обеденный час, сам понимаешь, мы ведь что — квартальная пивнушка.

Это был всего-навсего погреб; так же как и бармен был всего-навсего грек, томящийся скукой облом. Так же как и я сам, Луи, был всего-навсего голый юнец в женском платье. Если поименовать вещи попростому, от них практически ничего не останется. Бармен — теперь все зависело от него — вытянул голые руки, уперся ими о стойку. В погребе пахло дрожжами с примесью спиртного. Он сказал:

— Ты живешь по соседству?

— Нет, до нас отсюда час езды на трамвае.
— Точнее.
— В районе Гумбольдт-парка.
— В таком случае ты не иначе как украинец, швед или еврей.

— Еврей.

— Да уж кто-кто, а я Чикаго знаю. И ты в таком виде не из дому сюда явился. Да ты за десять минут превратился бы в ледышку. Такая одежда в самый раз для спальни, для зимы она не годится. Потом, ты и фигурой на дамочку не похож. Бедер никаких. И что ты там руками прикрываешь, не буфера ведь? То-то же. С чем пришел, ты не из этих, из мафродитов? Я тебе так скажу — и в депрессии не все худо. Не будь ее, нам бы нипочем не узнать, какие чудные дела тут творятся. Но вот что ты барышня и что твое сокровище при тебе — этому я ни в жизнь не поверю.

— Тут вы попали в точку, но дело не в этом, а в том, что у меня нет ни гроша — трамвайный билет купить не на что.

— Кто тебя облапошил — баба?

— Я разделся у нее в комнате, а она хватъ — и выбросила мои вещички из окна.

— Нагишом за ней не побежишь — вот почему она велела тебе раздеться... Будь я на твоём месте, я б ее сграбастал и повалил. А ты небось даже не поимел ее.

«Даже не...» — повторил я про себя. И почему я не опрокинул ее на кровать прямо в шубе, едва мы вошли в комнату, не задрал ей юбку, как сделал бы он? Потому что ему это на роду написано. А мне — нет. Мне это не дано.

— Значит, вот оно как. Тебя мастаки облапошили, причем она работала не одна. Она тебя заманила. По тебе сразу видно, что тебя надуть ничего не стоит. Еврейчикам не положено путаться с этими мерзавками профурами. Но когда вы вырываетесь из дому, вам не хуже других хочется погулять вволю. Вот так-то. И где ты выкопал это платье в таких здоровущих розах? Видать, потоптался-потоптался там, торчалка торчит — тут в пору что угодно на себя нацепить. Она хоть ничего из себя?

Ее груди, когда она лежала на столе, не потеряли формы. Не обвисли. Сдвинутые ляжки круглились навстречу друг другу. Черные примявшиеся волосы. Да, красotka, ничего не скажешь.

Как и аптекаря, бармена забавлял юнец, попавший в переплет, в замызганном платьишке, в ночной кофтенке то ли из искусственного шелка, то ли сатина. Мое счастье, что торговля в эту пору шла не бойко. Будь в баре посетители, бармен не стал бы тратить на меня столько времени.

— Словом, ты спутался со шлюхой, и она тебя обдурила.

По правде говоря, я не жалел себя. Я уже признал: этого следовало ожидать — бог знает что возомнивший о себе школяр, воспаряющий бог знает в какие выси и оттого считающий, что быть правоверным евреем ниже его достоинства, и метящий в избранники судьбы. Дома, в семье, — допотопные порядки, за стенами дома — жизнь как она есть. Жизнь как она есть взяла свое. При первом же столкновении с ней я вы-

ставил себя на посмешище. Женщина сыграла со мной шутку, выбросив мои одежды из окна. Аптекарь с его болезненно незащищенной головой отнесся ко мне с убийственной иронией. А теперь еще и бармен, прежде чем даст — и еще даст ли? — семь центов на трамвай, решил сделать себе потеху из моих бедствий. А после всего этого мне предстояло еще битый час терпеть позор в трамвае. Моя мама — а мне, может быть, и не суждено больше поговорить с ней — часто повторяла, что у меня по переносице пролегает морщина гордеца, она прямо-таки видит эту дурацкую складку.

Предугадать, чем обернется ее смерть, я не мог.

Бармен, поскольку я от него зависел, куражился. И Лось (Лосёк, как называл его грек) оставил свой пост у двери — ему тоже хотелось позабавиться. Углы губ грека приподнялись точь-в-точь как у кенгуру, затем он почесал в поросшем черным колючим волосом затылке. Говорили, что греки пьют стаканами оливковое масло, чтобы волосы росли гуще.

— Ну-ка, повтори еще разок, что ты тут толковал про зубного врача.

— Я пришел за ним, но он уже уехал домой.

К этому времени Филип, должно быть, уже сидел в трамвае, ходившем по линии Бродвей — Кларк, читал пичевский «Ивнинг америкэн» — крепко скроенный, с по-детски оттопыренными губами просматривал результаты бегов. Анна одевала его, как положено специалисту, но у него все причиндалы — рубашка, галстук, пуговицы — жили своей жизнью. Его жирная лапища распирала купленные Анной узкие туфли.

Мягкую шляпу он надевал как следует. А за всем прочим он следить не нанимался.

После работы Анна готовила обед, и, когда Филип явится, отец накинется на него с расспросами: «Где Луи?» — «Цветы разносит», — скажут ему.

Однако с наступлением темноты старика одолевала тревога за детей, и, если они запаздывали, он не ложился, а ходил, вернее, семенял взад-вперед по длинной анфиладе комнат. Как ни старайся незаметно проскользнуть домой, он налетал на тебя, хватал за шиворот. Невысокий, ладный, стройный, джентльмен, хотя и грубоватый, но довольно обходительный, он много чего повидал на своем веку, жил в Одессе, еще дольше в Санкт-Петербурге — вот только уж очень вспыльчивый. Сушая мелочь могла вывести его из себя. Если он увидит меня в женском платье, он умом тронется. Тронулся же я, когда она показала мне свою мохнатку со всеми ее розоватыми складочками, когда подняла руку и попросила отсоединить провода, когда я коснулся ее кожи и меня обдало ее запахом.

— Что у тебя за семья, что делает твой отец? — спросил бармен.

— Поставляет дрова пекарям. Их привозят в товарных вагонах из северного Мичигана. И еще из Бирнамвуда, штат Висконсин. У отца склад неподалеку от Лейк-стрит, к востоку от Холстеда.

Я нарочно нанизывал деталь на деталь. Нельзя было допустить, чтобы меня заподозрили в сочинительстве.

— Я знаю эти места. У вас там хватает и проституток, и публичных домов. Как ты думаешь, можно рас-

сказать твоему старику про то, что с тобой стряслось, как тебя подцепила канашка и стибрила твою одежду?

От его вопроса лицо у меня стянулось, уши заложилось. Подвал куда-то отодвинулся, стал совсем маленьким, каким-то игрушечным, но мне было не до игр.

— Как твой старик — крутенок?

— Не то слово, — сказал я.

— Поколачивает деток? На этот раз тебе взбучки не избежать. Что у тебя под платьем, трусы хоть на тебе есть?

Я мотнул головой.

— Ходишь с голым задом? Теперь будешь знать, каково бабам приходится.

Кожа могучных мускулистых рук грека была нездорового цвета. Если он за тебя примется, дай Бог унести ноги. Мафия только таких и нанимала. Там теперь верховодили парни Капоне. Греку справиться с любым посетителем было не сложнее, чем с целлулоидным голышом. Он напоминал одного из тех кенгуру-боксеров в кино — мог перемахнуть через стойку прямо с места. Как бы там ни было, ему нравилось валять дурака. Углы его большого рта загибались кверху — такие расплывающиеся от счастья рожи изображали на карикатурах.

— Что ты делал в Норт-Сайде?

— Разносил цветы.

— Зашибаешь денюгу после школы, а на уме одно — как бы перепихнуться. Тебе много чего еще надо усвоить, приятель. Ну да ладно, хорошенького понемножку. А теперь, Лосёк, возьми-ка фонарь да посмотри, гляди

и откопашешь за баром свитер или еще что для этого недотепы. Только навряд ли — старик дворник как пить дать оттуда все вытащил. Если там угнездились мыши, повытряси их говешки. Все легче будет добраться домой.

Я проследовал за Лосем — в дальней части подвала было жарко натоплено. Фонарь Лося выхватывал из темноты корыта, на которых громоздились ручные прессы для отжимания белья, деревянные лари с амбарными замками.

— Поройся вон в тех картонных коробках. Там, я думаю, по большей части тряпье. Опрокинь их, удобнее будет искать.

Я вывалил на пол тряпье из двух коробок. Лось светил, вода фонарем туда-сюда над кучами тряпья.

— Я же говорил, тут особо не разживешься.

— Вот шерстяная рубаха, — сказал я.

Мне не терпелось выбраться оттуда. Меня мутило от запаха нагретой мешковины. За исключением рубашки все эти вещи мне были ни к чему. Пуловер или брюки — вот что мне было бы нужно. Мы возвратились в бар. Преодолевая омерзение (семья моя отличалась брезгливостью и превыше всего ставила чистоту), я натягивал рубаху, и тут бармен предложил:

— Знаешь что я тебе скажу: проводи-ка ты этого пьянчугу, ему самое время идти домой, верно я говорю, Лосёк? Он у нас что ни день надюзгивается. Проследишь, чтобы он добрался до дому, — огребешь полдоллара.

— Хорошо, — сказал я. — Вот только далеко ли он живет? Если далеко, мне не дойти — на полпути замерзну.

— Да нет, недалеко. На Уинона-стрит к западу от Шеридан, рукой подать. Я тебе объясню, как туда добраться. Он служит в муниципалитете. Определенной работы у него нет, исполняет поручения одного типа из избирательного комитета. Он алкаш, растит двух девчушек. Когда не напивается вусмерть, стряпает для них. Сдается мне, они о нем заботятся больше, чем он о них.

— Перво-наперво, — сказал бармен, — я приберу его деньги. Не хочу, чтобы моего дружка обчистили. Может, у тебя такого и в мыслях нет, но мне положение заботиться о посетителях.

Щетиннорылый Лось вывернул карманы пьянчуги: бумажник, ключи, мятые сигареты, красный, омерзительно грязный на вид платок, спички, деньги — бумажки и мелочь. Все это он выложил на стойку.

Когда я оглядываюсь на события минувших дней, меня отягощает мое восприятие, которое придает им завершенность, а может, и искажает их, смешивая в одну кучу то, что нельзя забыть, с тем, о чем не стоило бы и упоминать. И вот перед моими глазами встает бармен, его огромная ручища сгребает деньги так, словно он их выиграл, взял банк в покер. Потом у меня мелькает мысль: если бы этот здоровила-кенгуру взвалил пьянчугу на спину, он доставил бы его домой быстрее, чем я дотащу его до угла. На самом же деле бармен сказал только:

— Джим, я подыскал тебе хорошего провожатого.

Лось поводит пьянчугу взад-вперед — хотел удостовериться, что тот может передвигаться. При этом заплавающие глаза пьянчуги приоткрылись и тут же закрылись.

— Макерн, — инструктировал меня Лось, — юго-западный угол Уинона и Шеридан, второй дом по южной стороне, второй этаж.

— Деньги получишь, когда вернешься, — сказал бармен.

Мороз стоял уже такой, что снег под ногами похрустывал, как станиоль. Не исключено, что от холода Макерн протрезвел, но шевелить ногами быстрее не стал. Так как я должен был его поддерживать, я позаимствовал у него перчатки. Он мог сунуть руки в карманы — на нем было пальто. Я попытался укрыться от ветра за его спиной. Куда там. Передвигаться самостоятельно он не мог. Приходилось его тащить. Вместо возжеленной женщины мне выпало обнимать алкаша. И такой, сам понимаешь, позор, в то время когда мама больше не могла осиливать смерть. Примерно в эту пору к нам спускались соседи сверху, приходили родственники, набивались в кухню, в столовую — дежурить у смертного одра. Вот где мне надлежало быть, а не у черта на куличках, в Норт-Сайде. Когда я заработаю на трамвай, я все равно буду в часе езды от дома, в трамвае, останавливаемом по два раза на километр.

Я волочил Макерна на себе вплоть до самого его дома. Подперев дверь спиной, за руки втащил его в темноватый вестибюль.

Девочки поджидали его и тут же спустились вниз. Они придержали дверь на лестницу, а я внес их папашу наверх, применив прием, который используют пожарники, и сгрузил на кровать. Похоже, детям это было не внове. Они раздели его, оставив на нем одни под-

штанники, и, не говоря ни слова, встали по обе стороны комнаты. Для них все это было в порядке вещей. Они воспринимали немыслимые дикости спокойно, что, в общем и целом, характерно для детей. Я прикрыл Макерна зимним пальто.

Я не испытывал к нему жалости — обстоятельства не располагали к этому. И пожалуй, я могу объяснить почему: он уж точно далеко не раз напивался и еще не раз, а много-много раз напьется до беспамятства, прежде чем помрет. Пьянство было явлением обыденным, привычным, а раз так, его не осуждали, и пьяницы полагали, что их не осудят и выручат, — на это и рассчитывали. Вот если твои злоключения были необыденного, непривычного свойства — тут уж рассчитывать было не на что. Касательно пьянства существовала некая конвенция, положения которой разработали по преимуществу сами пьяницы. В основу ее легло не требовавшее доказательств утверждение о пагубности сознания. А пуще всего, по-видимому, его низших, убогих форм. Плоть и кровь жалки, слабы и не могут противостоять людской жестокости. А сейчас мой потомок услышит, как дед Луи, забросив историю, которую обещал рассказать, вещает — от себя не уйдешь — о высших формах сознания. Ты потребуешь, чтобы он держал слово, и ты в своем праве.

Тут старшая девочка обратилась ко мне:

— Нам позвонили и сказали, что папу приведет домой один парень и что, если папа не сможет приготовить ужин, вы нам поможете.

— Да. Еще что?..

— Только вы не парень... вы в платье.

— Похоже на то, правда твоя. Но ты не беспокойся, я пройду с вами на кухню.

— Так вы барышня?

— То есть... а по-твоему как? Ладно, барышня так барышня.

— Вы можете поужинать с нами.

— Раз так, проводите меня на кухню.

Я прошел вслед за ними на кухню тесным от нагромождения барахла — ящиков с консервами, крекерами, коробками сардин и бутылками шипучки — коридором. Проходя мимо ванной, я юркнул туда — отлить по-быстрому. На двери не имелось ни крючка, ни засова; лампочка на потолке не горела — шнур выключателя был оборван. Крохотный ночничок включался в розетку в плинтусе. Благодарение Богу, здесь царил полумрак. Я поднял сиденье, одновременно задрал юбку, и только-только приступил к делу, как услышал за спиной шаги. Глянул через плечо, увидел, что это младшая девочка, и, отвернувшись (чего только со мной сегодня не приключалось), сказал:

— Не входи сюда.

Но она протиснулась между мной и ванной, прилегла на ее краю. Губы ее растянула ухмылка. У нее прорезался второй зуб. Сегодня женский пол словно сговорился подвергать меня сексуальным надругательствам, даже у малявок — и у тех был распутный вид. Я прервался, опустил подол и сказал:

— Что тебя рассмешило?

— Вы не барышня, иначе бы вы сели.

Девчушка дала мне понять: ей известно, на что она смотрит.

Она прикрыла пальцами рот, я повернулся и пошел в кухню.

На кухне девчушка постарше обеими руками поднимала черную чугунную сковороду. На промокнутой бумаге лежали свиные отбивные, рядом стояла закрытая банка с жиром. С газовой плитой — она поблескивала от застарелого жира — я умел управляться. Прикасаюсь к свинине я брезговал и отбивные бросил на плюющуюся жиром сковороду, подцепив их вилкой. От вида свинины меня затошнило. Я подумал: «Ну и влип же я, ох и влип». Пьянчуга на кровати, таинственный сумрак уборной, вольфрамовая спиралька над газовой плитой, брызги жира, обжигающие руки.

Старшая девочка сказала:

— Тут и вам хватит. Папа не будет ужинать.

— Нет, нет, меня в расчет не берите. Мне не хочется есть, — сказал я.

Все, чем меня стращали в детстве, взметнулось, подкатило к горлу, живот схватило.

Дети сели за стол с эмалированной прямоугольной столешницей. Тарелки и стаканы, вощенный пакет с нарезанным белым хлебом, бутылка с молоком, брусок масла, жирный чад, затуманивший комнату. Девочки резали мясо, над ними стлался дым. Я принес им с плиты соль и перец. За едой они не разговаривали. Я выполнил свои обязательства — больше меня здесь ничто не удерживало. Я сказал:

— Мне пора.

Поглядел на Макерна — он сбросил пальто, стянул подштанники. Лицо, точно обваренное кипятком, короткий нос шильцем, кадык, ходивший вверх-вниз, — только он и свидетельствовал, что Макерн жив, — свернутая набок шея, черная поросль волос на животе, цилиндр между ног, с конца которого, заворачиваясь, свисала крайняя плоть, лоснящиеся белые голени, плачевного вида ноги. На ночном столике у кровати стопочка центов. Я взял деньги на трамвай, но спрятать их было некуда. Открыл стенной шкаф в коридоре, пошарил — не найдется ли там пальто, пара брюк. Я мог забрать что угодно — Филип завтра же отнес бы все в бар, греку. Сдернул с вешалки пальто с поясом, брюки. Вот уже третий раз я надеваю чужое платье — о полосках, клетках или прочих тонкостях сейчас не время упоминать. В отчаянии я кинулся прочь, на лестничной площадке натянул брюки, заправил в них платье, скатываясь по ступенькам, влез в пальто, завязал потуже пояс и пересыпал монетки, всю пригоршню, в карман.

И все же я снова сходил на те задворки, под ее окно — посмотреть, не горит ли в нем свет, а еще поискать мои листки. Вполне вероятно, что вор или сутенер их бросил, а может, они выпали, когда он подхватил полушубок. Света в окне не было. На земле я ничего не нашел. Можешь счесть это маниакальной идеей, ненормальной зависимостью от слова, от печатного листа. Однако не забывай, что ни спасителей, ни духовных вождей, ни исповедников, ни утешителей, ни просветителей, ни конфиденентов на улице не было, — на кого я мог опереться? Знания приходи-

лось обретать там, где удавалось найти. В центре, под куполом библиотеки, мозаичными буквами был выведен завет Милтона, трогательный, хотя, возможно, и тщетный, возможно, слишком вызывающий:

**ХОРОШАЯ КНИГА — БЕСЦЕННА,
В НЕЙ ЖИЗНЕННАЯ МОЩЬ ВЕЛИКОГО ДУХА*.**

Таковы неприкрашенные факты, и не поведать про них никак нельзя. Мы — и этого нельзя забывать — в Новом Свете, вдобавок в одном из его непостижимейших городов. Мне следовало бы не мешкая сесть на трамвай. Вместо этого я рыскал по задворкам — искал книжные листки, наверняка уже унесенные ветром.

Я вернулся на Бродвей — широкая дорога была и впрямь очень широкой, — потоптался на безопасном пяточке в ожидании трамвая. И вот он подъехал — громыхающий, красный, покачивающийся на колесах, образчик технологии железного века, с тростниковыми скамьями на двоих, окантованными медными полосками. Час пик давно миновал. Влекомый к дому, я расположился у окна, и проблески мысли, точно трассирующие пули, прорезали далекую тьму. Ни дать ни взять Лондон военной поры. Что я расскажу домашним? Да ничего не расскажу. И никогда не рассказывал. Они и так считали, что я вру. При том что слово «честь» было для меня не пустым звуком, врал я очень и очень часто. Можно ли жить без вранья? Соврать легче, чем объясниться.

* *Джон Милтон*. Ареопагитика, или Речь о свободе слова (1644) — политический памфлет, обращенный к парламенту и защищающий свободу слова.

Мой отец исходил из своих представлений о жизни, я — из своих. Найти точки соприкосновения между ними не удавалось. Мне предстояло отдать пять долларов Беренсу. Впрочем, я знал, где мама прячет свои накопления. Так как я рылся в книгах, я обнаружил деньги в ее mahzor'e, молитвеннике, предназначенном для осенних праздников, для дней покаяния. До сих пор я не прикасался к ее сбережениям. До этой своей последней болезни она надеялась накопить на поездку в Европу — повидаться с матерью и сестрой. После ее смерти я передам отцу все деньги, за исключением десяти долларов: пять предназначались владельцу цветочного магазина, остальные — на покупку фонхюгелевской* «Жизни вечной» и «Мира как воли и представления».

Гости и родственники, стекавшиеся к нам после обеда, уже отправятся восвояси, когда я доберусь до дома. Отец будет сторожить меня. С наступлением темноты черный ход обычно запирали. Щеколду на кухонной двери, как правило, не задвигали. Я мог перелезть через деревянную переборку, отделявшую лестницу от прихожей. Нередко я так и делал. Если упереться ногой в дверную ручку, можно подтянуться и по-тихому перемахнуть в прихожую. А там заглянуть в кухню и, если отец уже покинул свой сторожевой пост, прошмыгнуть туда. Спальня, которую я делил с братьями, прилегала к кухне. Завтра я мог бы позаимствовать старое пальто моего брата Лена. Я знал, в каком шкафу оно висит. Если же отец меня застукает, он уж точно надает мне тумаков и в

* Фридрих фон Хюгель (1852–1925) — английский теолог и писатель.

плечи, и в голову, и в лицо. Но если мама умерла, он не станет меня бить.

Вот тогда-то размеренная, уютная, навевающая дрему, проторенная дорога и обернулась трясинной, топью, на дне которой сгущалась тьма. А объяснение этому могли дать разве что неизвестно кем сочиненные листки в кармане моего пропавшего полушубка. Говорят, будто подлинное понимание вселенной у нас в крови. Будто скелет человека не что иное, как тайный знак. Будто в первые дни после смерти нам видится все, что мы успели узнать на земле, будто космос алчет нашего земного опыта — без него ему не обновиться.

Не думаю, чтобы эти листки, не утратить я их, произвели на меня неизгладимое впечатление или изменили мою жизнь.

Свое то ли повествование, то ли свидетельство я пишу, откликаясь на непостижимый разумом зов. Пробившийся ко мне из самих недр земных.

Предал мать! Эти слова скорее всего будут мало что, а то и вовсе ничего не значить для тебя, моего единственного ребенка.

Мне ли не знать, как важно избегать пафоса в наши измененные, хитросплетенные времена.

В трамвае, на пути к дому, я собирался с силами, но от моих предуготовлений не было проку — они тут же обрушивались, как карточные домики. Я сошел на Норт-авеню; на свое отражение в витринах я старался не смотреть. Когда человек умирает, спешат занавесить зеркала. Не берусь истолковать, с чем связан этот ханжеский предрассудок. С тем, что в зеркале отража-

ется душа усопшего, или этот обычай противодействует суетности живых?

Я стремглав помчался домой, прокрался задворками, стараясь не шуметь, поднялся по лестнице черного хода, ухватился за переборку, подтянулся, уперся ногой в белую фаянсовую ручку, по-тихому перемахнул в нашу прихожую. Я продумал, что надо предпринять, чтобы не нарваться на отца, но ничего не предпринял. За кухонным столом сидели люди. Я прошел напрямик на кухню. Отец встал, ринулся ко мне. Кулак он занес загодя. Я стащил вязаный берет, и, когда он стукнул меня по голове, душа моя преисполнилась благодарностью. Если бы мама уже умерла, он не дубасил бы, а обнял меня.

Ну а теперь их всех уже взяла смерть, да и я подготовился к ней. Большого состояния я не нажил, это и побудило меня написать воспоминания, как бы в придачу к тому, что ты от меня унаследуешь.

Содержание

Серебряное блюдо. <i>Рассказ</i>	3
Родственники. <i>Повесть</i>	52
В связи с Белларозой. <i>Повесть</i>	170
На память обо мне. <i>Рассказ</i>	300

ЛУЧШИЕ

КНИГИ

ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО

◆ **Любителям крутого детектива** – романы Фридриха Незнанского, Эдуарда Тополя, Владимира Шитова, Виктора Пронина, суперсериалы Андрея Воронина "Комбат", "Слепой", "Му-му", "Атаман", а также классики детективного жанра – А.Кристи и Дж.Х.Чейз.

◆ **Сенсационные документально-художественные произведения** Виктора Суворова; приоткрывающие завесу тайн кремлевских обитателей книги Валентины Красковой и Ларисы Васильевой, а также уникальная серия "Всёмирная история в лицах".

◆ **Для увлекающихся таинственным и необъяснимым** – серии "Линия судьбы", "Уроки колдовства", "Энциклопедия загадочного и неведомого", "Энциклопедия тайн и сенсаций", "Великие пророки", "Необъяснимые явления".

◆ **Поклонникам любовного романа** – произведения "королев" жанра: Дж.Макют, Д.Линдсей, Б.Смолл, Дж.Коллинз, С.Браун, Б.Картленд, Дж.Остен, сестер Бронте, Д.Стил – в сериях "Шарм", "Очарование", "Страсть", "Интрига", "Обольщение", "Рандеву".

◆ **Полные собрания бестселлеров** Стивена Kinga и Сидни Шелдона.

◆ **Почитателям фэнтези** – циклы романов Р.Асприна, Р.Джордана, А.Сапковского, Т.Гуджайнда, Г.Кука, К.Сташефа, а также самое полное собрание произведений братьев Стругацких.

◆ **Любителям приключенческого жанра** – "Новая библиотека приключений и фантастики", где читатель встретится с героями произведений А.К.Дойла, А.Дюма, Г.Манна, Г.Сенкевича, Р.Желязны и Р.Шекли.

◆ **Популярнейшие многотомные детские энциклопедии:** "Всё обо всем", "Я познаю мир", "Всё обо всём".

◆ **Уникальные издания** "Современная энциклопедия для девочек", "Современная энциклопедия для мальчиков".

◆ **Лучшие серии для самых маленьких** – "Моя первая библиотека", "Русские народные сказки", "Фигурные книжки-игрушки", а также незаменимые "Азбука" и "Букварь".

◆ **Замечательные книги известных детских авторов:** Э.Успенского, А.Волкова, Н.Носова, Л.Толстого, С.Маршак, К.Чуковского, А.Барто, А.Линдгрен.

◆ **Школьникам и студентам** – книги и серии "Справочник школьника", "Школа классики", "Справочник абитуриента", "333 лучших школьных сочинения", "Все произведения школьной программы в кратком изложении".

◆ **Богатый выбор учебников, словарей, справочников по решению задач, пособий для подготовки к экзаменам.** А также разнообразная энциклопедическая и прикладная литература на любой вкус.

Все эти и многие другие издания вы можете приобрести по почте, заказав
БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ

по адресу: 107140, Москва, д/я 140. "Книги по почте".

Приглашаем вас посетить московские магазины издательской группы "АСТ":

Каретный ряд, д.5/10. Тел. 299-6584, 209-6601.

Звездный бульвар, д.21. Тел. 232-1905.

Б.Факельный пер., д.3. Тел. 911-2107.

Арбат, д.12. Тел. 291-6101.

Татарская, д.14. Тел. 959-2095.

Луганская, д.7. Тел. 322-2822

2-я Владимирская, д.52. Тел. 306-1898.

В Санкт-Петербурге: Невский проспект, д.72, магазин №49. Тел. 272-90-31;

проспект Просвещения, д. 76. Тел. 591-20-70.

Книга-почтой в Украине: 61052, г. Харьков, д/я 46. Издательство «Фолкс»

Беллоу Сол
На память обо мне

Повести и рассказы

Художественный редактор О.Н. Адашкина
Компьютерный дизайн: С.В. Барков
Технический редактор О.В. Панкрашина
Младший редактор Н.К. Чернова

Подписано в печать с готовых диапозитивов 27.07.2000.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская. Печать
высокая с ФПФ. Усл. печ. л. 18,48. Тираж 5000 экз.
Заказ 1723.

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции
ОК-00-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

ООО «Издательство АСТ»
Лицензия ИД № 00017 от 16 августа 1999 г.
366720, Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Кирова, д. 13
Наши электронные адреса:
WWW.AST.RU
E-mail: astpub@aha.ru

Налоговая льгота — Общегосударственный
классификатор Республики Беларусь
ОКРБ 007-98, ч. 1; 22.11.20.300.

Республиканское унитарное предприятие
«Полиграфический комбинат имени Я. Коласа».
220005, Минск, ул. Красная, 23.

SAUL BELLOW

SOMETHING TO REMEMBER ME BY
1990

«Мастер короткой фразы и крупной формы...» — таков Сол Беллоу, которого неоднократно называли самым значительным англоязычным писателем второй половины XX века. Его талант отмечен высшей литературной наградой мира — Нобелевской премией.



«...В один прекрасный день обнаруживается: то, что ты принимал за проторенную дорогу, ровную, гладкую, без ям и рытвин, на самом деле трясуна, топь».

Вот таковы и рассказы Сола Беллоу. Их сила — не в изысканности постмодернизма, но в подлинности восприятия. Отступает время, наступает память — и стиль рассказов Сола Беллоу доходит до «точки кипения», до точки АБСОЛЮТНОГО раскрытия его редкого писательского дарования...

Готовятся к изданию:

- Гюнтер Грасс
«Мой двадцатый век»
- Стивен Кинг
«Сердца в Атлантиде»
- Уильям Голдинг
«Двойной язык»

ISBN 5-17-002613-7



9 785170 026135

НОВИНКА!